# Покушение

# Кир Булычев

## Предисловие

1992 году в издательстве «Московский рабочий» под одной обложкой, в виде непривычно большого для фантастики тома вышли романы «Наследник», «Штурм Ай-Тодора» и «Возвращение из Трапезунда» — первые три книги из цикла «Река Хронос» Несмотря на то что в оглавлении они значились именно «книгами» они все-таки производили впечатление единого произведения, где действие плавно перетекает из одной части в другую. Читатель «вступает» в реку Хронос в августе 1913-го, потом вместе с главными героями перепрыгивает из октября 1914-го в март 1917-го и расстается с ними в декабре 19 17-го... Главные герои — Андрей и Лидочка — с первых страниц очаровывали читателя, богатая сюжетными поворотами интрига затягивала, а неожиданный для приключенческого романа неспешный ритм располагал читателя к продолжительному чтению, К тому же финал третьей книги — «Возвращение из Трапезунда» — недвусмысленно намекал на возможность продолжения. Видимо, уже тогда — в начале 90-х — у Кира Булычева в общих чертах сформировалась канва четвертой книги...

Продолжение не заставило себя долго ждать — в 1992-м частично, а 1994-м целиком вышел роман «Заповедник для академиков». Вот только действие в нем происходило в 1932-м и 1939 годах. Как Андрей и Лидочка пережили Гражданскую войну, слом эпох и формаций, разруху и голод — оставалось тайной. Автора легко понять: тема репрессий 30-х годов тогда только выходила из-под запрета, она была абсолютно не освоена писателями-фантастами, казалась интересной и злободневной. Киру Булычеву самому хотелось написать об этом страшном времени обнажавшем людские характеры.

Новое время также требовало к себе пристального внимания и результатом этого стали три детектива — «Усни, красавица!» «Таких не убивают» и «Дом в Лондоне»; действие их происходило уже в наши неспокойные дни, в середине и в конце 90-х соответственно. В начале последнего десятилетия ХХ века была написана повесть «Младенец Фрей», которая со временем разрослась в роман, основное действие которого проходит в 92-м году. Новые и новые дела и проекты отвлекали Кира Булычева от четвертой книги «Хроноса».

«Действие третьей книги (в издании „Московского рабочего“ — первого тома, объединявшего три книги) заканчивается Рождеством 1917 года — писал Кир Булычев в апреле 2000 года. — Зимой 19 18-го герои отправляются сначала в Киев, где попадают в переворот, затем подаются на север и чудом добираются до Москвы в замерзающем вагоне. События в Москве должны быть связаны с убийством Мирбаха, покушением на Ленина, эсеровским „мятежом“ и переплетением судеб персонажей романа и исторических персонажей. Этот том, который пока написан у меня до приезда в Москву, то есть на треть, должен завершаться альтернативой — иным режимом иной историей. Будь я человеком разумным, бросил бы все и дописал эту книгу, тем более что грех ей лежать частично написанной больше пяти лет».

Писатель очень трепетно относился именно к этому своему циклу, он не хотел писать новую книгу впопыхах, между делом, — он с самого начала ставил перед собой очень высокую планку.

В канун 2003 года члены оргкомитета фестиваль фантастики «Роскон» намекнули Киру Булычеву, что хотели бы вручить ему приз «Большой Роскон» — за вклад в российскую фантастику. Однако писатель наотрез отказался. «Вы дождетесь — пригрозил он однажды, — что я вообще откажусь приезжать на „Роскон“. Потому что буду опасаться, что вы меня обманете: я приеду, а вы возьмете и вручите мне приз.

И мне, сидящему в зале, ничего не останется, как влезать на сцену и получать его.

А я не хочу быть многоуважаемым шкафом! Не хочу, чтобы вы мне вручали приз за старые заслуги! Я хочу написать большой хороший роман, я надеюсь, что я его напишу... И вот тогда я с удовольствием приеду на „Роскон“ и приму ваш приз!» По всей видимости, он имел в виду роман «Покушение» — эту самую недостающую четвертую часть «Реки Хронос». В начале 2003 года, давая интервью для газеты «Книжное обозрение» Кир Булычев сказал: «У меня четвертый том уже написан до половины три года назад. И я боюсь садиться его заканчивать. Восемнадцатый год до половины дописан. Они уже приехали в Москву и поселились в квартире мамы Врангеля...»

Основная работа над книгой пришлась на весну 2003 года. Судя по всему, в мае-июне текст в первой редакции был готов, и писатель отложил его, чтобы через какое-то время вернуться к редактуре и шлифовке. В это время он занялся подготовкой новой редакции первых трех книг «Реки Хронос».

В конце июль Игорь Всеволодович лег в больницу — как казалось поначалу, для плановой проверки. Он был полон творческих планов: собирался съездить за границу, сесть за чтение книг — кандидатов на премию «Алиса», ну и конечно же, многое написать, дописать, отредактировать... 5 сентября 2003 года Игоря Всеволодовича Можейко не стало. Отложенные им дела остались недоделанными.

Рукопись «Покушения» была обнаружена в его архиве. В ней не хватает нескольких десятков последних страниц, однако найденный там же план позволяет понять, как должно было заканчиваться это произведение. Часть рукописи обильно покрыта исправлениями (свидетельства тщательной работы писателя), другая же — чиста, до нее писатель, увы, не дошел. В таком виде этот текст и вошел в книгу.

Внимательный читатель может обнаружить в нем некоторые шероховатости и даже небольшие «несостыковки» — конечно же, писатель устранил бы их при дальнейшем редактировании. Но не успел... И все равно даже в таком, не доведенном до идеала виде текст дает достаточно полное представление о замысле Кира Булычева, считавшего «Реку Хронос» главным делом своей жизни.

*М. Манаков,*

*А. Щербак-Жуков*

## Глава 1

Январь 1918 г.

В ночь с 25-е на 26 октября 1917 года в России произошла вторая за несколько месяцев революция. На этот раз ее жертвой стало Временное правительство, которое, придя к власти, клялось никого не казнить, всем дать свободу и внести в российскую жизнь ругательное прежде слово «демократия». Ближе к осени, когда дела пошли хуже, правительство, дабы удержаться на плаву, принялось арестовывать казнить и запрещать. Но делало оно это неуверенно и постоянно опаздывало запретить или казнить, что давало оппонентам возможность проклинать Керенского за уничтожение демократии. В том была ирония, ибо демократия оппонентам была ненавистна.

С конца октября большевики принялись покрепче усаживаться на троне, подобно кукушонку, который, подрастая, вышвыривает из гнезда других птенцов. К началу зимы было разогнано Учредительное собрание, запрещены почти все партии, от демократических до недемократических. Но в отличие от Керенского большевики казнили, ссылали и запрещали не с опозданием, а вовремя или даже раньше, чем следовало. И в отличие от разрозненных свар демократов и плутократов большевики были воистину орденом, братством, не знающим границ, для которого высшим законом была партийная дисциплина, и наиболее последовательные из них в решающий момент готовы были подчиниться ей, жертвуя свободой семейными и дружескими привязанностями и даже жизнью, В стране же, где родилась уникальная для человечества поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся», отношения властей и революционеров были уголовной смесью европейско-балканской и турецкой политик. В Берне и Цюрихе вожди эсдеков и эсеров обсуждали и голосовали вполне разумные вопросы как т?: составление редколлегией газет, выборы в центральные комитеты и ревизионные комиссии, выдачу пособий и провоз нелегальной литературы. А потом шепотом в узком кругу решали действительно важные проблемы — убийство царей, ограбления банков суды над настоящими и вымышленными предателями.

Когда гимназист Володя Ульянов узнал о смерти своего брата — молодого революционера Саши Ульянова казненного азиатским правительством за балканскую попытку убить царя, этот юноша, как говорят его официальные жизнеописания, произнес историческую фразу: «Мы пойдем другим путем». Считается, что другой путь исключал убийство царей и губернаторов. С тех пор революционное движение в России разделилось на две ветви. Одна именовалась социалистическо-революционной и убивала царей. Эсеры научили любимых ими крестьян поджигать помещичьи усадьбы и кидать в огонь барских детенышей, что крестьяне, будучи уже пятьсот лет рабами отлично умели делать и без эсеров. Вторая ветвь именовалась социал-демократической и была менее романтической ветвью заговорщиков, что и обеспечило ей в конце концов победу. Социал-демократы читали книги, сблизились с принявшими их за европейцев коллегами из Германии и объединили с ними усилия по освобождению пролетариата. Они отыскали себе зарубежного пророка Карла Маркса и его верного Пятницу — Энгельса. Так что европейские собратья полностью уверовали в то, что русские социал-демократы их соратники, хоть и темные, отсталые и нищие.

Социал-демократы поделились на большевиков и меньшевиков. Неудачно назван себя меньшевиками и потому обрекая себя на поражение (кто в России будет ставить на меньших?) правое крыло социал-демократов искало в Европе демократические ценности для применения их в России. Тех из меньшевиков кто не успел помереть или уехать в Европу, большевики в России уничтожили, и никто их не пожалел.

Трезвые большевики намеревались поднять мировую революцию и уничтожить буржуазию.

Удивленные неожиданным триумфом русских социал-демократы Европы смотрели на Россию с вожделением и надеждой, хотя и понимали что революция в России — случайность и нарушение заветов пророка Карла. Для того, чтобы исправить ошибку, революции следовало победить в какой-нибудь настоящей европейской стране, чтобы перенести туда центр борьбы.

Сегодня с высоты прошедших лет, эти надежды и намерения кажутся наивными и беспочвенными. Всем ясно, что коммунисты могли победить лишь в России. Но так ли все ясно было в 1918 году? И так ли уж безнадежно было положение левых социал-демократов в Германии? В Венгрии? А если пойти дальше — разве не могло так получиться, что, не наделай стратегических ошибок злобный Сталин и не слушайся его немецкие коммунисты — они бы захватили власть в Германии в 1933 году в союзе с социал-демократами и заменили таким образом Гитлера? И как бы тогда покатилась история Европы? В Москве Сталин, в Берлине — Тельман, во Франции — народный фронт. Такая коалиция, безусловно, разгромила бы Франко — вот вам и еще одна социалистическая республика. Конечно, через несколько лет началась бы борьба за власть между социалистическими республиками — но разве так невероятно превращение Европы в концлагерь социализма уже в середине тридцатых годов? Ведь международный орден коммунистов умел захватывать власть и удерживать ее, уничтожая всех возможных соперников. Беспощадно. И лишь фашизм смог стать настоящим соперником коммунистов — оба были орденами, один в своих лозунгах интернациональным, другой — сугубо национальным, но оба — бесчеловечными в своей практике.

Кто задумывался о том, что человечество, как живой организм, в ответ на появление опасной инфекции коммунизма стало вырабатывать в своих жилах лейкоциты фашизма? Сами по себе лейкоциты вредны, и избыток их может загубить организм, но в борьбе с инфекцией лейкоциты незаменимы. В конце концов микробы одолели врагов, но и погибнув, лейкоциты смогли хотя бы частично выполнить свою функцию — научить демократию воевать. А коммунизм, хоть и усилился, хоть и захватил половину Европы, дальше распространиться не смог. И с этого момента высшей власти началось его падение.

###### \* \* \*

В конце 1917 года о старении и гибели русского большевизма никто не помышлял.

Утвердившись на столичном троне, новая власть озиралась, пытаясь сообразить, что делать далее и какие из врагов ей наиболее опасны.

Враги внутренние в первые месяцы вели себя разобщенно и наивно, как бы продолжая играть по правилам, отмененным большевиками. Так что любой их выигрыш вызывал лишь снисходительную улыбку истинных победителей. Попытка к сопротивлению только укрепляла большевиков, потому что давала им оправдание к ужесточению власти.

Сбор офицеров на дону, сепаратизм Украины и Прибалтики саботаж чиновников, попытки забастовок профсоюза путейцев — Викжеля, критика, а то и проклятия со стороны прессы были большевикам неприятны, но не более. Против всего у них находились средства — можно было закрыть, разогнать, арестовать или расстрелять.

Последний аргумент становился все более расхожим и привычным. Но пока внутренний котел нагревался, даже бурлил, но не закипал, основной опасностью новому режиму была сила внешняя — германская армия, которая продолжала продвигаться по Прибалтике и Белоруссии, и австрийцы, которые оживились в Галиции. Большевики понимали, что, провозгласив мир и дав тем моральное право разойтись по домам солдатам, они не имеют действительных средств противостоять гуннам — безжалостным врагам России.

Начиная с тех дней и по день сегодняшний, затихая и поднимаясь вновь, бытует версия о том, что Ленин и его соратники были немецкими шпионами и потому спешили расплатиться со своими хозяевами российскими территориями и украинским хлебом.

Будь так, никаких проблем с миром и не возникло бы: Германия сообщила бы, какие ей нужны контрибуции и территории, а большевики выполняли бы приказание. На деле же сотрудничество Германии и социал-демократов было игрой лиц, не испытывавших друг к другу никакой симпатии. Ленин не выносил кайзера так же, как и царя. Но когда он смог использовать кайзера против Романовых, он не отказался от такой возможности.

Немецкое правительство провезло социалистов в Россию, потому что эта акция вписывалась в стратегические планы войны с Антантой, но вряд ли они ожидали благодарности от большевиков, Это была достаточно холодная сделка, не влекущая сентиментальных последствий.

Как только большевики заняли освободившийся императорский престол, началась их эволюция от борцов за права мирового пролетариата к российским имперским интересам. Как и любое правило, эта эволюция не обошлась без исключений.

Обнаружилось, что переосмысление своей политической функции по-разному проходят у различных лидеров новой России. И если наиболее трезвые и цепкие уже к началу 1918 года поняли, что главное — удержать власть, а остальное когда-нибудь приложится, то иные, скажем романтики, продолжали исповедовать религию Маркса — крестовый поход за освобождение мирового пролетариата, ради чего можно пожертвовать своим господством в России.

Большинство большевистских лидеров полагало, что самое насущное дело — заключение мира с Германией. Ведь, объявив мир народам и этим как бы придав законность развалу фронтов и стремлению усталых солдат вернуться домой, они стали беззащитны перед неуклонным наступлением германской военной машины. Если война будет продолжаться, то через несколько недель немецкая армия войдет в Петроград (вскоре большевики вернут ему старое название — Петербург), затем возьмет Москву и ликвидирует первое в истории государство рабочих и крестьян.

Защищать республику некому. Своей армии еще нет, а красногвардейцы и матросы Кронштадта годны более для арестов и реквизиций, чем мя сражений.

Ленин и Свердлов понимали, что Германии так же крайне необходим мир на Востоке.

Это означало возможность снять несколько корпусов и бросить их во Францию, где и решались судьбы войны. Это означало открытие продовольственного потока из России и Украины — а ведь Берлин и Вена были близки к голоду. Ленин полагал, что на переговорах о мире противники будут торговаться, выжимая все выгоды из тяжелого положения безоружной России, но следовало пойти на уступки, чтобы не потерять всего.

Существовала и другая точка зрения — романтическая. Звучала она наивно, а с высоты последующих лет даже глупо: Мы объявили мир всем народам. Мы не хотим воевать. Если немцы такие плохие, пускай они наступают, пускай они нас завоевывают. Но мы убеждены, что германский пролетариат не позволит совершиться такому насилию над Россией и восстанет против угнетателей. Германское наступление на Свободную Россию станет призывным сигналом для мировой революции.

Пока шли первые споры о стратегии отношений советского государства с мировым империализмом, делегация большевиков в составе Йоффе, Каменева и Сокольникова отправилась в пограничный Брест-Литовск, занятый в то время немцами. Конечно, большевики предпочли бы вести переговоры в Стокгольме либо ином нейтральном европейском городе, под взорами и перед ушами тысяч журналистов, чтобы любое слово, сказанное там, служило разоблачению низменных устремлений Германии, но в Стокгольм германские представители ехать отказались. Поспорив для порядка, большевики сдались. А раз переговоры начались с такой важной уступки, они продолжались под знаком германской инициативы.

Но кто знает, в какой прекрасный день Ленин и его ближайший соратник Свердлов поняли, что на их политических весах власть в России котируется важнее всех мировых революций вместе взятых? Кто скажет, когда Ленин понял, что желает быть властителем величайшей империи мира, а не подручным в склоках германских и французских филистеров, которых в глубине души, возможно, всегда презирал? А кто убедит нас в том, что, посылая первую делегацию именно в Брест-Литовск (хотя романтики Радек и Троцкий, поддерживаемые большинством в верхушке партии, категорически сопротивлялись тому, чтобы переговоры шли в логове принца Леопольда), Ленин не принял уже главного решения того года: мир с Германией любой ценой, даже если эта цена — провал мировой революции.

###### \* \* \*

Граф Оттокар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи, в начале переговоров с русскими социалистами писал другу в Вену: «Известия из России все настойчивее указывают, что русское правительство безусловно и как можно скорее хочет заключить мир. В этом случае немцы уверены, что смогут перебросить массу своих войск на Запад, прорвут фронт, займут Париж и Кале и станут непосредственно угрожать Англии... Таким образом, русский мир может стать первой ступенью на лестнице всеобщего мира».

Австро-венгерский министр искренне желал мира. Но на условиях Центральных держав.

«В последние дни я получил достоверные известия о большевиках, — продолжал он. — Их вожаки почти исключительно евреи, руководимые фантастическими идеями. Я не завидую стране, которой они управляют... Узнать что-либо точное о большевиках нельзя или можно узнать многое, но противоречивое. Они начинают с того, что уничтожают все, напоминающее о труде, благосостоянии и культуре, и истребляют буржуазию. Они, по-видимому, уже забыли о „свободе и равенстве“, и их программа заключается в зверском подавлении всего, что не является пролетарским. Русская буржуазия почти так же труслива и глупа, как и наша, и позволяет себя резать, как баранов».

Возможно, в тот момент в выводах министра было некоторое преувеличение.

Большевики еще не имели ни сил, ни возможностей провести в жизнь такую программу.

Но в конечном счете пессимистический прогноз Чернина оправдался.

Что же касается заключения сепаратного мира с русскими, то в частном письме Чернин был весьма откровенен, что позволяет предположить, что если бы политика большевиков была тверда и последовательна, то Брестский мир не стал бы таким трагичным для всей России, Но некому было вскрыть личную переписку министра, в стране большевиков не нашлось провидца.

Полагая и надеясь, что большевики долго не продержатся у власти, Чернин сделал на основе этого любопытный вывод: «Конечно, русский большевизм представляет опасность для Европы, и было бы правильнее совсем не вступать в переговоры с этими людьми, пойти походом на Петербург и восстановить порядок. Но этих сил у нас нет, и мы нуждаемся в самом скором мире для нашего спасения... Чем короче будет пребывание Ленина у власти, тем поспешнее надо вести переговоры, ибо следующее русское правительство уже не возобновит войны».

###### \* \* \*

Европейские социалисты находились в экзальтированном состоянии по причине победы революции в России, Они полагали, что Ленин и его соратники выполняют их заветы.

Ибо рассматривали русских коллег как младших братьев под идеологической опекой мудрого Запада. Они быстро пережили теоретический конфуз русской революции, не только разрушившей империю, но и поставившей под сомнение постулаты марксовой теории, учившей о победе революции в странах, где пролетариат силен и организован. Ведь без него революция не сможет стать пролетарской. Но раз Россия так нарушила правила, ей придется стать запалом мирового пожара и, если суждено, сгореть в этом пожаре.

Вчерашний Ленин разделял такую точку зрения и сам учил тому своих соратников.

Вчерашний Ленин, конечно бы, настаивал на том, чтобы мирные переговоры с Германией велись в нейтральной европейской стране, чтобы они сами стали событием в истории марксизма, чтобы каждый шаг их освещался социал-демократами и служил бы на ускорение победы пролетариата в Германии, Австро-Венгрии, а затем уж и во Франции. В Стокгольм как самый удачный из пунктов переговоров, уже собрались вожди европейской социал-демократии, интернациональная братия профессиональных революционеров — Парвус, Радек, Ганецкий, Воровский... Они желали превратить мирные переговоры с Германией в социалистическую конференцию, на которой будет разоблачен германский и антантовский империализм. Если же германские войска задушат эту случайную, непредусмотренную русскую революцию, этим они поднимут победоносное восстание западноевропейского пролетариата.

Известие о том, что петроградские большевики согласились на переговоры в Брест-Литовске, тогда как их наставники уже сбежались в Стокгольм, было воспринято ими как предательство, каковым оно и было. Ведь в Брест-Литовск ни один чужеземный социалист допущен не был. Радек и Парвус злобствовали более прочих — Парвус жаловался Ганецкому, что Ленин не отвечает на его возмущенные телеграммы, а Радек кинулся в Петербург, объявил себя русским социал-демократом и в этом качестве проник в Брест, чтобы давать указания русским товарищам. Даже Роза Люксембург сделала Ленину публичный выговор: еще бы, решение его ставило под угрозу скорое начало революции в Германии.

Ленин был готов к нападкам коллег, но он уже принял решение: игрушкой в руках немцев он не станет. Если нужно, он сделает все от него зависящее для помощи германской революции. Но не за счет власти большевиков в России.

В те дни Ленина угнетало отсутствие настоящего друга, к совету которого можно прислушаться. Раньше он с людьми лишь приятельствовал, но до тех пор, пока те правильно служили делу. Исключение делалось лишь для родственников, доказавших верность многолетними жертвами и самоотречением. Но сестры, брат, мать только служили ему и как мыслители были ничтожны.

При том Ленину было свойственно увлекаться людьми. Порой он мог даже влюбиться в человека. До первого своего каприза или вспышки подозрительности. Тогда он отдалял от себя приятеля, даже клеймил и разоблачал его. Но, подобно Екатерине Великой, которая не держала зла на изменивших или надоевших фаворитов, никого из них не гнал и не уничтожал, На рубеже восемнадцатого года Ленин полюбил Троцкого. Троцкий был умен, интересен, талантлив и не опасен. На это у Ленина был особый нюх. Троцкий, как ни парадоксально, был замечательным исполнителем. Правда, при условии, что он полагал себя вождем. Он почитал Ленина, как старшеклассница почитает усатого учителя физики, и не стремился его оттеснить, А трезвый Ленин понимал, что не сегодня-завтра его неоспоримое лидерство будет оспорено внутри партии, как оспаривается уже в Европе. Ленину даже любопытно было присматриваться к верным соратникам, стараясь угадать среди них будущего Брута. Выбор его обычно падал на Свердлова или Дзержинского. Оба были мучениками, оба были по натуре мстителями и людьми религиозными — ибо идею воспринимали как веру. А в Троцком не было мученичества, не было мстительности и не было внутренней злобы. Словно он не был никогда унижен. Значит, из него не выйдет монстр. Из Свердлова или Зиновьева он выйти может — пример тому Французская революция.

А кто я, Владимир Ульянов?

Мститель за убиенного брата? Это было давно, это уже забыто, и память о брате стала родом символа. Теперь я отдаю должное рациональности правительства — правительство обязано карать, что предусмотрено уже первобытным общественным договором. И если в том возникнет нужда, а главное — политический смысл, то придется поставить к стенке государя императора, благо на его совести куда больше преступлений, чем на совести юноши, повешенного его отцом.

Но кто я? Монстр? Ничего подобного. Во мне нет злобы, а только ярость. Ярость, с которой я бросаюсь на спасение дела, как верный пес — на защиту хозяйского дома.

Ярость проходит, и я всегда готов простить человека, если он полезен делу. Я не способен убить человека, я не могу видеть, как людей убивают. Я предпочел бы выбросить смерть из политического арсенала. Но она объективна, как объективна классовая борьба. Олень насаживает на рога волка, спасая своего детеныша. Нет, монстр опасен для дела, для своих более, чем врагов. Монстр подвержен мании преследования, а мне это не угрожает...

Может быть, я — мессия? Глупо — я всегда был рационален. Чудес не бывает. Мессия это оратор, кинувший в толпу удачный лозунг. Далее, чтобы поддерживать энтузиазм и преданность толпы, он обязан перед ней расстилаться, лгать ей, потакать ее низменным качествам.

Нет, я — ученый. Я знаю, как сделать революцию. И знаю, как устроены люди и массы людей. Я знаю, как разделять и властвовать. Но не ради себя или своего рода, а ради этих самых наивных, жестоких, неумных людей — без меня им будет хуже. Я, как гениальный алхимик, знаю, какие волшебные капли надо влить в их жизненное зелье. Я знаю. Я — мыслитель, И сам факт владения правдой, знанием мне важнее любой славы и мести.

Нужен ли я всему миру? Или пришло время решать — Россия против Европы? Это трудный выбор. Троцкий хоть и умен, но слишком марксист. Троцкому нужен учитель и поводырь. Но в своей табели о рангах Троцкий ошибочно считает первым пророком покойного Карла Маркса, гениальность которого ограничена и старомодна. Я должен сделать так, чтобы вытеснить Маркса с первой строчки духовной библии Троцкого. И это реально, потому что Троцкий мне ясен, ...Но Троцкий бывал непредсказуем.

Это было опасно.

Почему-то он вчера спросил:

— Как могло случиться, что вы, Владимир Ильич, не предугадали, не предвидели Февральской революции?

— Разве это была революция? — отшутился Ленин и сам засмеялся громко и заразительно. — Революции не бывают случайными На самом деле упрек был неприятен, потому что справедлив.

Троцкий сам пришел на помощь:

— Важна не ошибка или просчет. Важно сделать мя себя правильные выводы.

В первом списке министров — народных комиссаров правительства — Ленин предложил Троцкому пост народного комиссара иностранных дел. Помимо личной симпатии к этому жовиальному самоуверенному человеку Лениным руководили и соображения пропагандистские: в отличие от него самого и многих других вождей большевизма Троцкий никак не был скомпрометирован связями с немцами или Временным правительством. Его не было в злополучном вагоне, он находился в Америке и Канаде, не бедствовал, не голодал, не томился по ссылкам и тюрьмам, как Дзержинский, Свердлов или Сталин.

Наставляя Троцкого перед отъездом в Брест, Ленин сказал, почесывая еще не отросшую с революции бородку:

— Я бы не хотел, чтобы Парвусы и Радеки рассматривали Россию как пуговицу на их смокингах.

Троцкий улыбнулся. Он только что сшил себе офицерского вида китель, который ладно сидел на его широких плечах, Наверное, он подолгу стоит перед зеркалом, подумал Ленин. Любит глазеть на себя.

Говорят, у него хорошенькая сестра. Почему я ее не видел? Впрочем, такие глаза, как у него, могут скрасить и вовсе не привлекательное лицо.

— Вы ощущаете себя евреем? — неожиданно для себя спросил Ленин.

— Вы имеете в виду комплекс неполноценности, гонения, стремление отомстить обидчикам...

— В государственном масштабе.

— У меня было счастливое детство, — ответил Троцкий. — Хорошее, небогатое крестьянское детство.

— Крестьянское?

— Мой отец — арендатор на Украине. У нас в хате был глиняный пол.

И Троцкий довольно рассмеялся.

Догадался ли он, почему я спросил? Впрочем, это не играет роли. Мстители — Свердлов, Дзержинский, Сталин, проведшие десятилетия в тюрьмах и на каторге, были неизбежно узки и обозлены — тюрьма стала мя них естественным образом жизни, и стремление упрятать туда всех инакомыслящих казалось естественным и не выходило за пределы морали. Эти люди пришли скорее отомстить, чем осчастливить.

И когда отомстят обидчикам, перенесут эти отношения на друзей, ставших соперниками. Уж лучше мздоимцы...

— Уж лучше мздоимцы, — повторил Ленин вслух. Но Троцкий все же понял, потому что закончил фразу:

— Чем Угрюм Бурчеев с партийным билетом.

###### \* \* \*

Во главе германской делегации был поставлен генерал Гофман, он и сформулировал от имени германского командования требования к России как условия заключения мира. Во-первых, заплатить Германии за содержание миллиона русских пленных, во-вторых, отказаться от Прибалтики, Молдавии, Восточной Галиции и Армении. Глава русской делегации Йоффе настаивал на заключении мира без аннексий и контрибуций. Гофман согласился на это при условии, что согласится и Антанта, — иначе Германия оставалась в невыгодном положении. Так что пришлось от этого условия отказаться, Русские настаивали на том, чтобы Германия не пользовалась перемирием мя переброски своих войск на Западный фронт — иначе нарушался баланс сил, и в самом деле могло случиться так, что Германия разгромит Францию, война закончится в пользу Центральных держав, и никакой революции в Европе не получится. Гофман заявил, что войск Германия перебрасывать не будет, но оставляет право отводить части в тыл на отдых и переформирование. Это была удобная лазейка — отдыхать можно было во Франции.

Как первый шаг было заключено перемирие до середины января 1918 года. Железные дороги в Европе заработали с невероятной нагрузкой — успокоенные за судьбу Восточного фронта немцы начали перебрасывать корпуса на Запад. Начальник Генерального штаба Людендорф готовил последнее и решительное наступление на Францию за счет войск, которые Ленин освободил на Востоке.

Троцкий и Каменев, выступая перед ВЦИКом, показывали перемирие как великую победу мировой революции. Троцкий сказал: «Мы верим, что окончательно будем договариваться с Карлом Либкнехтом, и тогда мы вместе с народами мира перекроим карту Европы». Каменев вторил ему: «Мы поехали в Брест потому, что наши слова через головы германских генералов дойдут до германского народа, что наши слова выбьют из рук генералов оружие».

Генералы не спешили расставаться с оружием, они готовились к решительному наступлению на Париж.

###### \* \* \*

Чернин приехал в Брест 6 января. Он вспоминал, что последняя ночь была ужасной — отопление в его поезде замерзло, и он не смог сомкнуть глаз, несмотря на то что ему принесли второе одеяло. Но когда утром поезд втянулся на запасные пути брестского вокзала и задремавший под утро австрийский министр протер глаза, он увидел, что на запасных путях царит оживление: еще до него сюда прибыли поезда германских союзников — болгар и турок. Вагоны были украшены соответствующими гербами, по путям бродили и бегали — к зданию вокзала, к базару, к немецким складам и обратно — денщики, вестовые, адъютанты в экзотических Мундирах.

Министр иностранных дел Германии Кюльман пригласил Чернина к завтраку. Чернин рассказал коллеге, что в Вене уже несколько дней не выдают хлеба, Австрия на пороге выхода из войны. Во время завтрака принесли телеграмму из Петрограда о том, что поезд русских дипломатов уже в пути. Йоффе заменен большевистским министром Троцким.

В ожидании появления Троцкого воспрявшие духом дипломаты и военные центральных держав по приглашению командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского отправились на охоту. Немцы чувствовали себя в Брест-Литовске как дома. «Погода была очень холодна, но прекрасна, — записал в дневнике граф. — Много снега и приятное общество. Дичи, против ожиданий оказалось мало, Адъютант принца загнал кабана, другой подстрелил двух зайцев. Вот и все. Возвратились в 6 часов вечера».

А на следующий день — Троцкий еще не приехал — произошло событие, которое и определило ход будущих переговоров. Появилась украинская делегация. Украинцы сразу же предложили немцам признать их самостоятельность. Они со своей стороны готовы заключить любой мир, который угоден немцам, даже продать всю Украину ради сохранения собственных министерских постов. Появление украинской делегации мудрый Чернин назвал «нашим единственным спасением». И продолжал: «Украинцы сильно отличаются от русских делегатов. Они гораздо менее революционны, обнаруживают гораздо больше интереса к собственной стране и меньше интереса к социализму». Так что еще до появления на сцене Троцкого позиции Германии укрепились и генералы воспряли духом.

На первых же заседаниях Троцкому было объявлено, что Центральные державы признают независимость Украины и хотели бы считать ее полноправным партнером в переговорах. Троцкий, который до того безуспешно пытался доказать украинцам, как опасно вступать Украине в самостоятельные отношения с Германией, признал, что Украина, как и любая страна, имеет право на самоопределение. Троцкий знал, что в Петрограде были приняты все меры, чтобы нейтрализовать украинскую самостийность. 12 января в Харькове было организовано параллельное правительство Советской Украины, которое тут же послало свою делегацию на переговоры в Брест-Литовск.

Еще один, уже пятый дипломатический поезд втиснулся на запасные пути. Но вождей Советской Украины — Медведева, Шахрая и Затонского — немцы на переговоры не пустили, указан Троцкому, что тот давал согласие на участие Украины в переговорах, когда в Бресте находилась лишь одна украинская делегация.

Троцкий ждал, когда киевское правительство падет, а пока тянул время, переругивался с генералом Гофманом, призывал к мировой революции и поддавался напору сторонника мировой революции польского социалиста Радека, спесивого, неопрятного демагога из той породы скандалистов, которые слишком быстро привыкают к удобствам своего высокого положения и принимаются кричать на шоферов и кухарок.

Радек отличился уже через три дня после приезда. Троцкий от имени делегации отказался от общих обедов с оппонентами, но согласился на предложение генерала Гофмана предоставить большевикам автомобиль, чтобы они могли совершать на нем поездки, В тот день шофер опоздал, заправляя автомобиль бензином, и Радек, прождавший его несколько минут, устроил страшный скандал. Он вел себя неприлично, и потому шофер дал газ и прямиком уехал в штаб, где нажаловался на русского делегата генералу Гофману. Генерал попросил Троцкого лучше следить за членами делегации.

— Пока не началась мировая революция, господин министр, — сказал он, — мне хотелось бы, чтобы вы соблюдали правила человеческого общежития. Мы в Германии не любим, когда нам отвечают хамством на любезность.

Троцкий попросил прощения и от имени делегации отказался от автомобиля. Радеку он сухо сообщил, что тому впредь полезнее совершать пешеходные прогулки.

Из Вены Чернину летели отчаянные телеграммы о голоде и завтрашнем восстании.

Немцы боялись, что Чернин предложит русским сепаратный мир. Ленин пытался ускорить создание армии — никто не знал, какая эта армия должна быть, и никто не мог превратить сотни отрядов и банд, увешанных оружием, как рождественские елки, закопанных в кожу и имеющих пулеметы, а то и броневики, в подобие армии, способной подчиняться и противостоять профессиональным немецким батальонам.

Разумеется, командиры этих банд и отрядов более всего боялись потерять власть и оружие и не собирались рисковать жизнью, воюя с немцами. Ленин ночью просыпался от ужаса перед реальностью предчувствия: серые ряды германской пехоты шагают по Невскому.

Днем Ленин принимал американского посланника Филипса и английского — Локкарта.

Те грозили гневом Антанты и обещали подмогу техникой и вооружениями, если Россия сохранит верность общему делу. Ленин понимал, что ни в Лондоне, ни в Париже у него не найдется союзников. Скорее германский император согласится на то, чтобы большевики остались в Петербурге и не мешали ему громить французов, чем французы станут тратить деньги на поддержку большевиков. А раз так, то надеяться можно только на то, что генерал Людендорф остановит свои войска, Пускай захватив половину России — мы вернем ее. Только бы пережить эту зиму!

Троцкий Ленина разочаровал. Оказавшись на пьедестале министра и главы делегации, он преувеличивал свое значение, и ему стало казаться, что мировая революция вот-вот начнется. Благо рядом был настойчивый Радек. Ленин был бы рад сам отправиться в Брест, уединиться с Гофманом или Людендорфом и обо всем договориться: Вам нужно зерно? Вам нужно сало? Вам нужна любая поддержка с Востока? Вы ее получите! Но оставьте в покое меня и мою страну!

Немцы же всерьез принимали риторику Троцкого и видели перед собой Радека, который в их глазах и представлял собой мировую революцию, готовую перекинуться на Берлин.

Украина же обещала хлеба. Столько хлеба, сколько потребуется, чтобы разгромить Антанту. Обещала уголь, мясо, масло. Взамен требовала гарантий независимости от москалей и австрийскую Галицию — от последней, впрочем, могла и отказаться.

Украинцы обещали так много, что германские дипломаты чуяли подвох, которого в самом деле не было. Министр иностранных дел Германии Кюльман отмечал в дневнике, что «украинцы хитры и коварны». 18 января Троцкому были вручены карты с территориями, которые Россия теряла по мирному договору. Список их был внушителен, общая площадь более 150 тысяч квадратных километров, но специфика германских требований заключалась в том, что эти территории большевики не контролировали. Финляндия уже была независимой, Прибалтика и Польша были оккупированы немецкими войсками.

Однако Троцкий отказался подписать договор и уехал в Петербург для консультаций.

Переговоры прервались, и в последующие несколько дней большевики о них забыли: в Петербурге было созвано и разогнано Учредительное собрание.

Эпоха демократии в России завершилась.

###### \* \* \*

Лидочка и Андрей не собирались задерживаться в Киеве, где у них не было ни родных, ни знакомых, Но когда симферопольский скорый, изнемогая, подполз к киевскому вокзалу и изверг на обледенелый перрон многочисленных пассажиров, Андрей обнаружил, что у касс злым пчелиным роем покачивается темная толпа, в которую свежим пополнением влились пассажиры симферопольского поезда.

Андрей сделал было поползновение приблизиться к толпе, но Лида вцепилась в него, не пуская, — и тут же увела с вокзала. Атак как ей хотелось выкинуть из головы обязательные билетные заботы, она стала говорить Андрею, что давно хотела побывать в Киеве, все-таки это мать городов русских, хоть теперь и сменившая национальность, ставши столицей украинской державы. Лидочка даже вспомнила, что командует Украиной Центральная рада, то есть интеллигентный писатель Винниченко, он несколько лет назад снимал комнату в их доме, водил Лидочку на пляж и подарил ей скучную книжку с трогательной надписью. Четырнадцатилетняя Лидочка принесла книжку в гимназию и забыла на парте, чтобы девочки могли прочесть надпись и понять, какие у Лидочки знакомые...

Андрей легко дал уговорить себя задержаться в Киеве, таком Мирном, сытом и далеком от войны. Они погрузили свой нетяжелый багаж на извозчика и поехали в центр, где сняли номер в скромной и чистой гостинице Байкал» на Фундуклеевской улице, неподалеку от Городского театра.

Цыганистый портье с висячими, на украинский манер, тонкими усами был предупредителен, словно принимал Великих князей.

— Совсем не осталось молодоженов, — сообщил он, — может, и играют свадьбы, но чтобы в путешествие как у панов, этого уже нет. Откуда мы будем?

Он им объяснил, как лучше пройти к Софии и на Крещатик, и даже вышел проводить их к дверям, может, потому что швейцара в гостинице не было, от него отказались из-за дороговизны.

Они пошли к Софии пешком. Сначало было солнечно, солнце даже чуть припекало, что для начала января необычно. Под ногами хлюпала снежная каша. На Крещатике было Многолюдно, толпа была южной, говорливой, но неспешной. Витрины магазинов были богаче, чем в Симферополе. По улице, разбрызгивая снежный кисель, проезжали извозчики и автомобили. Над большим пышным зданием трепетал по ветру голубой флаг Рады. Лидочка крепко держала Андрея за руку, она радовалась, словно впервые увидела такой большой город. До революции Лидочка жила в Одессе и Николаеве, Ну и конечно, в Крыму.

— Разве Одесса меньше Киева? — спросил Андрей.

— Я забыла, — призналась Лидочка.

— Ты провинциалка?

— И горжусь этим, мой повелитель. А ты лучше погляди, какой смешной дом — как торт с орехами.

Андрею вдруг показалось, что этот город, этот Крещатик — декорация оперного спектакля, где сто человек в ярких одеждах становятся полукругом и смотрят, как девушка в белой пачке танцует па-де-де. Вокруг — раскрашенные фанерные фасады и виноградные грозди из ваты, обмазанной клеем, А там, за кулисами, пыльно и темно, для обывателей Киева война — это газетная выдумка, если, конечно, на ней еще не убило кого-то из близких. Никто не хочет думать, что скоро закроется занавес и спектакль кончится. И сюда придут люди с пулеметами — большевики из Петрограда матросы из Севастополя, немцы из Бобруйска, австрияки из Галиции. А может быть, писателю Винниченке не понравится, почему это он ходит под голубым флагом, а его военный министр Петлюра под жовто-блакитным?.. И все они начнут стрелять.

— Ты меня слушаешь? — спросила Лидочка. — Или опять думаешь, как будет плохо?

— Я Кассандра.

— Ты дурной вестник. Таких, как ты, казнили.

— Казни меня.

— Купи мне мороженого. Такова будет ужасная казнь.

Андрей купил мороженого в вафельных кулечках. Себе — шоколадного, а Лидочке — клубничного. Они уселись на скамейку, ветер сразу стал хватать за щеки и пальцы.

Прохожие поглядывали на них без удивления. Не все ли равно, когда есть мороженое, если оно вкусное?

— Интересно, — сказала Лидочка, — у тебя уже есть характер, или ты еще не успел им обзавестись? Я все время за тобой наблюдаю, как за нашей кошкой. Ты не обижаешься?

— Я не обижаюсь, — ответил Андрей. — Я читал, что девочки раньше взрослеют, но потом останавливаются в своем развитии.

— Я замерзла. — Лидочка поднялась и пошла по улице.

Андрей поспешил за ней.

— Не воображай, будто я обиделась, — сказала Лида. — Хотя ты мог быть повежливее.

Она покосилась на него. Ей нравилось разглядывать Андрея.

Наверное, я в него влюблена. До сих пор.

За два года, которые они так или иначе провели рядом, Андрей вытянулся до шести футов. Он обещал, что больше расти не станет. Он стал шире в плечах, и руки тоже стали шире — от ладоней до предплечий. Хотя кость у Андрея была нетолстой.

Волосы вьются перед дождем. А в сухую погоду — не вьются. Они красивого цвета — русые, но золотистые. Конечно, он еще мальчик. Но и мужчина. И эта двойственность подчеркивается двойственностью календаря, в котором он существует...

Как и она.

— Сколько нам лет? — спросила вдруг Лидочка.

— Пойдем лучше дальше, — сказал Андрей. — А то совсем замерзнем.

Солнце зашло, утонуло в темной снежной туче, и сразу наступила глухая, мрачная зима. Они направились к развалинам древних городских ворот, что стояли на Владимирской улице.

— Познакомились мы в Ялте, — сказала Лидочка, дохрустывая вафельный стаканчик. — В августе тринадцатого.

— Но объяснения не последовало, ибо она не разглядела в нем своего будущего рыцаря.

— Погоди! Я в самом деле хочу разобраться.

— Во второй раз я примчался к тебе через полгода.

— И у тебя украли фуфайку. Помнишь, тот чистильщик на набережной? Ты тогда уже поступил в Московский университет.

— А ты еще никак не могла выпутаться из пеленок ялтинской женской гимназии.

— А потом убили Сергея Серафимовича, а тебя хотели посадить в тюрьму. Отсюда начинается наша двойная жизнь, Андрей обнял Лидочку за плечо, притянул к себе и хотел поцеловать в губы, но Лидочка чуть отстранилась, и поцелуй пришелся в щеку.

— У нас с тобой появились табакерки, сказала Лидочка, всерьез намеренная подвести первые итоги их жизни. Но у Андрея такого настроения не было. Он только мешал ей считать.

— Лучше бы они не появлялись, — сказал он, Они вышли к непонятной громоздкой груде кирпичей — древним городским воротам.

Сверху белой шапкой лежал снег. Ворота не казались древними. Их могли воздвигнуть и десять лет назад, а потом они рухнули из-за паршивого раствора.

— Твой отчим завещал нам свою судьбу... По крайней мере дважды с помощью этих табакерок мы убегали с тобой в будущее. Не будь этого, ты бы и сейчас сидел в тюрьме.

— Или наоборот, — ответил Андрей. — Я был бы выпущен из тюрьмы восставшим народом и провозглашен Робеспьером.

— Но этого тебе пришлось бы ждать больше двух лет — до марта семнадцатого.

— Это искушение, от лукавого, — сказал Андрей.

— Так выбросим эти табакерки. Выбросим!

Лидочка расстегнула застежку сумки, но Андрей остановил ее руку. Трудно отказаться от способности в любой момент исчезнуть в этом мире и возникнуть вновь в будущем. Ты поставил шарик портсигара на нужное деление — и вот ты уже в двадцатом году или в тридцатом... где захочешь.

Ты очнешься через три года, через десять лет — точно такой же, как нынче. Даже ботинок не истрепал. А близкие твои состарились, а враги твои убиты или, наоборот, торжествуют на вершине власти... Прошло не так много времени с того дня, как умирающий Сергей Серафимович передал Андрею свой портсигар — машину времени, а Глаша второй — для Лидочки. По земному счету это произошло в октябре 1914 года, то есть чуть более трех лет назад. Но уже вскоре Андрею пришлось воспользоваться машиной времени, чтобы убежать из-под стражи. В апреле семнадцатого года Лидочка, последовавшая за ним, встретила Андрея в Батуме, куда он приплыл из Трапезунда.

— А это значит, — сказала Лидочка с внутренним торжеством, — что нам с тобой на два года меньше, чем тем, кто родился с нами в один день.

— Посмотрим, что будет через пятьдесят лег, — ответил Андрей.

— Ты тоже думал об этом?

— Для этого мне и дана голова.

— Я так надеюсь, что портсигары больше никогда нам не понадобятся!

— А почему? Мне интересно. Ведь если своими ножками прожить сто лет — какими старенькими мы станем! Атак заглянем...

— Но не сможем вернуться! Ты понимаешь — не сможем вернуться.

— А как ты думаешь, сколько лет папу Теодору? Сколько лет было моему отчиму?

Может быть, им по тысяче лет? По две тысячи? Легенда о вечном жиде не придумана.

Кто-то знал об этих людях...

— Я не хочу, честное слово, я не хочу. — Лидочка готова была заплакать, — Я буду жить, как все.

— Если нам позволят, — ответил Андрей.

— Значит, мы прокляты?

— Я не знаю — проклятие это или спасение, Но я знаю, что мы теперь навсегда, до конца дней, не такие, как остальные люди на земле. Не хуже и не лучше, но другие.

И с каждым годом мы будем все более удаляться от них.

— Я не хочу!

— Не кричи. Люди оборачиваются.

— Это не люди, это лица за окном поезда.

— Мы не сможем иметь друзей и привязанности. Но у меня есть ты.

— Мне маму жалко...

Андрей остановился и прижал к себе Лидочку, и она спрятала лицо у него на груди.

Ей казалось, что она чувствует, как бьется его сердце.

— Пойдем осматривать Софийский собор, — сказал Андрей. — Сегодня мы — туристы.

Андрея беспокоило то, что Лидочка отправилась гулять по январскому Киеву в резиновых ботиках — в Симферополе трудно было купить зимнюю обувь, Лидочка отложила покупки до Москвы — они все откладывали до Москвы. Сегодня же надо будет уговорить Лидочку приобрести зимние сапожки. Ведь Лидочка сама не замечает, как притоптывает, ноги уже замерзли — и пальто у нее демисезонное, без мехового воротника, — ну куда же ты смотрел, Берестов? О чем ты думал? О судьбах человечества? Человечество без твоей помощи истребляет себя на Марне и в Альпах.

Их денежные дела были не так хороши, как хотелось бы. В Москве придется устраиваться на службу. Теперь это важнее, чем университет. Пока он был одинок, то мог не думать о том, что ест и как одевается, А теперь на нем ответственность за семью. Смешно — никак не привыкнешь. Сколько у нас осталось? Около шестисот долларов. Пока их можно разменять — в Симферополе Андрей так и делал. Неизвестно только, меняют ли их в Москве? Можно было продать тетушкин домик в Симферополе, но рука не поднялась. Да и где тогда будет твой родной дом, Берестов? Где родовое поместье в три окна по беленному известкой фасаду?

Сизая туча ударила в лицо таким густым зарядом снега, что в мгновение ока не стало видно домов по сторонам, трамвая, что, звеня, бежал навстречу, и путников, застигнутых метелью. Стало темно, но не ровной темнотой вечера, а тревожной сиреневой, светящейся изнутри тьмой, какой видится в воображении преисподняя.

Андрей протянул руку и отыскал пальцы Лидочки.

Им попалась подворотня, они нырнули в нее и увидели, что там уже стоят, отступив в мирную сень каменного туннеля, с полдюжины прохожих. Вновь прибежавшие принялись отряхиваться — совсем по-собачьи. Вбежал еще один человек, отторгнутый снежной бурей.

— Вот метет, так метет, — сказал он, словно запоздалый гость.

— Я такой погоды не помню, — сообщил грузный монах, тяжелая и мокрая ряса которого выползла из-под черного пальто, а в черной бороде так и не растаял снег.

— Я бы сказал, что близится конец света.

— Конечно, у вас есть дополнительные сведения, — язвительно откликнулся студент в фуражке, оттопыривавшей красные уши. — Вам сообщают.

— Не говорите глупостей, молодой человек, — сказал монах, — речь идет об интуиции, если вам известно такое понятие. Но налицо многие признаки апокалипсиса.

— Я помню, как в ночь под девятисотый год все ждали конца света, — включилась в разговор дама под лиловым зонтиком. — Но ведь не случился.

— Запоздал, — сказал вновь пришедший. — Немного промахнулся.

Кто-то засмеялся.

Зазвенел трамвай. Все побежали наружу, чтобы сесть в вагон. Перед тем как убежать к трамваю, студент в большой фуражке сообщил Лидочке:

— Виноваты мы сами, и только мы! Уровень загрязнения воздушных масс превышает все допустимые пределы. Человечество скоро уничтожит само себя. Поняли?

— Спасибо, — сказала Лидочка.

Студент уже бежал, он скакал в струях снега, стараясь уцепиться за стойку задней площадки. Наконец это ему удалось — по крайней мере в подворотню он не возвратился.

— Я ужасно замерзла, — сообщила Лидочка. — Давай пойдем в кафе, будем есть пирожные и пить грог.

Они нашли кафе, там были пирожные, но грога не нашлось. Они выпили по рюмке портвейна. К тому времени, когда они вышли, снегопад кончился, но похолодало, и вдоль улиц ветер нес снежную пыль и вырванные из-под снега жестяные дубовые и каштановые листья.

Вскоре они добрались до собора Святой Софии. Собор был открыт; но там не служили.

Они стояли в полутьме, ощущая скованное стенами, вытянутое к небу пространство.

Неожиданно снаружи облака разбежались, и лучи солнца прорвались в гулкую высокую пещеру собора, заставив тревожно заблестеть золотую мозаику в неподвижной вышине купола. В соборе тоже было холодно. По узким выложенным в стенах лестницам они поднялись на галерею. Ступеньки были стесаны подошвами тысяч людей, которые поднимались сюда сотни лет назад. Когда они вышли наружу, где под холодным солнцем неслись по синему небу рваные облака, Андрей спросил:

— Может, вернемся в гостиницу?

Лидочка шмыгнула носом и уверенно ответила:

— Не сходи с ума. Мы завтра уезжаем. А я еще не была в Печорах и не видела Святого Владимира.

Они прошли мимо провинциального, нескладного памятника Богдану Хмельницкому и повернули налево, к Михайловскому монастырю.

— Интересно, — спросила Лидочка. — Они его снесут?

— Кого?

— Хмельницкого.

— Почему?

— Андрюша, не будь наивным. Он же не захотел отдавать Украину полякам и отдал ее русским. Он — их местный предатель.

— Наверное, они поставят вместо него памятник Мазепе, — сказал Андрей, — за то, что тот хотел отнять Украину у русских и отдать шведам.

— Нет, — возразила Лидочка. — Они придумают Богдану Хмельницкому какой-нибудь другой подвиг. Им будет жалко такой большой памятник. На коне...

Они обошли Михайловский монастырь, и с площадки открылся вид на Подол, Днепр и левый берег. Как будто они внезапно вознеслись высоко в небо, как птицы, — так далеко внизу была земля, так широко был виден в обе стороны не везде замерзший Днепр и так бесконечно тянулась впереди снежная равнина, кое-где скрытая полосами снегопада, соединившими землю и серые тучи.

— Мы стоим и ждем печенегов, — сказала Лидочка.

— Так можно до смерти замерзнуть, — ответил Андрей. — Ты еще жива?

— Нет, не жива, но счастлива, — сказала Лидочка. — У меня к тебе большая-большая просьба, мой повелитель.

— Представьте мне ее в обычном порядке, — сказал повелитель, — на слоновой бумаге, скрепленную сургучной печатью.

— Слушаюсь и повинуюсь. И просьба моя заключается в том, чтобы ты запомнил это мгновение. Как единственное. Вот этот странный день — не то грозовой, не то солнечный, не то метельный, И этот вид до самого конца земли. И мы с тобой вдвоем, такие молодые и красивые.

— Попрошу без преувеличений! — возмутился Андрей.

— Потерпи, повелитель. Я скоро кончу свою поэму... Великий Днепр течет у наших ног, а за спиной незыблемый и вечный Михайловский монастырь и собор. Мы умрем, а он останется...

— Мы никогда не умрем. Мы всех людей переживем!

— Не смей так страшно говорить. И даже думать так не смей. Самое главное в жизни — это поймать драгоценное мгновение, И оставить его в себе. А я хочу, чтобы это мгновение осталось в нас обоих. Неужели тебе не понятно?

— Мне все понятно. И когда мы сюда вернемся?

— Мы вернемся сюда... через сто лет!

— Долго ждать. Давай через пятьдесят!

— Заметано, как говорят у нас, шулеров! Через полвека мы придем сюда, такие же молодые...

— Когда это будет?

— Это будет шестого января тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Ты составишь мне компанию?

— Обязательно, моя прелесть, — сказал Андрей. — А теперь побежали отсюда — я боюсь за твое здоровье. У тебя даже губы синие.

— В Печоры?

— В Печоры, а оттуда — в гостиницу.

Они выбрали не самый близкий путь — сверху, с неба, все пути кажутся короткими и простыми, — они спустились на фуникулере, что начинался от Михайловкого монастыря и звался Михайловским подъемом. Вагончик представлял собой лесенку из пяти купе — в каждом скамейка и своя дверь сбоку, все это стянуто общей трамвайной крышей. Кроме них, фуникулер ждали лишь две говорливые красноносые тетки с одинаковыми мешками. Мешки эти согласно шевелились и порой издавали негромкое визжание — тетки везли вниз, на Подол поросят.

Тросы, по которым сползал фуникулер, скрипели и визжали, словно жаловались на погоду и старость, вагончик раскачивался и тоже скрипел, окно с одной стороны было разбито, и ветер, проникая в него, был особенно холодным и злым.

Внизу Лидочка сказала, что еле дотерпела — лучше бы побежали по откосу пешком.

Тут бы Андрею настоять на возвращении в гостиницу, но Лидочка бывает упрямой до глупости, а Андрей не смог ее переубедить — думал, сейчас посмотрим на эти Печоры... вот сейчас. А добирались до них, наверное, больше часа, Уже тогда Лидочка начала кашлять, Вход в святые пещеры был закрыт: то ли выходной день, то ли забастовка монахов — никто не смог толком объяснить. Лидочка уже была рада, что можно возвращаться домой, — ее трясло. К счастью к монастырю подъехал извозчик, и они возвратились в гостиницу быстро. Лидочка прижалась к Андрею и хлюпала носом.

В гостинице она сразу разделась и забралась под одеяло, пока Андрей добывал внизу горячей воды, чтобы попарить ей ноги. Но когда он вернулся с тазом и кувшином, Лидочка уже забылась — лоб ее был горячим и влажным от пота. Андрей снова спустился вниз и спросил у льстивого портье, где найти доктора. Тот вдруг испугался и стал спрашивать, что случилось, не с поезда ли они? Потом признался, что боится тифа — в Киеве уже есть случаи, люди помирают как мухи, истинный крест, как муки. Говорите, у вас в Симферополе тифа нет? Ну, будет.

Андрей добежал два квартала до частной лечебницы Оксаны Онищенко. Там долго ждал, пока искали врача, и еще дольше уговаривал нанести частный визит в гостиницу.

Доктор Вальде, пышнотелый и женственный, что не опровергалось пышными усами, отмахивался от посулов Андрея и повторял:

— Рано еще — если она заболела, то дайте болезни проявить себя! Завтра приду!

Андрей все же вытащил доктора. У Лидочки уже был жар, тридцать восемь и пять Цельсия, доктор прописал ей аспирин. Он выразил надежду, что молодой организм справится, отделается банальной простудой. Он прописал горчичники и аспирин и оставил свой адрес.

Банальной простудой Лидочка не отделалась. Утром, в восемь, когда температура поднялась до сорока, Андрею снова пришлось идти к доктору, а тот встревожился и послал из больницы карету «скорой помощи — санитары вынесли Лидочку на носилках, а портье так и не поверил, что у Лидочки простуда. Он начал бормотать о том, что следовало бы и Андрею покинуть гостиницу, но доктор Вальде накричал на него, и Андрея в гостинице оставили, Ближайшие недели Андрей провел мёжду своим номером и больницей — у Лидочки образовалась двусторонняя пневмония, опасная для жизни, и только через шесть дней кризис миновал, и началось медленное восстановление.

Так что Берестовы, задержавшись в Киеве, провели там, сами того не желая, больше месяца.

Этот месяц при всей тоске и тревоге, в которой они прожили, принес и пользу — он еще более сблизил Андрея и Лидочку. Киев и драматические события в нем были задником, на фоне которого Андрей совершал некие почти ритуальные повседневные действия: покупал на рынке фрукты или у Гельмгольца лекарства, листал старые книги и новые журналы в книжных магазинах на Крещатике, порой, правда, нечасто, забирался в Общедоступную библиотеку и конспектировал труды Соловьева или Уайтхолла — как бы делая вид, что помнит о занятиях в университете, и не знал даже, будет ли зачислен на второй курс как прослушавший лекции и сдавший экзамены за первый, либо ему придется поступать в университет заново. Ведь неизвестно, как представляют себе университетское образование московские большевики. Может быть, теперь в университет принимают лишь сознательных товарищей матросов?

Но более всего времени Андрей проводил с Лидочкой, ставши своим человеком в женском отделении больницы, и даже вынужден был отстаивать там мужскую честь от посягательств невероятно страстной провизорши Григоренко, которая когда-то в юности неосмотрительно выбрила усики над верхней губой и теперь они росли у нее, как у гренадера. Остальные женщины — а мужчин в больнице почти не осталось — на Андрея не посягали и сочувствовали молодым людям, попавшим в беду далеко от дома.

###### \* \* \*

Николай Беккер, воплощение мужественной красоты с британского военного плаката, прогуливался по пустынной ялтинской набережной, беседуя с товарищем Мучеником из Ялтинского Совета.

Гуляли они открыто, не таились, не торопились, любовались темными, почти лиловыми волнами, шуршавшими, перемешивая гальку. Волны отражали зимние тучи, которые срывались с Ай-Петри, стремились к морю, но над Ялтой наталкивались на теплый чистый южный ветер, истончались, пропуская к земле холодный, яркий солнечный свет. День, подходивший к раннему закату, был чудесным, собеседники были молоды и полны сил, революция уже свершилась, притом росла, набирала скорость, размах и мощь, грозя ослепительной волной залить всю планету. Это было славно. Собеседникам было приятно сознавать, что они вовремя и безошибочно выбрали сторону в борьбе и оказались вместе с победителями.

Рассуждали они о брестских переговорах, рассчитывая на скорое поражение германцев, бранили неверных украинцев, которые старались без всяких на то оснований притянуть Крым к своей опереточной державе и заполучить надежду революции — Черноморский флот.

Собеседники остановились у мола, возле которого покачивался на зимних волнах катер с миноносца «Керчь». Катер, как они знали, поджидал возвращения на борт командующего особым севастопольским морским отрядом товарища Андрющенко.

Андрющенко задерживался, так как обедал после казни полковника Макухина и еще одиннадцати офицеров, пойманных в лесу, где они несколько дней скрывались после разгрома эскадронцев. Поимкой Главкома Макухина война независимой Татарской республики с Севастополем завершилась. Крым стал советским!

— На что надеялись эти авантюристы! — громко произнес Мученик, придерживая шляпу, которую норовил сорвать поднявшийся ветер. — Мне рассказывали, что железнодорожные рабочие в Симферополе, рискуя жизнью, срывали погрузку эскадронцев в вагоны!

— Эскадронцы расстреляли товарища Чауса, — сказал Коля.

— Вот именно! И они заслужили суровую кару. Коля услышал сзади треск, словно рвалось упасть большое дерево. Он быстро обернулся, Вблизи не было деревьев — а до громадного древнего платана было метров двести.

Возле того платана взрослые обыватели Ялты старались не проходить. Под ним крутились лишь мальчишки и собаки. Потому что еще тринадцатого января командир вошедшего в город с целью воспрепятствовать его захвату большевиками 4-го эскадрона Крымского конного Ее Величества полка ротмистр Баженов для устрашения обывателей приказал срезать мелкие ветви с нижних сучьев платана на набережной, чтобы всем издали были видны тела большевиков, когда их будут вешать на дереве.

Гражданская война еще только начиналась, ненависть и садизм возникали как бы спорадически и сменялись более обыкновенным чувством удивления противников — неужели мы обречены быть такими? да, обречены, потому что ненавидим тех, кого трепещем. Настоящие садисты и психопаты лишь начинали свое страшное движение вверх, к власти, не пользуясь одобрением собственных же начальников. Штаб-офицеров Уссурийской казачьей дивизии Семенова и фон Унгерна товарищи по полку недолюбливали, а начальство не давало им ходу. Время страшных, искалеченных, уродливых звезд смерти наступит лишь в разгаре гражданской войны. Пока что Баженов, ранняя однодневка, вешал от сознания своего поражения, собственной слабости и страха перед городом, враждебность которого он ощущал и полагал предательством. Хотя городу Ялте и в голову не приходило предавать ротмистра Баженова — сильно раненного в Галиции, контуженного под Варшавой, глухого на правое ухо, бедного как церковная крыса, недалекого и обреченного человека.

Город Ялта просто ждал, когда придет какая-нибудь власть, при которой можно ходить по улицам и даже выпускать на улицу детей.

Баженов злобился, а вокруг него росло поле отчуждения — сами эскадронцы, рядовые конного полка, среди них многие были крымскими татарами, фронтовиками, не принимали обреченной жестокости ротмистра. Потому эскадрон так быстро растаял, когда к самому концу мола подошел миноносец «Керчь» и дал по городу первый залп.

Командир отряда Андрющенко тоже не любил Ялту, ему казалось, что Ялта сопротивляется ему сознательно. Первый десант с «Керчи» и «Хаджи-бея» был загнан обратно я шлюпки двумя пулеметами баженовского эскадрона. Андрющенко тут же послал в Севастополь испуганную телеграмму:

По полученным данным в Ялту прибыло 4 эскадрона татарских войск. Мы просим Вас о помощи, потому что с рассветом предполагается серьезный бой. Из прибывших в Ялту 4-я часть выбыла из строя, Пришлите также патронов пулеметных берданочных и патронов «Наган», а также для русских винтовок. Андрющенко.

В тот же день с «Хаджи-бея» в Севастополь доносили:

Город занят мусульманами. Артиллерия миноносца обстреливает город. Передайте в Симферополь, что если не отзовут свои силы, то город будет разрушен. Член Центрфлота Фролов.

Телеграммы словно предназначались для будущих музеев революции. На самом деле город защищали остатки 4-го эскадрона и несколько татарских ополченцев.

Весь день четырнадцатого два миноносца и подошедший легкий крейсер «Дакия» бомбардировали Ялту. Десятки домов в ней горели. Люди бежали в горы, но на улицах многих ранило и убило особенно тех, кто шел медленно, обремененный повозками с барахлом, детьми и стариками. Подняв воротник бушлата, командир Андрющенко метался по мостику «Керчи». Командир миноносца старший лейтенант Кукель старался не замечать бывшего вахмистра из береговой конной команды и не слушать его, потому что Андрющенко все время матерился и ненавидел город за то, что не осмеливался его штурмовать.

Наконец утром пятнадцатого, получив пополнение и требуемые боеприпасы, включая патроны к «Нагану», Андрющенко приказал начать новый штурм. На набережной матросов никто не встретил. Не было врагов и на улицах. Матросы скользили по засыпанным мокрым снегом улицам, город был похож на девицу, отвернувшуюся от грубого кавалера. У банка натолкнулись на группу татарских ополченцев, которые грузили в мотор тюки. Ополченцы убежали, бросив берданки и тюки с ассигнациями.

Командир Андрющенко доносил в Севастополь:

Город в наших руках, в городе полный порядок, татары от города отошли... Мною было предложено мусульманам, чтобы они сдали все оружие в Военно-революционный комитет, выдали зачинщиков контрреволюции и признали советскую власть... массы сочувствуют нам. Командующий Андрющенко. Миноносец «Керчь».

В тот же день с платана сняли тела повешенных. Собралось много людей. Никто раньше не думал, что на платане, у которого назначали свидания, можно вешать людей. Люди лежали на земле в ряд, шесть человек. Потом двоих местных взяли по домам, а четверых, да еще трех Матросов, погибших при первой высадке, закопали в братской могиле в городском саду.

А девятнадцатого, вчера, как раз когда Коля Беккер приехал в Ялту, в лесу за городом поймали командующего татарской армией полковника Макухина, а с ним одиннадцать офицеров, включая ротмистра Баженова. Макухин был в матросской форме и пытался уйти стороной, отделившись от офицеров. Но его поймали. Утром их судили революционным судом и всех приговорили к смерти.

Офицеров повесили на платане, благо ротмистр Баженов подготовил дерево к казням.

Никто из взрослых жителей города не пришел посмотреть на казнь, там были только те, кто должен был присутствовать по долгу службы. Судьи, командир отряда Андрющенко, члены Ялтинского Совета, прибывшие из Севастополя и Симферополя, чтобы возвратиться к исполнению обязанностей, а также командированный в город эмиссар Центрфлота Андрей Берестов, то есть принявший это имя еще до революции Николай Беккер.

Елисей Мученик, знавший Колю по Севастополю, предложил тому прогуляться по набережной, отдохнуть перед обратной дорогой. А может, у него были другие причины искать общества Коли. Коля с радостью согласился, потому что на него казнь произвела тягостное впечатление и осталась в памяти набором неподвижных картинок — картинкой приезда грузовика с офицерами, которые, помогая друг дружке, спрыгивали с грузовика на землю и все оказались разутыми. Им было так холодно, что некоторые поджимали ноги совсем по-птичьи. Была вторая картинка — как офицеры стоят кучкой и передают из рук в руки коробку с папиросами — Коля так и не понял, кто им ее дал. Они закуривали, торопясь затягивались, будто опасаясь, что не успеют до смерти накуриться. Один из уходящих к помосту офицеров передал недокуренную папиросу тому, чья очередь еще не подошла. Последний офицер, совсем молоденький, остался сразу с тремя папиросами, он затянулся ими и пошатнулся — голова закружилась. Наверное, были и звуки — кто-то говорил, кто-то кричал, кто-то молил, — но звуков Коля не запомнил. А потом офицеры висели на разных ветках — для всех было трудно подыскать один толстый сук. Сверху свисало много босых или обмотанных портянками ног. А людей не стало.

Когда стали расходиться и рассаживаться по машинам, Коля обратил внимание на то, как много недокуренных папирос осталось лежать под деревом, Одна из них еще дымилась. Человек уже был мертв, а она еще оставалась теплой. Коля хотел наступить на нее; но не посмел. И вот тогда Мученик предложил ему погулять по набережной и отвлечься. Хотя деловых оснований для прогулки не было — Коля еще до казни получил у Мученика полный отчет о положении дел в Ялтинском Совете и роли в нем левых эсеров. Островская не хотела, чтобы большевистский контроль над Ялтой ослабевал. Она не доверяла Мученику, потому что он лишь недавно перешел к большевикам...

Уйдя далеко от дерева, к самому молу, они говорили о политических проблемах, но ни слова — о ситуации в Ялте.

— Разрешите высказать мнение старшего товарища? — спросил вдруг Мученик. — Не обидитесь?

— Валяйте, — ответил Коля.

— Рано или поздно, молодой человек, — сказал Мученик, — кто-то обратит внимание на одну странность вашей биографии.

— У меня нет тайн.

— Я сказал «странность», а это не обязательно тайна. — Мученик подхватил двумя руками шляпу, которую ветер приподнял над его головой, выпустив на свет буйную шевелюру. — Мы живем в маленькой стране Крым. И здесь рано или поздно вы встретите знакомых. Кстати, сегодня ко мне приходил некто Циппельман. Эта фамилия вам что-нибудь говорит?

— Я знал Циппельмана в Симферополе, — признался Коля. — У него кондитерская.

— Теперь у него нет кондитерской, он приехал сюда к сестре, а потом собирается к дочке в Керчь. Он увидел вас и попросил меня, которого знает еще по довоенным временам, передать теплый привет Коле Беккеру, понимаете, Коле Беккеру. И я не стал ничего отвечать старому человеку и даже не стал с ним спорить. Вы меня понимаете, Коля?

Коля ответил не сразу — тем более что на мол выехал мотор, в котором сидели несколько матросов. Мотор остановился у пришвартованного к причалу катера, и матросская компания высыпала наружу. Матросы были выпивши, громогласны и резки в движениях.

— Вон тот, первый — сказал Мученик.

Я узнал, — ответил Коля. Он и на самом деле узнал командующего Андрющенко, которого за прошедшие сутки видел неоднократно. Впрочем, он видел его и в Севастополе, но мельком. Андрющенко не был фигурой солидной или известной, Но сейчас требовалось много командиров и вождей — в каждом городе и городке Крыма требовался вождь или каратель. Так что сотни вахмистров мичманов и бывших гимназистов получили свой шанс. Некоторые им воспользовались, другие упустили.

— Я никогда не скрывал своего настоящего имени, — сказал Коля. — Имя было мне предложено. Вот именно, предложено. Партия предложила мне взять псевдоним, русский псевдоним. Вы меня понимаете.

— Разумеется, — улыбнулся Елисей, который не поверил Коле.

— Я выбрал имя своего близкого гимназического товарища Андрея Берестова. Он пропал без вести, утонул... Все думали, что он утонул.

— Может быть, ваш псевдоним очень хорош в Москве, — сказал Мученик. — Но Крым — маленькая страна. Мне даже кажется, что я встречал одного Андрея Берестова.

— Вы? Где, когда?

— Мой знакомый погиб, — ответил Мученик. — Он помог мне вырваться из контрреволюционной тюрьмы, а сам при этом погиб.

— Вы шутите?

— Нет, я не шучу. — Когда Мученик был печален, он был печален настолько, что плакать хотелось даже природе. Солнце зашло за облака, стало темнее, ветер сменил направление и ледяной стеной рухнул с гор. — Сейчас не время и не место рассказывать, но Андрей Берестов, уроженец Симферополя, погиб.

— Когда? — Коля видел Андрея и Лидочку Берестовых на Новый год. Они встречали 1918 год в Симферополе в стареньком домике Марии Павловны в Глухом переулке. Все вместе друзья детства: Андрей Берестов, Ахмет Керимов, Лидочка Иваницкая и он сам, Коля Беккер.

— Это было в декабре. Больше месяца назад.

— Ну и хорошо, — неожиданно для Мученика с облегчением ответил Коля. Он не стал объяснять этому не очень приятному ему человеку, что Андрей жив. Конечно же, жив.

И наверняка покинул Крым. А в тюрьме с Мучеником либо был иной Берестов, либо Мученик врет. Зачем? Не новое ли это испытание большевиков? Может быть, Островская велела Елисею допросить Колю? С нее станется... Коля непроизвольно посмотрел туда, в сторону гигантского платана, Из перепутанных ветвей палочками и тряпочками свисали маленькие ножки повешенных. Внизу под деревом бегали мальчишки и медленно бродили собаки, которые слизывали кровь — некоторых офицеров сильно били перед смертью, а другие были ранены. Когда их вешали, немало крови накапало на брусчатку.

Катер с освободителями Ялты отвалил от причала и взял курс на маленький миноносец, который стоял под парами в полумиле от берега. Матросы размахивали руками — видно, пели. Мотор, привезший их, попятился, выезжая с мола.

— Давайте воспользуемся оказией! — вскинулся Мученик. — Это наш мотор, из Совета.

Доедем!

— Поезжайте, — сухо сказал Коля. — Я еще останусь. Пройдусь.

— Тогда и я с вами.

— Поезжайте, поезжайте, — сказал Коля. — Я хочу побыть один. Без вас.

Наверное, это звучало не очень воспитанно. Но Коля хотел поставить Мученика на место. В конце концов, не для того он поступал в партию большевиков, чтобы каждый местный проходимец мог читать ему нотации.

Мученик не понял тона или сделал вид, что не понял. Он дружески хлопнул Колю по плечу и, неловко подпрыгивая, побежал к молу, криками стараясь привлечь к себе внимание шофера. Тот заметил ялтинского зампреда и взял на борт. И Коля остался один.

Дождавшись, пока авто, увозившее Мученика, скроется за углом, Коля пошел вдоль набережной, прочь от платана и обернулся впервые, лишь когда был уверен, что набережная изогнулась настолько, что платан ему не увидеть.

Вечерело, солнце скрылось за Ливадией, ветер словно дожидался этой минуты, загудел, понес по набережной сор революции — в Ялте уже год как не осталось дворников. Среди горожан бытовала шутка, что все дворники служат министрами у Сейдамета.

Наверное, Коле надо было возвращаться в гостиницу, где ему был оставлен номер, а может, даже попросить мотор у дежурного в Совете, чтобы тут же вернуться в Севастополь, объяснив возвращение партийной секретной необходимостью. И он знал: найдут для него авто и шофера — не посмеют отказать, Ежась под ветром, который нес сухие снежинки, Коля увидел впереди у самого среза набережной девичью фигурку.

И удивился, до чего это зрелище прекрасно.

Море — темное море, на котором видны ослепительно белые, словно подсвеченные снизу барашки. Небо на востоке, в сторону Гурзуфа и Массандры, глубокое, почти черное, а на западе — красно-лиловое, полосатое. Вдали, на границе моря и неба, совсем черный, четкий хищный силуэт миноносца «Керчь», который набирает скорость, уходит к Севастополю. И как бы парящая в невесомости в центре этой композиции — девушка в длинном, не модном уже, но элегантном пальто и без шляпки. От непрочности и ненадежной легкости фигурки нетрудно вообразить, что новый порыв ветра сейчас сорвет ее с набережной и кинет туда, где волны разбиваются о камень.

Коля поймал себя на том, что идет к одинокой девушке, охваченный желанием схватить ее, удержать, увести от опасного края моря.

Девушка неожиданно обернулась. Ее лицо на таком расстоянии виделось белым треугольником. Коля сразу замедлил шаги — он не хотел испугать девушку.

Та, будто поняв, что намерения Коли безвредны, снова стала смотреть на волны. И тут Коля увидел, что на обширной и доступной всем ветрам сцене появился еще один актер.

Очевидно, тот человек вышел из освещенного ресторана или гостиницы дальше по набережной. Завидев девицу, он направился к ней широкими уверенными шагами, как капитан Скотт к Южному полюсу, и в первое мгновение Коля решил было, что человек знаком девушке и даже договорился с ней о встрече в таком неуютном месте, как набережная. Но по мере того как человек приближался к девушке, та начала волноваться повернулась спиной к морю и смотрела то на Колю, то на человека — словно оказалась между двух огней. Коля к собственному удивлению понял, что он все еще идет к девушке, и заставил себя остановиться — столь очевиден был ее испуг.

Девушка все быстрее шла вдоль края причала прочь от Коли и неизвестного, Она направлялась к мостику через речку, в сторону рынка.

Коле, которому стало зябко, повернуть бы назад — что за дело ему до девиц, рискующих честью на пустынной набережной, — но он увидел, как целенаправленно и равномерно — с равномерностью паровоза — неизвестный повернул за девушкой. И тогда Коля тоже пошел следом. Правда, на значительном расстоянии.

Девушка шла все быстрее, потом мелко и небыстро побежала.

Коле почему-то показалось, что девушка похожа на Лиду. Разве не здесь они когда-то познакомились — она гуляла по набережной с подругой Маргаритой, а он был один в белой летней студенческой тужурке, на которую, будучи лишь гимназистом, не имел никакого права... Как давно это было! Еще до войны, еще тогда, когда набережная была щедро освещена и заполнена шумной толпой гуляющих.

Неизвестный перешел на бег и догнал девушку у одиноко горящего фонаря. И только тогда Коля окончательно уверился в том, что тот человек не только не знаком с девушкой, но наверняка это грабитель или насильник. Он схватил девушку за руку, и она стала вырываться, но вырывалась слабо и неловко, как маленькая птаха, попавшая в зубы кошке и даже готовая вот-вот смириться со своей смертью.

И тогда Коля побежал на помощь девушке. Он бежал к ней, как бежал бы на помощь Лидочке или своей сестренке Нине. Как цивилизованный человек он должен был спасти девичью честь... так это еще недавно называлось? У меня сохранилась способность видеть мир в свете иронии, подумал он, это хорошее качество.

Девушка неожиданно вырвалась от нападавшего, но ненадолго через пять шагов он догнал ее, схватил за плечи и начал трясти — он кричал что-то, но Коля не мог разобрать слов, потому что их уносил ветер.

Но когда приблизился, услышал слова — неожиданные для слуха, ибо ожидал услышать что угодно — но иное.

— Я тебя давно вижу, жидовня! — кричал мужчина. — Я давно вижу, как ты город поганишь!

Мужчина был без шляпы, у него было мясистое грубое лицо и бобриком подстриженные волосы. На вид ему было немного лет — вряд ли больше тридцати.

Девушка молчала, прядь темных волос упала ей налицо, а потому Коля не смог ее разглядеть.

Мужчина еще раз рванул девушку к себе и, оттолкнув, отпустил — девушка послушно упала на колени.

И тогда Коля, не останавливаясь, тараном врезался на бегу в мужчину. Мужчина от неожиданности ринулся в сторону, но не упал, а удержался на ногах. И тут же обернулся к Коле.

Глаза у него были пьяные, мутные и злые.

— Это что еще происходит! — Голос Коли сорвался, и конец фразы прозвучал высоко, по-детски.

Коля всегда, еще с первых лет гимназии, со страхом относился к любым физическим столкновениям, к дракам или даже мальчишеской возне. Он не был особенным трусом, но любое столкновение вызывало в памяти прошлое — мальчиком его часто и больно бил отец. Бил непонятно за что — вернее всего, за собственные беды и собственную бедность. Соприкосновение с мужчиной вызывало боль и оскорбление.

И еще полгода назад Коля, даже увидев, что обижают девушку, никогда бы не решился вмешаться, он заранее признал бы свое поражение и ушел быстро и тихо; чтобы не привлекать к себе внимания.

Но сегодня все было иначе. Совместилось и воспоминание о первой встрече с Лидочкой, и трогательность девичьего силуэта на фоне зимнего моря, и главное — осознание себя Важной Персоной.

Потому что здесь в Ялте, что подчеркивалось сегодня весь день местными чинами и должностными лицами, — он был начальником, представителем всемогущего Центрфлота и Севастопольского горкома партии большевиков. Не сам он, а идея, которую он олицетворял, была всемогущей. Он играл роль наследного принца в заколдованном королевстве. И в этом королевстве не было места несправедливости и жестокости.

Мысленно Коля увидел гигант-платан и ноги повешенных, видные из-под ветвей — это тоже было доказательством торжества справедливости и его, Коли, могущества.

— Чего происходит? — спросил мужчина со скотской рожей. — А то, что жидам пощады не будет! Понял сука?

Человек говорил с мягким, очевидно, прибалтийским акцентом. Конечно же, он был пьян.

— Молчать, скотина! — закричал Коля и полез в карман черной шинели со споротыми морскими погонами, будто намеревался вытащить оттуда револьвер системы «Наган» с только что присланными из Севастополя патронами.

Пистолета в кармане, конечно же, не было — Коля никогда не носил с собой пистолета, в нем не было столь обычной в его возрасте любви к огнестрельному оружию. Он предпочел бы иметь сейчас за своей спиной двух матросов с Хаджи-бея».

— Это ты брось! — испуганно крикнул мужчина, лицо его покраснело от гнева. Коля шагнул к нему и неожиданно получил удар в лицо — видно, мужчина выставил вперед свой здоровенный кулак, и Коля как бы сам ударился о него скулой.

Он не понял, что произошло — все было слишком быстро, — будто его сбило пушечным ядром.

Мостовая набережной сильно ударила его в спину, отталкивая и заставляя подняться.

Но подняться не было сил, зато слух работал изумительно — каждый шепот, каждое движение были слышны до болезненности.

— Получил жидовский выкормыш?

И Коля понимал, что, выкрикнув эту фразу, мужлан снова затопал вслед за девушкой, лицо которой за последние секунды он успел рассмотреть и запомнить: треугольное лобастое, но с маленьким подбородком большеглазое растерянное губы сжаты, тонкие голубоватые ноздри раздуты, а черные прямые, чуть вьющиеся на концах волосы рассылались, закрывая глаз и щеку.

Мужчина бежал за девушкой — он настигал ее, Коля хотел подняться, чтобы остановить скотину, но ноги его не слушались — они перепугались куда больше, чем голова.

И ему стало все равно, как бывает только в кошмаре. Он знал, что уже не в силах помочь этой девушке...

Догнав девушку, мужлан замахнулся, и Коле казалось, словно это происходит медленно и долго. Медленно поднимается кулак и медленно отклоняется девушка, стараясь избежать удара.

И тут между Колей и мужчиной появился еще один человек.

Коля так и не понял, откуда он взялся.

Высокий, худой человек в длинной кавалерийской шинели и фуражке с сорванной кокардой ловко, как бы походя, раскрытой ладонью ударил мужлана по уху. И тот, громко ахнув, схватился за ухо и, согнувшись, завыл.

— Бородино, Аустерлиц, — произнес Коля, но никто его не услышал... Коля неловко поднялся — болела переносица. От нее по всей голове шел болезненный гул — лучше бы остался лежать... Но нельзя, простудишься, Беккер.

Высокий кавалерист поманил воющего мужчину пальцем, как бы притягивая к себе, И тот покорнейшим образом распрямился и даже по мере сил постарался вытянуться во фрунт. Драма превращалась в анекдот.

Девушка отпрянула на несколько шагов, но совсем уйти не смела, словно обязана была каким-то образом отблагодарить спасителя.

— Ты кто? брезгливо спросил кавалерист. У него была маленькая голова, но крупный нос и глаза. Конечно же, он военный, и говорит, как столичный гвардеец.

Почему-то мужчина принялся расстегивать пальто, достал из внутреннего кармана бумажник, раскрыл и толстыми испуганными пальцами вытащил из него визитные карточки. Молча протянул карточку кавалеристу и другую, после секундного колебания, словно боялся удара, сунул в руку Коле.

Визитка оказалась необычной, Коля такой еще не видел, она была лживой, как сама красная рожа ее владельца. Тонким почерком рондо на визитке было напечатано: «Альфред Вольдемарович Розенберг. Студент Рижского университета». Словно звание студента соответствовало штаб-офицерскому чину.

— И что же вы, — усмехнулся кавалерист — на дуэль меня так вызываете, милостивый государь?

Он поднял руку с визиткой и раскрыл пальцы. Визитка вырвалась из пальцев и, подхваченная порывом ветра, взлетела над набережной светлым осенним листом, затем, сделав круг в вышине, сгинула над черным морем.

Альфред Розенберг смотрел вслед визитке.

Коля спрятал вторую визитку в карман. Может быть, придется еще встретиться с этим человеком.

— И что же, лейтенант, мы с ним сделаем? — спросил кавалерист, дружелюбно оборачиваясь к Коле, И хоть Коля давно уж не носил погонов и не ожидал обращения как к морскому офицеру, ему польстило, что высокий кавалерист угадал его недавний чин и признал в нем своего.

— Пускай катится отсюда, — сказал Коля, стараясь попасть в тон кавалеристу.

— А ну! — прикрикнул кавалерист на Розенберга. — Вы слышали?

Розенберг постарался отдать честь, но был не приучен к военным жестам — получилось комически.

— Спасибо, — сказал он с искренней радостью человека, которому сказали, что зуб драть не обязательно. — Вы чего не подумайте, Ваше Превосходительство!

— Иди, иди, мерзавец!

Розенберг послушно отшатнулся и чуть не налетел на девушку, неподвижно стоявшую в трех шагах от них. Коля видел лицо девушки — беззащитное и жалкое, и надутый молодой густой кровью затылок Розенберга. Видно, девушка что-то заметила во взгляде студента или в движении губ — Розенберг знал, что его лицо скрыто от мужчин. Она закрыла глаза тонкой рукой, пересекла лицо длинными белыми пальцами.

Высокий кавалерист тоже увидел, как Розенберг исподтишка испугал девушку. И хоть их разделило с Розенбергом не менее сажени, он сделал легкий шаг вперед и умудрился, не потеряв равновесия, послать носком сапога молодого мерзавца далеко вперед. Пробежав несколько метров, тот все же не удержался на ногах и следующий отрезок пути, к удовольствию зрителей, совершил на четвереньках. Коля рассмеялся.

Кавалерист тоже смеялся, но девушка засмеяться не посмела, хоть ей хотелось улыбнуться.

— Молодой человек, — обратился кавалерист к Коле. — Могу ли я надеяться, что вы проводите девицу до дома?

— Так точно! — ответил Коля, чувствуя, что в голосе и манере кавалериста было особое качество, которое заставляет людей испытывать радость от подчинения.

— Спасибо, — сказала девушка, глядя в упор на Колю черными глазами. — Большое спасибо вам, господа, вы были очень любезны.

Так как мужчины молчали, не зная, как вести себя дальше, девушка продолжила:

— Этот господин преследовал меня сегодня... он несколько раз подходил ко мне. И оскорблял... Я не жалуюсь, не думайте, в конце концов, я привыкла. И наверное, смогла бы постоять за себя... Но тем не менее еще раз спасибо, и не стоит меня провожать — я живу вон в том доме. Мне осталось сто шагов. Спокойной ночи.

Она запахнула пальто — словно ей стало очень холодно. Потом поглядела на Колю и попрощалась с ним отдельно — так он понял ее взгляд.

Девушка побежала через площадь, через мостик к угловому дому на втором этаже горели два окна. Было еще не поздно, но светились лишь редкие окна.

Электрическое освещение включили только прошлой ночью — до того Ялта провела больше недели без света. Обыватели предпочитали не зажигать огня, не привлекать уличных хищников.

— Ну что ж, — сказал высокий кавалерист. — Очевидно, нам самое время познакомиться.

Он снял тонкую кожаную перчатку и протянул Коле руку.

— Врангель Петр Николаевич, — сказал он размеренно. — Бывший командир Нерчинского казачьего полка.

— Андрей Берестов, — представился Коля, — Я... служу.

— Служите? А раньше что делали? — Врангель насторожился.

Коля ощущал тягучее желание понравиться Врангелю.

— Служили по флоту?

Врангель был одного роста с Колей, но держался столь прямо, чуть откидывая назад небольшую породистую голову, что казался несколько выше.

— Так точно, служил.

— И сейчас служите большевикам?

Вопрос был таким неожиданным, что Коля не успел собраться с мыслями и ответил машинально:

— Служу. В Центрфлоте.

— Приятно было познакомиться, — сухо подытожил Врангель.

И Коля понял, что сейчас этот кавалерист со знаменитой фамилией, командир Нерчинского полка, повернется и уйдет, презирая тебя, Беккер. И мысль о том казалась невыносимой. Врангель уже отворачивался, и тут Коля не выдержал:

— Простите, господин барон, — сказал он, перекрывая взвизгнувший ветер. — Но у меня нет средств к существованию...

Прозвучало неубедительно.

— Средства... — Кавалерист снисходительно сощурился. — В вашем ли возрасте думать об этом? С таким образом мыслей вы не должны были вступаться за еврейскую девицу.

Но Коля не сдавался.

— Простите, — произнес он в отчаянии, предавая тех, с кем связал судьбу в последние недели. — Но я был адъютантом Александра Васильевича. И Александр Васильевич, отбывая в Соединенные Штаты, оставил меня здесь, сделав мне поручение особой важности.

— Какой еще Александр Васильевич? — раздраженно произнес Врангель, но тут же сообразил, откашлялся и сказал холодно, как прежде, и так же не глядя на Колю: — Вы имели в виду вице-адмирала Колчака? Тогда я не понимаю, почему вы считаете возможным делиться чужой тайной с незнакомым человеком? А может быть, вы поделились ею и со своими большевистскими товарищами? — Последнее слово прозвучало как оскорбление.

И Врангель зашагал прочь, не оборачиваясь и не кланяясь ветру, превратившемуся в ураган.

«Ну и черт с тобой!» — мысленно крикнул вслед Врангелю Коля. Было обидно.

Коля посмотрел на дом, в котором скрылась девица. На втором этаже загорелось еще одно окно. Слава богу, что хоть девушка в безопасности.

Коля пошел обратно по набережной, но на полпути понял, что дорога проведет его мимо гигантского платана, и потому свернул от моря, обойдя тот участок набережной переулками, чтобы не увидеть повешенных.

Поздно вечером Коля сидел у окна в номере «Ореанды», где с трудом поддерживалось великолепие былых времен — суррогатный кофе из серебряного кофейника и пшеничная каша на мейсенской тарелке. За окном несся мокрый снег, и не верилось, что он где-то сольется с морем, а не вернется к облакам. Было грустно, и Коля ощутил в себе стремление описать события дня — в их противоречии и правде: последние папиросы офицеров, прогулку с Мучеником, пьяного Андрющенко, сцену с девицей и генералом... Но Коля знал, что дневника никогда вести не будет — это слишком опасно для эмиссара партии большевиков...

Подобные соображения не останавливали генерал-майора Врангеля, который отсиживался в Крыму, не желая служить в украинской армии и уж тем более сотрудничать с большевиками, которых считал изменниками России. Возвратившись на квартиру и рассказав супруге за чаем о конфликте, свидетелем и участником которого ему довелось быть, Врангель прошел в комнату, служившую ему временным кабинетом. Там он записал все в дневник. Правда, отвел столкновению всего шесть строчек — остальная страница была занята рассуждениями генерала о переменах в народной нравственности под влиянием тяжких и кровавых событий.

Выводы генерала были пессимистическими. Потом Петр Николаевич отложил ручку и задумался — его отец уехал в Ревель, и от него уже три месяца не было вестей, но хуже того — с матерью, оставшейся под большевиками в Москве без средств к существованию, генерал тоже потерял связь. Он опасался, что баронесса может пострадать из-за того, что у нее два сына в высоких чинах.

Краткую запись о событиях того вечера оставил в своих записках вечный студент из Риги Альфред Вольдемарович Розенберг, ненавидевший евреев не только за то, что они окутали весь мир сетью жидомасонского заговора, но и за то, что ему, чистейшей воды немцу, тысячу раз в этой дьявольской стране приходилось выслушивать вопрос: «Розенберг, а вы из евреев?» и отвечать на него: «Я лютеранин!» И слышать в ответ смешок и видеть паскудную славянскую усмешку. «Страна славянских лицемеров, — писал он быстро, с нажимом, мелким почерком, — которые осмеливаются напасть на тебя, только если они вдвоем, вооружены и знают, что ты безоружен».

Розенберг отложил перо. Он стал думать о том, что его отпуск в Крыму слишком затянулся. Пора возвращаться в Ригу. Но в Ригу возвратиться трудно, потому что перед ней пролегла линия фронта. При первой же возможности следует ехать в Германию, в страну великую, рождающую гениев и мыслителей. Там он будет среди своих, там его оценят и поймут.

А на третьем этаже углового дома, также у окна, выходившего в сторону моря, глядя в мерцание снежинок под одиноким желтым фонарем, сидела черноволосая девушка. Ей и в голову не приходила мысль описать сегодняшние события — она твердо знала, что революционер никогда не носит с собой лишних бумажек. Сколько товарищей лишились свободы, подвели организацию и в конечном счете погибли только из-за того, что доверились белой предательнице — бумаге! Дора потушила свет, чтобы не разбудить кузину, которая, проснувшись, начнет задавать лишние и ненужные вопросы. Она вглядывалась в полет снежинок и с тупой тоской думала о том, что ей уже двадцать седьмой год, что она стареет, что она подурнела. А что в том удивительного, если она десять лет своей жизни провела на каторге и в ссылке?.. Молодой человек в черном плаще и морской фуражке, вступившийся за нее на набережной, был хорош собой и благороден. Ах, чертова, чертова, чертова жизнь!

Завтра уезжать в Москву — потому-то она и прощалась с вечным и прекрасным морем.

Никогда ей не увидеть больше этого юношу, как, впрочем, и этого буйного, свободного моря!

— Дора, спать, — окликнула ее из соседней комнаты кузина. — Тебе завтра в шесть вставать на автобус.

Дора Ройтман погасила лампу и легла спать.

Завтрашним дневным поездом она возвращалась в Москву.

###### \* \* \*

Вести о судьбе Учредительного собрания, разогнанного по приказу Дыбенко караулом вошедшего в славную историю партии матроса Железняка утром 19 января, были встречены в Германии с откровенной радостью. Если бы Учредительное собрание стало органом власти, а большевики потеснились, подчиняясь большинству, то судьба переговоров с Германией становилась проблематичной — правые эсеры категорически выступали против сепаратного мира с Германией. Теперь же оппозиции не существовало. Тем лучше. Можно повысить уровень требований к русским. Скоро им будет некуда деваться. Только бы не началось восстание в Вене!

Но торжествующие немцы не знали об опасности, которая наваливалась на Ленина изнутри собственной партии и игнорировать которую он не мог. Пленум Московского областного бюро партии большевиков принял резолюцию, требующую немедленно прекратить мирные переговоры с Германией. За ним подобные резолюции приняли почти все крупнейшие губернские и городские комитеты партии — рядовым большевикам, которые свято верили в мировую революцию, сама постановка вопроса о мире с империалистами, когда следует разжигать мировой пожар, была недопустима.

Когда вернувшийся из Бреста Троцкий доложил на Совнаркоме о последних требованиях Германии, там большинство также выступило за прекращение переговоров.

Но Ленин тут же бросился в бой. Он заявил, что армия воевать не сможет, зато способна сбросить правительство большевиков. Так что мир с Германией будут заключать тогда не большевики, а правительство, которое их сменит.

Ленин уже не ждал мировой революции.

Если делать ставку на нее, можно потерять Россию. Троцкий тут же умчится следом за Радеком в Германию или Канаду и будет там принимать громкие резолюции. Потом напишет большую книгу и получит от вида ее больше радости, чем от всех революций вместе взятых.

Но Ленину поздно возвращаться в подполье или изгнание — вновь уже не подняться, жизни не хватит, Единственная возможность сохранить власть — мир с Германией.

Пускай она забирает себе все, что уже имеет. Пускай возьмет в придачу Украину, которой правят наивные и циничные самоубийцы, пускай сожрет Батум и Ревель... Но править Россией, половиной России, третью России будем мы, социал-демократы!

В те дни казалось, что прав Троцкий: по Германии, не говоря уже об Австро-Венгрии, прокатывались забастовки, уже появились первые рабочие Советы. В одном Берлине насчитывалось полмиллиона стачечников. Вот это был настоящий пролетариат, не чета русскому!

Еще немного потерпеть! Игра стоит свеч!

— Заманчиво, — соглашался Ленин. — Но слишком рискованно, потому что вы сравниваете то, что может быть, с тем, что уже свершилось.

Узкое совещание руководства партии 21 января проголосовало против Ленина. Его предложение подписать сепаратный мир получило 15 голосов, 32 голоса досталось сторонникам революционной войны, которых стали именовать левыми коммунистами, а 16 голосов получил Троцкий, выступивший с идеей «ни войны, ни мира».

Он предложил отказаться от заключения мира, остаться «чистыми перед рабочим классом всех стран» и развеять подозрения и даже высказывания скептиков в Европе, обвинявших Ленина в том, что он — тайный агент Германии и поет под ее дудку. Но войны Германии не объявлять. Так как она не имеет сил и решимости начать широкое наступление на Восточном фронте, особенно теперь, когда основные боеспособные части переброшены на Запад. 24 января Ленин снова выступил за мир и снова потерпел поражение. Бухарин заявил в тот день, что позиция Троцкого — самая правильная. «Пусть немцы нас побьют, — рассуждал он, — пусть продвинутся еще на сто верст. Мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении. Сохраняя свою социалистическую республику, мы проигрываем шансы международного рабочего движения».

Ленин был взбешен — Бухарин, оказывается, тоже намеревался провести ближайшие двадцать лет в Женеве.

Еще обидней и больнее было слышать Дзержинского. Тот волновался так, что щеки стали малиновыми.

— Ленин делает в скрытом виде то, — выкрикнул он, — что в октябре делали Зиновьев и Каменев.

Зиновьева и Каменева Ленин назвал предателями. Все об этом помнили. Теперь в предательстве Дзержинский обвинил Ленина.

В результате победила формула Троцкого. Ни революционной войны, ни позорного мира. И ждать восстания Европы.

Троцкий тут же собрался в Брест, чтобы проводить свою линию на практике.

Перед отъездом у него был последний разговор с Лениным.

— Допустим, что принят ваш план, — сказал тогда Ленин. — Мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?

— Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.

— Вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

— Ни в коем случае.

— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию и Латвию, Очень жаль пожертвовать социалистической Эстонией, — усмехнулся Ленин. — Но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.

Ленин и Троцкий сговорились, что мир будет подписан. Но не раньше, чем немцы начнут наступление.

Согласие Ленина с Троцким было достигнуто вождем революции не без лукавства.

Ленина более беспокоили левые коммунисты с их идеей революционной войны. Он согласен был даже на формулу «ни войны, ни мира», только бы Троцкий не перешел в могучий лагерь сторонников священной войны, призванной спалить Ленина ради либкнехтовских и парвусовских интересов.

А в Бресте продолжалась игра на русско-украинских разногласиях, 1 февраля граф Чернин записал в дневнике: «Заседание под моим председательством о территориальных вопросах с петербуржскими русскими. Я стремлюсь к тому, чтобы использовать вражду петербуржцев и украинцев и заключить по крайней мере мир с первыми или со вторыми. При этом у меня есть слабая надежда, что заключение мира с одной из сторон окажет столь сильное влияние на другую, что мы, может быть, добьемся мира с обеими... Как и следовало ожидать, Троцкий на мой вопрос, признает ли он, что украинцы могут самостоятельно вести переговоры о границе с нами, ответил категорическим отрицанием...»

На следующий день Чернин пошел ва-банк, и не без успеха. Вот что он записал тем вечером:

«Я просил украинцев открыто наконец высказать свою точку зрения петербуржцам, и успех был даже слишком велик. Грубости, высказанные украинскими представителями петербуржцам сегодня, были просто комичными и доказали, какая пропасть разделяет два правительства и что не наша вина, если мы не можем заключить с ними одного общего договора. Троцкий был в столь подавленном состоянии, что вызывал сожаление. Совершенно бледный, с широко раскрытыми глазами, он нервно рисовал что-то на пропускной бумаге. Крупные капли нота стекали с его лица. Он, по-видимому, глубоко ощущал унижение от оскорблений, наносимых ему согражданами в присутствии врагов».

В тот день Троцкий получил решение ЦК партии не признавать сепаратного украинского договора с Центральными державами. 5 февраля Троцкий заявил: «Пусть германцы заявят коротко и ясно, каковы границы, которых они требуют. И советское правительство объявит всей Европе, что совершается грубая аннексия, но что Россия слишком слаба для того, чтобы защищаться, и уступает силе».

Германское командование в Берлине решило «достичь мира с Украиной и затем свести к концу переговоры с Троцким независимо от того, положительным или отрицательным будет результат». Людендорф там же заявил, что у него уже разработана «быстрая военная акция».

Троцкий чувствовал эту опасность — в штаб Западного фронта пошла телеграмма с требованием срочно вывозить в тыл материальную часть и артиллерию.

Ленин прислал Троцкому телеграмму, в которой утверждал, что Киев уже захвачен красными войсками и Украинская Рада свергнута. Надо срочно довести это до сведения немцев. Немцы игнорировали эту информацию, у них была своя. Украинская Рада держалась и спешила заключить с немцами мир, отдаваясь под их охрану.

Левые коммунисты и их союзники в Германии, пытаясь сорвать мир, пошли на крайние меры — по Берлину были разбросаны листовки с требованием убить императора и генералов и захватывать власть. Подобное воззвание было перехвачено по радио.

Когда об этом доложили Вильгельму, он пришел в бешенство. «Сегодня большевистское правительство, — писал он в Брест министру Кюльману, — обратилось к моим войскам с открытым радиообращением, призывающим к восстанию... Ни я, ни фельдмаршал фон Гинденбург более не можем терпеть такое положение вёщей. Троцкий должен к завтрашнему вечеру подписать мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва — Плескау (Псков)... в случае отказа перемирие будет прервано к 8 часам завтрашнего дня».

Министр Кюльман был в панике. Он пытался сопротивляться — война с Россией была бы безумной авантюрой. Чернин подержал коллегу. 10 февраля Троцкий наконец объявил: «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора».

На спешных тайных совещаниях немецкие генералы решили немедленно наступать, тогда как дипломаты сопротивлялись, «При удачном стечении обстоятельств, — утверждал трезвый Кюльман, — мы можем в течение нескольких месяцев подвинуться до окрестностей Петербурга. Однако я думаю, что это ничего нам не даст». Он доказывал, что русское правительство может отступать до Урала — немцам за большевиками не угнаться. А захваченную до Волги Россию нечем удерживать. За успехом первых недель неизбежно последует крах Германии. Это будет самоубийство пострашнее, чем авантюра Наполеона в 1812 году.

Под давлением дипломатов предложение Троцкого было принято, и Чернин, предвосхищая события, телеграфировал в Веку, что мир заключен.

Можно предположить, что брестская эпопея так бы и закончилась неустойчивым и выгодным большевикам неподписанным миром, если бы не украинский фактор. Для Киевской Рады важно было одно — удержаться на плаву. И даже если ради этой цели придется пожертвовать каждым вторым свободным украинцем — тем лучше. История их поймет! В этом отношении соратники Винниченко были близки к большевикам, но обошли их продажностью и стремлением перехитрить всех на свете, что привело в конце концов к тому, что Рада в первую очередь перехитрила сама себя. И если большевики все же унаследовали своего рода ответственность за Российскую империю, то правительство Украины согласно было жить под властью иноземцев и отдать им ту Украину, от имени которой они выступали.

Пока Троцкий отчитывался в своих победах перед соратниками, генерал Гофман использовал на все сто процентов слабое звено в цепи дипломатии Троцкого: правительство Центральной Рады, понимая, что ему не устоять против харьковских большевиков, шаг за шагом уступало генералу Гофману. Миллион тонн зерна?

Пожалуйста, только возьмите! Уголь? Сколько угодно. Только сами приходите и берите. Войдите в наши города, займите наши деревни — мы открываем границы. И если в делегации на переговорах возникали сомнения в масштабах уступок, Киев тут же телефонировал — соглашайтесь!

Договор между Украиной и Германией, полностью отдававший Украину под контроль германских войск, был подписан 26 января — в тот день, когда на окраинах Киева уже появились отряды харьковских большевиков.

А большевики в Петербурге в массе своей еще не сообразили, что вся игра Троцкого, все маневры большевистской дипломатии пропали втуне: дорога на Украину была устлана для немцев розами и уставлена возами с салом. Даже малые немецкие отряды могли беспрепятственно занимать украинские города. Генералу Гофману не понадобилось значительных военных частей, чтобы в несколько дней оккупировать богатейшее государство размером с саму Германию.

Немецкие тыловые команды лишь входили в украинские города, как Ленин первым осознал всю опасность положения.

В ответ на восторженную телеграмму Троцкого главкому Крыленко: «Мир. Война окончена. Россия более не воюет... Демобилизация армии настоящим объявляется» — Ленин тут же телеграфировал в ставку: «Сегодняшнюю телеграмму о мире и всеобщей демобилизации армии на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас способами по приказанию Ленина». Но Ленина не послушали — Крыленко подтвердил приказ о демобилизации.

Ленин торопил харьковские отряды продвигаться вперед, но понимал, что сил у него на Украине недостаточно. Уже через несколько дней оказалось, что германские войска обошли Россию с юга. Стратегически Россия потеряла способность к сопротивлению. Ведь не только произошла демобилизация (армия все равно была мало боеспособна), но сдача Украины немцам отрезала от России Южный и Западный фронты и миллионы солдат, дезорганизовала всю систему снабжения, пути сообщения, связь с Черным морем — от страны остался жалкий обрубок, с которым можно не церемониться.

И тогда армии Людендорфа перешли в наступление на Петроград.

Дипломатов с их стратегическим пессимизмом уже никто в генеральном штабе не слушал — к украинским ресурсам следовало приложить промышленные возможности Центральной России — и тогда война выиграна!

Мир любой ценой! — взывал к соратникам Ленин.

Но они еще не понимали той страшной угрозы, которая нависла над страной. И прошли дни, даже недели, прежде чем понимание этого проникло в умы новых вождей страны.

###### \* \* \*

Первую неделю, пока Лидочке было совсем плохо и подозревали даже плеврит, Андрей дневал и ночевал в больнице. Впрочем, ему и не хотелось возвращаться в гостиничный номер — там тем более ощущалась собственная неустроенность. В отделении Андрея все знали. А раз мужчин в больнице почти не осталось — даже многие санитары были мобилизованы, в женском мире Андрей стал вроде бы героем — преданный молодожен, да еще такой привлекательный.

Четырнадцатого января Лидочка сказала Андрею:

— По-моему, в гостинице жить неразумно. Во-первых, это бешеные деньги...

— Других теперь не бывает, — ответил Андрей. — Отбивная в ресторане стоит сорок рублей. Принести тебе отбивную?

— Погоди ты! Я не шучу. Доктор Вальде сделал тебе предложение.

— Я не девушка...

— Больше я ни слова не скажу!

— Значит, ты уже выздоравливаешь.

— Вальде сказал, что завтра-послезавтра, если температура не будет повышаться, он разрешит мне вставать.

Андрей не ответил — пока что температура вечерами поднималась, и Лидочка была безумно слаба. Тот же Вальде признался ему, что пройдет не меньше недели, прежде чем Лидочка поднимется с постели.

— Ты знаешь, что Вальде холостяк и у него есть квартира на Софийской площади? Он может сдать тебе одну из комнат — это в десять раз дешевле, чем в гостинице, и к тому же ты будешь не один.

Доктор Вальде не вызывал у Андрея неприязни, и когда тот повторил свое приглашение, Андрей переехал к нему жить.

С третьего этажа большого доходного дома был виден памятник Богдану Хмельницкому — вот уж не думал Андрей, что увидит его вновь, да еще сверху. А если посмотреть направо, то увидишь колокольню Софии. По площади, сворачивая на Михайловскую, порой дребезжал трамвай, гудели редкие автомобили, от стоянки извозчиков у памятника в тихий день доносилась перебранка, а то и голоса туристов — как ни удивительно, и в эти чреватые страхом дни находились люди, приезжавшие из Одессы или Ростова, чтобы полюбоваться замахом булавы украинского гетмана или золотым мерцанием Софии.

Доктор Вальде принадлежал к тем умным очкастым рохлям, которых до шестого класса мама за руку водит в гимназию, а потом им категорически не разрешается жениться, потому что отыскать достойную пару Васечке (в данном случае — Геннадию) в наши дни невозможно. Так Васечка становится старым холостяком со всеми проистекающими проблемами и нянчит стареющую маму, которая все более разрывается между желанием завести внука и невозможностью разделить сына с недостойной женщиной.

Мама доктора Геннадия Генриховича Вальде померла уже три года назад, пребывая в ужасе от того, что же он будет делать без нее в жестоком мире, а доктор Вальде продолжал жить по инерции, размышляя о том, что лучше бы уехать из Киева, да неизвестно куда, и покорно ожидал того часа, когда в его окружении отыщется достаточно энергичная дама, согласная взять на себя мамины функции. Дамы-то были, но, к счастью или несчастью доктора, всерьез на него не претендовали. Или вовсе ему не нравились.

Квартира доктора Вальде была дамской, заполненной вещицами и вещичками, пыльной и заброшенной, хоть у доктора была оставшаяся от мамы служанка, нечто бесплотное и забитое, — Андрей, проживя в доме две недели, так и не запомнил ее. Но запомнил безвкусную тоску любой пищи, приготовленной ею.

В ночь на шестнадцатое Андрей проснулся от тревоги.

Было тихо. Потом за окном зашумел ветер и чуть зазвенело стекло. Непонятно, что же встревожило его?

И тут послышался отдаленный удар — пушечный выстрел. И следом еще несколько выстрелов.

Андрею вдруг страшно захотелось, чтобы все это было сном. Во сне отдаленный гром зимней грозы — такие бывают в Симферополе — кажется орудийной канонадой, но проснешься — небо уже светлое, голубое, вымытое ночным дождем...

В соседней комнате проснулся доктор. Стукнул о тумбочку будильником, щелкнул выключателем настольной лампы, и уютная полоска желтого света обозначилась под дверью. Потом заскрипели пружины дивана — доктор спал в кабинете, — шлеп-шлеп...

Вальде идет к окну.

И тут бухнуло снова, как будто даже ближе.

Андрей не стал бы так тревожиться, если бы еще вчера не началась стрельба со стороны киевского завода «Арсенала, прибежища местных большевиков и сторонников объединения с Россией. Но это бухали другие пушки — и было впечатление, словно эти пушки делятся в твой дом.

Андрей тоже поднялся с постели и подбежал к окну. С высоты третьего этажа площадь казалась особенно пустынной — ни одного человека. Потом быстро проехал мотор, крыша поднята, и не разглядишь, кто там внутри.

Окно смотрело в город, а канонада доносилась слева — издали, из-за Днепра.

— Вы не спите? — спросил Вальде. — Мне показалось, что вы не спите.

Доктор зашел в комнату. Он был в ночной рубашке, почти до пола, и в ночном колпаке Андрей подумал, что такой наряд он видел лишь на иллюстрации к сказкам братьев Гримм.

— Это красные — сказал доктор. «Красные» было новым словом, оно появилось в лексиконе киевлян лишь несколько дней назад и относилось к харьковскому правительству, которым, по слухам командовала госпожа Евгения Бош. Говорили, что она — немка, присланная специально Вильгельмом для того, чтобы разгромить Центральную Раду. Эта версия была бессмысленна, потому что Вильгельму вовсе не нужно было громить Украинскую Раду, готовую на все ради немецкой победы. Но слухи порой лишены смысла, отчего становятся еще более реальными и пугающими. И все верили в эту самую немку Бош, хотя Шульгин в своем страшно реакционном «Киевлянине» успел заявить, что зовут госпожу Бош Евгенией Готлибовной и родом она из-под Шепетовки.

— Как вы думаете, — спросил доктор, прилаживая толстые очки к бесформенному носику, — большевики возьмут Киев?

— Я здесь и двух недель не живу, — сказал Андрей.

— И все же у вас опыт, Вы их видели в Симферополе, и в Севастополе, и в Ялте — вы же сами говорили.

— Я верю в то, что большевики будут делать все, чтобы взять Киев до подписания мира с немцами, — сказал Андрей. Он вычитал это в либеральных «Ведомостях». — Они не хотят, чтобы Украина сама подписала с немцами договор, пустила их сюда...

Впрочем, я могу понять большевиков, потому что их интересы совпадают с интересами России.

— Разве вы большевик? — доктор произнес эту испуганную фразу, словно увидел у Андрея рога.

— Вы знаете об обратном, — возразил Андрей. — Но если немцы сейчас расправятся с частями России поодиночке, это будет ужасно.

— Ужасно... — согласился доктор и тут же спохватился: — Но ведь большевики — это немецкие агенты, Разве вы не слышали? Немцы их привезли в запечатанных вагонах, Как бы ни привезли, — ответил Андрей — но теперь они уже не оппозиция готовая на сделку с кем угодно, лишь бы приблизиться к власти, они правительство России.

Неужели вы думаете, что Ленин захватил власть мя того, чтобы служить немцам?

— А вы такие думаете?

— Ни в коем случае.

— Андрей, вы еще молоды рассуждать, — подвел итог дискуссии доктор. — Вы совершенно не представляете себе коварства тевтонской нации и продажности некоторых наших политиков.

— Ленину нужна власть, и он сейчас торгуется — как лучше ее удержать. И чем он хуже вашей Центральной Рады?

— Как вы только смеете! — возмутился милый доктор. Он сорвал с головы ночной колпак и вытер им пот со лба. — Они все как на подбор милейшие люди, демократы.

Вы же не знаете, а говорите! Я с некоторыми вместе учился.

— И чем же они лучше Ленина? — спросил Андрей, в котором проснулся дух противоречия. — В отличие от Ленина они и пяди родной земли не отдадут тевтонам?

— Андрюша, вы не врач! Вы не знаете, что порой приходится жертвовать органом тела, чтобы спасти жизнь. Вот именно!

— И каким же органом Украины хочет пожертвовать Винниченко?

— Голубович.

— Пускай Голубович? Каким органом? Может головой?

Доктор не стал больше спорить. Он был искренне опечален. Не прощаясь, он ушел к себе в комнату. Заскрипели пружины — доктор плюхнулся на диван.

Андрей стоял у окна. Над домами в сторону Святого Владимира вспыхнуло зарницей небо — Андрей подумал, что там, наверное, стоят пушки защитников Киева. Тут же громыхнуло — нестройно и зло, даже стекла звякнули.

— Это еще что? — сердито крикнул из своей комнаты Вальде.

— Мы отвечаем ударом на удар, — сказал Андрей.

Он вернулся к своему ложу и лег. Может быть, воспользоваться портсигарами? Ведь в самом существовании портсигаров, оставленных перед смертью отчимом, был приказ, предопределенность.

###### \* \* \*

На следующий день пошел густой мокрый снег, Андрей с доктором добирались до больницы пешком — трамвай не ходил, а извозчиков они не встретили. В городе было очень тихо, так бывает в снегопад, даже шагов не было слышно, Орудия из-за Днепра начали стрелять, когда они добрались до больницы. И хоть они еще не видели разрывов снарядов либо каких-нибудь разрушений, они все же побежали, вломились в подъезд и долго переводили дух на лестнице. А в холодном высоком гулком вестибюле за стеклянной дверью санитарки и выздоравливавшие и смотрели на улицу, будто ждали начала представления.

— Все говорят, что большевики возьмут Киев, — сказала Лидочка.

— Значит, никто не верит в серьезность намерений этого правительства.

— Жаль, что я заболела. Прости.

— Глупо говорите, леди.

— В крайнем случае мы с тобой можем улететь отсюда.

— Странно, но я сегодня тоже думал об этом.

— И не радовался?

— Конечно, нет.

— Я понимаю, что раньше мы с тобой жили как обыкновенные люди. У нас не было особенных способностей, но нам и не грозили особенные опасности. Мы с тобой как будто завладели неразменным рублем. Если он есть, значит, его надо тратить.

— А потратил, — подхватил Андрей, — хочется потратить его еще раз. Иначе пропадает смысл такого сокровища.

Лидочка улыбнулась и положила тонкие пальцы на колено Андрёю.

— Ты помнишь первый раз? — спросила она.

— Я помню, — сказал Андрей, — и понимаю теперь, что спасение, которое нам дарили портсигары, — ложь, обман!

— Почему?

— Не было бы портсигаров, не попали бы мы с тобой во всю эту историю.

— Объясни, Андрюша.

Пальцы Лидочки, исхудавшие за эти две недели, были совсем невесомыми.

— Почему нам достались портсигары? — сказал Андрей. — Потому что мой отчим оказался путешественником во времени. Потому что он мог с помощью портсигара нырнуть в реку времени и плыть в ней, обгоняя воду. Не будь он путешественником во времени, его бы не убили.

— Это не играло роли, — возразила Лидочка. — Люди, которые убили Сергея Серафимовича, не подозревали, что у него есть портсигар. Они считали твоего отчима богачом.

— Но откуда у него было это богатство?

— Мы ведем пустой спор, — сказала Лидочка. — Что было, чего не было... а нас ведь интересует только наша жизнь. Правда? У нас с тобой есть способность, которую Бог не дал другим людям, — нам дозволено обгонять время.

На том беседу пришлось прервать, потому что прибежал доктор Вальде и сказал, что красных много, они наступают от Дарницы и с севера это настоящие полки, присланные из Москвы, Они били из тяжелых орудий, и некоторые снаряды разорвались в центре, один попал в церковь Скорбящей, а осколками другого — повредило Аскольдову могилу. Правительство Рады готово пожертвовать всем — только бы уговорить немцев перейти в наступление и занять Киев.

После ухода доктора Лидочка спросила Андрея:

— И что мы решили, повелитель?

— Пока мы вдвоем, ничего не страшно, — опрометчиво заявил Андрей.

— Все наоборот, — возразила умница Лида. — Пока я одна, я почти смелая. А когда с тобой — боюсь за тебя куда больше, чем за себя.

###### \* \* \*

Через три дня стало еще хуже. Артиллерия красных расстреливала город днем и ночью. У красных была тяжелая артиллерия и даже бронепоезда, они подвезли их с севера, у них было вдосталь снарядов, и они выполняли задачу, поставленную Лениным, — любой ценой взять Киев до того, как украинская делегация в Брест-Литовске успеет подписать мир. Любой ценой, От этого зависит судьба России и мировой революции.

В городе начались пожары. На глазах у Андрея снаряд попал в четырехэтажный дом и разворотил стену. Из дома вывалился рояль и застрял в пробоине толстыми ножками.

Непонятно было, за что он держался.

Вечером на Софийскую площадь выехала батарея трехдюймовок и развернулась к востоку. Из подъезда соседнего дома выбежал старик военного вида в новенькой бекеше и принялся громко ругать артиллеристов, потому что они подвергают смертельной опасности женщин и детей, живущих в этих домах.

— Большевики возьмут вас в вилку! — кричал он. — А угодят в нас!

Украинские артиллеристы мрачно молчали и не глядели на кричавшего старика, а офицер стал оправдываться и говорить что-то о военной необходимости. Потом, когда Андрей снова выглянул из окна, обнаружилось, что орудия так и стоят посреди площади, но прислуги вокруг нет.

Двадцать второго в город с оркестром вошла армия Семена Петлюры. Андрей с Вальде как раз возвращались домой, и на Софийской площади перед двумя шеренгами кое-как одетого войска и эскадроном вильных казаков выступал военный министр, который бежал от большевиков у Гребенки и теперь, как положено демагогу, отыгрывался словесно за свое бегство перед разделившим его участь войском и немногочисленными зеваками: по улицам в те дни ходили только по большой надобности — снаряды ложились все гуще.

Военный министр показался Андрею мелким, никаким, человеком, который все время норовил подняться на цыпочки и взять в руки саблю. Над его головой холодный снежный ветер трепал жовто-блакитное знамя, которое держал могучий веселый стрелец, возвышавшийся на голову над военным министром.

— Показуха, — проворчал доктор Вальде. Он очень устал — видно было, что шагает из последних сил. За последние три дня больницу буквально захлестнул поток раненых, с которыми уже не справлялись большие госпитали. Вальде и старику Горовцу приходилось и оперировать, и перевязывать, а вчера Вальде даже провел ампутацию, чего, как подозревал Берестов, ему в жизни делать не приходилось.

Петлюра изъяснялся на украинском языке, но его армия не всегда этот язык понимала. Солдаты переминались с ноги на ногу, переговаривались — все тоже устали и замерзли.

Андрей с доктором не стали ждать окончания парада, а поднялись к себе на третий этаж. Доктор залез в комод в поисках свежего белья, Андрей растопил печь, чтобы согреть воды. Постучал сосед — ухоженный и наманикюренный адвокат Жолткевич он интересовался новостями, так как не выходил из дома уже два дня.

Жолткевич остался пить чай, достал с полки атлас Маркса и, открыв страницу, где была Киевская губерния, стал показывать направления движения войск. Получалось, что немцы могут успеть на помощь Раде, если они уже начали двигаться из Волыни, а австрийцы — из Галиции, Он уверенно называл населенные пункты и города возил пальцем по листу атласа — спасители неотвратимо надвигались на Киев.

— А по мне, так лучше большевики, чем немцы, — вдруг заявил Вальде. — Они хоть русские люди. Я патриот, господа.

Сказав так, Вальде заморгал глазами, вглядываясь в лица собеседников, будто ждал отчаянного сопротивления. Но никто не нападал на Вальде. Все занялись чаем, даже Жолткевич отодвинул атлас. И лишь через несколько минут адвокат сказал:

— Мне тоже хочется верить в лучший исход. Я никогда в жизни не видел, как убивают человека. Даже в суде я боролся за то, чтобы людей не убивали. Но я боюсь большевиков именно потому, что они не русские люди.

— Только ради бога, Николай Богданович, без антисемитских заявлений! — воскликнул доктор.

— Я не имею ввиду еврейский вопрос, — возразил адвокат. — Меня беспокоит то, что большевики заменили идею национальную, идею религиозную, идею здравомыслия, наконец, на идею классовую. Вам приходилось сталкиваться с их учением?

— Ну постольку-поскольку... — неуверенно сказал Вальде.

— Нет, вы никогда не задумывались над этим! Опасность большевиков заключается в том, что им плевать на вас как на человека, личность. Им плевать на русских и китайцев. Им нужно разделить мир на своих и чужих. Свои — это их банда. Чужие — все человечество. Они будут вам говорить, что любят трудящихся и крестьян, что призваны освободить их от капиталистов. Но знаете, как они намерены это сделать?

Убив всех капиталистов и их детей и их родственников, а заодно тех рабочих и крестьян, которые не поддерживают светлую большевистскую идею.

— Но это уже было, — сказал Андрей. — Любое фанатичное религиозное движение тоже делит мир на истинно верующих и еретиков.

— Не совсем так — ответил адвокат. — Ведь противостоящие, скажем, мусульманам еретики в самом деле исповедуют другую религию и сознают свое противостояние исламу. У большевиков же враг выдуманный — это эксплуататоры, в число которых отлично можно включить и меня, и вас, и доктора. Враги большевиков и не подозревают подчас, что они враги. Им не хочется участвовать ни в каких политических играх. Это ничего не значит! Мы все равно уже отмечены проклятием.

— Но у них высокая цель — благополучие всех трудящихся, — сказал Андрей, уже зная, каким будет возражение.

— Кончится война, и большевики в первую очередь возьмутся за трудящихся — ведь кто-то должен служить новому классу. И поверьте мне — большевики будут купаться в роскоши с куда большим наслаждением, чем капиталисты и империалисты!

— Это называется — перераспределение богатства, — мрачно заявил Вальде. Пока адвокат с Андреем говорили о большевиках, он достал из буфета графин, наполовину наполненный водкой, в которой покоились полоски лимонной кожуры. Рюмки были тонкие звучащие, нарезные, а вот закусить было нечем, При виде графинчика Жолткевич ахнул и убежал к себе — возвратился через пять минут с двумя тарелочками, на которых была нарезанная колбаса и соленые огурчики. Так что соседи устроили пир, который продолжался до тех пор, пока очередной снаряд не грохнул так близко, что дом вздрогнул и стекла чуть было не вылетели.

Андрей был голоден, но старался беречь небогатую закуску, так что водка ударила в голову. Ему стало почти весело, а его собеседники казались такими милыми и умными людьми.

— А если бы у вас была возможность, — спросил он у адвоката, — уехать отсюда?

— Уехал бы немедленно! В Австралию, в Канаду, в Швейцарию — в то место, где не стреляют и даже не подозревают, что там можно стрелять.

— А если бы вам предложили убежать... в будущее. Вы бы согласились?

Адвокат воспринял вопрос серьезно.

— Наверное, да, — сказал он наконец, — я стараюсь верить в здравый смысл.

— И сколько лет понадобится России, чтобы вернуться к здравому смыслу?

Андрей хотел получить ответ на этот вопрос, потому что сам ответа не знал.

— Ну что ж, у нас есть исторические прецеденты, молодой человек, — сказал адвокат.

Доктор Вальде разлил по рюмкам остатки водки и дунул в горлышко графина. Графин отозвался тихим глухим свистом и как будто вызвал новый взрыв — чуть ли не на площади, Опять зазвенели стекла.

— Я предлагаю не заниматься глупыми разговорами, а спуститься в подвал. Туда по крайней мере не залетят осколки, — произнес Вальде.

Но так как никто на его слова не отреагировал, доктор выпил водку и принялся рассматривать дольку разрезанного огурца.

— К историческим прецедентам я отношу, — сказал адвокат, — схожие ситуации.

Смутное время. Вы помните, сколько продолжалось Смутное время?

— Лет пять-шесть?

— Приблизительно. Вальде, у тебя нет больше водки?

— Прости, не запасся.

— Вот и дурак. Следующий пример — Великая французская революция. Террор завершился за три-четыре года.

— Но потом начались наполеоновские войны. Они загубили куда больше людей, чем десять терроров, — вмешался Вальде.

— Дело не в абсолютных цифрах, доктор! дело в том, что наступил порядок, логическая связь времен и событий. Если ты адвокат, ты можешь заниматься своей практикой и не бояться, что тебя вытащат на Гревскую площадь, потому что ты слишком богат или твой папа был графом. Так что я прогнозирую — эпоха сумасшествия в нашей стране завершится через пять или шесть лет, и тогда наступит порядок.

— Значит, в двадцать первом году?

— Да. И Россия восстанет из пепла.

— Под водительством большевиков?

— Да хоть черта пузатого!

— Никогда ничего не кончится, — мрачно заявил доктор. — Мы, к сожалению, дожили до апокалипсиса. И грядут времена страшные, и пока большевики не перебьют друг друга, они будут питаться нашей кровью.

Доктор поднял вверх толстый указательный палец.

С улицы донесся крик.

Андрей кинулся к окну. Форточка была приоткрыта, и потому сцена, происходившая внизу, была и видна, и слышна. Три вильных казака на сытых лошадях кружили вокруг парочки — молодой человек был в шинели коммерческого либо торгового училища, а девица казалась гимназисткой. Один из казаков поднял нагайку, наехал на девушку и взмахнул рукой — резко, словно рубил. Нагайка сбила шапочку — шапочка покатилась по мокрому снегу, девушка схватилась за голову. Она вскрикивала: Помогите! Казак снова полоснул ее нагайкой:

— Молчать, сука!

Студент попытался защитить девушку, но движения его были неуверенными — он был слишком напуган, чтобы быть настоящим защитником.

Второй казак, не вынимая сапога из стремени, ударил ёго носком, студент покачнулся и схватился за подругу, казак разозлился всерьез и выхватил шашку.

Андрей пытался открыть окно, Окно было заклеено на зиму — две рамы. Тогда он распахнул кулаком форточку и закричал:

— Эй, вы! А ну прекратите!

Но пока он возился с форточкой, он опоздал: сверкающее под светом одинокого фонаря лезвие шашки опустилось на плечо студента, тот упал и был неподвижен.

Второй казак поднял голову и стал смотреть по окнам — где горит свет, — откуда кричали. Увидел и стал поднимать карабин.

— Уйди, уйди! — закричал Вальде, оттаскивая Андрея от окна.

Адвокат кинулся тушить свет, но Андрей вырвался и выскочил на лестницу. В одной рубашке, без тужурки, он ринулся вниз по пустой неосвещенной лестнице.

Когда он выбежал из подъезда, все еще не соображая, что безоружен и никому не страшен, все оказалось кошмарным сном — казаки скакали прочь, уже растворившись во тьме Больше никого на площади не было, Студент лежал на боку, спрятав лицо в снег, но рука его была откинута назад, и шинель и тужурка расстегнуты и распахнуты — Андрей догадался, что, уезжая, казак успел вытащить бумажник.

Вокруг студента было много крови, так много, что она не смогла впитаться в снег, а образовала темное болотце вокруг его тела.

Девушка пропала, будто ее и не было.

Дверь подъезда хлопнула, вышел дворник — Андрей уже знал его.

— Это вы сверху кричали? — спросил он. И не дождавшись ответа, продолжал: — Я у окна стоял, смотрел. Вы их пугнули, господин студент, чес-слово пугнули. Мало ли кто кричит, а если кричит, может, право какое имеет.

Дворник рассмеялся. Он был в пиджаке, но без шинели и без шапки.

— А девушка? — спросил Андрей.

— Утикла. И шапку свою взяла. Видишь — шапки нет, взяла. Вот они, бабы, какие.

Андрей понял, что дворник осуждает девушку за то, что не осталась у тела студента.

— Надо куда-то сообщить? — спросил Андрей.

— Телефон не работает. Я завтра скажу в околотке. Только теперь столько мертвяков, что их просто в ямы кидают.

Адвокат уже ушел, доктор Вальде начал было читать заготовленную лекцию об опасности мальчишеского поведения во время войны, но потом махнул рукой.

Утром, когда они шли в больницу, студента на площади уже не было.

###### \* \* \*

Всю ночь на двадцать седьмое января, под свист метельного ветра из города тянулись отряды стрельцов и казаков, вывозили автомобили и телеги с документами и барахлом. Большевики могли бы вступить в город и раньше, но их было не так много, и они не были в себе уверены. Они дождались донесений разведки, что противник оставил свою столицу, и тогда принялись переправляться из Дарницы и подниматься с Подола к центру.

Андрей в ту ночь остался в больнице.

Заснуть было трудно — оживленное движение по улице, крики и выстрелы, как ни странно, создавали не только нервную, но и праздничную атмосферу. Словно шла подготовка к Рождеству либо съезжались разбойники и покупатели на большую ярмарку.

У киевлян еще не было достаточного представления о большевиках, и потому нашлось немало людей, даже из числа состоятельных, которые надеялись, что с большевиками придет настоящая власть, которая лучше, чем анархия вильных казаков бандитов и пьяных сечевых стрельцов.

Андрей стоял у окна коридора, когда по Фундуклеевской проходил красный отряд.

Красные шли неровными рядами, скорее толпой, чем колонной, в основном это были солдаты, среди них некоторое число гимназических и студенческих шинелей и гражданских пальто. Все были вооружены трехлинейками, а за колонной ехало несколько телег и фур с хозяйством отряда.

Это была не армия.

— Это не армия, — сказала провизорша Генкина, которая тоже смотрела на улицу. — Это банда, и даже удивительно, что они прогнали таких бравых господ офицеров и казаков.

Перед отрядом шла молодая женщина в солдатской шинели и французской каске, она несла небольшое красное знамя с черными буквами, образовавшими непонятную надпись.

Впрочем, как понимал Андрей, большевикам в те дни вполне хватало красных отрядов, чтобы выгнать Раду, которая была схожа с Временным правительством тем, что никто ее не поддерживал настолько, чтобы положить за нее жизнь, зато многие ждали, когда она падет. Одни надеялись на приход красных, другие — на твердую руку генерала Алексеева или Корнилова.

Весь первый день город, притихнув, ждал действий новых властей. А они все въезжали в город, сгружались с харьковского и московского поездов, занимали дворец и учреждения, где вчера еще царила Рада, срывали голубые флаги и изображения рюриковского трезубца, организовывали работу типографий, проверяли, как работают телеграф и почта, — то есть вели себя так, как начинает себя вести любая новая власть, мгновенно обрастающая всем, что положено иметь власти, включая лакеев и перебежчиков от власти старой.

Через день или два по Крещатику, а потом к дворцу, где она заняла апартаменты пана Винниченко, проехала в открытом автомобиле товарищ Евгения Богдановна Бош.

Она была в армейской фуражке, из-под которой выбивались неровные черные пряди, лицо ее, сухое и неприветливое, было лицом жестокой учительницы арифметики, которая ставит детей в угол на горох и сама порет их розгой. Два матроса в бескозырках и расстегнутых бушлатах сидели на заднем сиденье ее авто. В те дни матросы еще не научились носить андреевским крестом на груди патронные ленты — легенда о матросе революции еще только зарождалась. Этих матросов товарищ Бош получила от старой партийной подруги Нины Островской, которая, выполнив свою миссию в Севастополе, отправлялась в Петроград за новыми заданиями партии. Нине Островской были более не нужны телохранители — до самого Петербурга теперь тянулась советская земля, где правили товарищи Нины Островской и Жени Бош.

Евгения Богдановна потратила вечер, уговаривая Нину остаться с ней в Киеве — сейчас здесь, как никогда, нужны испытанные на митингах и в политических спорах старые партийцы. Но Нина не согласилась; ее вызвал в Петроград сам Свердлов, которого Нина боготворила еще по ссылке, — Островской отводилась еще неизвестная, но важная роль в будущей борьбе.

Беседа Жени и Нины — впрочем, так они называли друг друга, но не позволяли так называть себя посторонним, ибо обе уже стали сорокалетними женщинами, отдавшими все — и молодость, и здоровье — делу партии, истратившие по тюрьмам и ссылкам яркость взглядов и пылание щек, — проходила в номере гостиницы «Националь», где остановилась Нина Островская и сопровождавший ее молодой член партии, недавний морской офицер Андрей Берестов, которого Нина почему-то называла Колей, Это Евгению Богдановну не удивило, потому что она провела всю жизнь в мире псевдонимов и кличек, да и сама, сохранив имя и фамилию, сменила себе отчество с неблагозвучной Готлибовны на торжественную украинскую Богдановну. Скрыпник нетактично пошутил, проезжая по Софийской площади: «Это не вашему папе памятник, Евгения Богдановна?» Бош с ним после этого долго была холодна.

— Ты изменилась, Нина, — сказала Женя Бош. — К лучшему.

— А мне кажется, что уже десятилетиями не меняюсь, — отмахнулась Нина. Но она лукавила, хоть и не отдавала себе в этом отчета.

За неделю до отъезда из Севастополя она побывала у Василия Васильевича. Тот был странным человеком, отставным баталёром, аккуратистом — он ведал складом конфискованных вещей. Сам придумал, сам сторожил, свозил, даже, как говорили в ревкоме, ездил на обыски и расстрелы, чтобы не упустить ничего для своего хозяйства. И при том был бескорыстен, сам же ночевал в комнатке при складе, сам был ему ночным сторожем, а если нужно было помочь товарищу, а то и многодетной семье, мог собрать целый мешок барахла и отвезти по адресу.

Партийцы порой злоупотребляли его добротой — совершали набеги на склад и пользовались добром небескорыстно. Василий Васильевич сердился, укорял их, говорил, что все это еще пригодится республике тружеников, но не мешал брать сколько хочется.

Островскую Василий Васильевич повел в святая святых — в железную комнату, куда складывали добро, взятое у Великих князей и графов империи, имения которых в Крыму были заняты и обобраны. Грубый внешне, похожий на большую гориллу, но снабженный высоким нежным голосом Василий Васильевич раскладывал на столе вещи и даже украшения, словно был хозяином шикарного магазина. А Нина Островская, зная, что здесь она в безопасности, что никто не увидит ее женской слабости, с увлечением перебирала горы нижнего белья, проходила, трогая вешалки, между рядов платьев и шуб, нагибалась, раскрывая коробки с ботиками и туфлями, картонки со шляпами. Все это было ей не нужно и даже не интересно, все это было предметом ее всегдашнего презрения, но сейчас, когда не требовалось изображать презрение, она играла в это, как в куклы, — не успела наиграться в молодости.

Василий Васильевич хотел бы всучить, подарить, навязать товарищу Островской дорогие платья и шляпы, но знал, что ничего не выйдет, так что спор между ними был не более как игрой. В конце концов Островская приняла туфли, коробку чулок и некоторых предметов нижнего белья, самых простых и нужных, — сейчас все это так трудно достать, особенно из хорошего шелка. Но из верхней одежды она согласились лишь на сравнительно длинную по щиколотки, темно-синюю юбку и светлее тоном синюю блузку с отложным белым воротничком — что ее молодило, превращало в курсистку — если, конечно, привести в порядок космы.

Вернувшись к себе, Островская забрала прямые волосы в пучок на затылке — пучок получился маленьким. Но все лучше, чем было раньше.

Нина надела обновки уже в поезде, собираясь в Киев. И первым их увидел Коля, когда Нина сняла шинель в поезде Севастополь — Киев. Это был штабной вагон, его хорошо топили, кроме Нины, там ехали несколько товарищей по военным надобностям.

— Ой! — воскликнул Коля, пораженный разительной переменой в немолодой, лишенной женского обаяния революционерке. — Что ты с собой сделала?

Они уже давно были на «ты», по-партийному.

— Что? — вдруг покраснела Нина. — Что-нибудь неправильно? Так не носят?

— Тебе очень идет, — ответил Коля, пряча улыбку. — Просто я не ожидал.

Как и положено членам тайного боевого ордена, большевики в основном были равнодушны к роскоши, им важнее была власть. И потому потребовалось несколько лет, прежде чем элита большевиков привыкла быть богатыми, кушать икру и ездить в «линкольнах». Но в начале восемнадцатого года в Крыму рыцари недавнего тайного общества, а ныне правящего ордена большевиков Островская, Гавен, младший брат Ленина Дмитрий Ульянов и их товарищи могли пройти мимо кучи золота и не заметить ее, если овладение кучей не входило в интересы партии. И если бы Нина не ощутила странного щекотного, бессонного чувства к этому красивому молодому офицеру, которого она вовлекла в партию, так как ей нужен был свой человек в штабе флота, она бы воздержалась от похода на склад. Но даже каменные большевички в минуты отчаянной борьбы за власть и победу революции могут ощутить запоздалое движение гормонов в крови и поддаться проклятой и сладкой власти мужских рук и губ. Это и случилось с Ниной Островской на тридцать девятом году в основном подпольной жизни.

Превращение Нины Островской из грязной, упрямой тюремной парии в госпожу губернаторшу, вольную казнить и миловать тысячи людей, произошло для нее закономерно, для других — фантастически неожиданно.

Эта метаморфоза была субъективно проста, потому что подготавливалась всей жизнью Островской. Когда-то ей, молоденькой девушке, было сказано пророком: если ты будешь терпеть без конца, без ропота, когда все иные уже разуверятся во мне, — то придет к тебе спасение, и получишь ты власть над миром, как верная и претерпевшая!

Или, иными словами; если вы, товарищ Островская, согласны ради торжества идеи Маркса и целей Партии провести половину жизни по тюрьмам и конспиративным квартирам, испытать сибирские морозы и ругань конвоиров, то вторая половина жизни станет воплощением нашей общей социалистической мечты!

Только не надо думать, что жизнь подпольщицы, революционерки, гонимой и преследуемой властями, была столь уж беспросветной и безнадежной. В ней была важная черта — возможность принадлежать к Избранным. А эта Принадлежность давала тебе не только кров и помощь, но и право общаться с членами той же тайной секты, угадывать их в потоке жизни, ощущать тепло единоверца... Всегда были и будут люди такого рода, согласные терпеть, но за вознаграждение, — и чем медлительнее и тяжелей терпение, тем выше его цена. ...Раздался клекот серебряных труб Революции, Истинно верующие выпорхнули из темниц.

У входа их встретила не только свобода, но и старшие товарищи, те самые, кто предпочел (и имел к тому возможность) провести эти тяжкие сроки не в Сибири, а в Цюрихе.

— Все твое, — сказали товарищи. — Вот тебе Россия. Правь ею, но оставайся при том верным и послушным членом нашей партии.

Революционеры и революционерки вышли из тюрем, вовсе не удивившись тому, что пророчество сбылось, — иначе чего бы им в него веровать! И они пошли править Россией, по крайней мере до тех пор, пока их не оттеснят от власти люди более профессионально подготовленные, ибо вскоре обнаружится, что Островские, Боши Землячки были готовы к тому, чтобы карать, но не имели ровным счетом никакого жизненного опыта, чтобы управлять и строить.

Ленин и Свердлов имели обыкновение бросать самых толковых и преданных товарищей с места на место, не давая засидеться и обрасти связями и симпатиями. Поэтому за какой-нибудь Ниной Островской или Евгенией Бош не было прошлого. Они возникали то как абстрактные карательницы, то как ломовые лошади революции. И исчезали так же неожиданно, чтобы покорно и самоотверженно возглавить прорванный врагами фронт, тонущий крейсер, соседнюю республику или баню для членов партии. И знать, что не сам пост важен, а важно доверие партии, которое может проявиться или исчезнуть на любом посту.

Так и Нина Островская приехала в Севастополь, когда влияние большевиков там сошло на нет. Поначалу она недоедала, срывала глотку на сходках и митингах — и в конце концов с помощью подоспевших товарищей перехватила власть в Крыму, чтобы не отдать его ни белым, ни хохлам Центральной Рады. Крым всегда должен был оставаться большевистским.

На первых порах Коля Беккер был для Нины не более чем полезным агентом во вражеском стане. Коля пошел на это сотрудничество, не стараясь извлечь из него особых выгод — он желал уцелеть в сумасшедшем доме, в который постепенно превращался Севастополь, выбрать побеждающую сторону — а в те дни, прошлой осенью, еще не было очевидным, что таковой будут большевики. Коля рискнул и выиграл.

Несколько месяцев до отъезда в Россию Коля продолжал числиться в штабе флота под именем Андрея Берестова. Был он человеком аккуратным исполнительным, трезвым и потому пришелся ко двору у Гавена, латышская душа которого не выносила окружающего бардака и всеобщей необязательности, заражавших и самую сердцевину партийных кадров. Так что вскоре Коля уже стал своим среди большевиков Крыма, но при том всей шкурой чувствовал, что из Крыма надо бежать — Крым враждебен, опасен и грозит смертью.

За пределами Крыма у Коли почти не было близких людей. Сестра его маялась в Симферополе, бывшая подруга Марго исчезла, не писала, не подавала о себе вестей, на Ахмета и Андрея надежды мало — детская дружба себя изжила. Пожалуй, оставалась одна верная женщина — Раиса, у которой Коля снимал комнату...

Коля мучился, рождая и отвергая планы бегства на север. Он готов был для этого даже стать возлюбленным своей покровительницы, но не знал, как к ней подступиться.

Казалось, что за много лет, проведенных в подполье или в ссылке, Нина принимала все меры, чтобы изжить из себя женское начало, так мешавшее в совместных боевых и политических действиях с товарищами-мужчинами. Она коротко, под горшок, стригла прямые черные волосы, обходилась без лифа — благо груди ее были невелики и неочевидны, туфли носила без каблуков и никогда их не чистила, одевалась бесполо и безлико.

Намеки, понятные любой шестикласснице, для Нины были бессмысленны, так как она, вступив в партию шестнадцати лет и будучи при том всегда некрасива (иначе бы, наверное, и не поступила в партию), не получила положенной средней гимназистке любовной муштры. Даже о том, что деторождение связано с любовными отношениями мужчин и женщин, она узнала лишь в тюрьме на первой своей пересылке.

Думая о Коле, она признавалась себе, что Берестов ей приятен как человек и перспективен как партийный работник. Она даже как-то говорила Диме Ульянову, что поощряет приход в партию молодых людей из интеллигентных семей, потому что после взятия власти нужны будут специалисты, а не только солдаты. Дмитрий Ильич стал с ней спорить, утверждая, что перебор непролетарского элемента в партии может ее ослабить и бюрократизировать, чему есть немало примеров в истории.

Впрочем, испытывая удовольствие от близкого присутствия Коли, находя смысл и пользу в разговорах с ним, Нина Островская и не подозревала, что руководствуется чем-то иным, нежели заботой о деле партии.

Так что когда Островская отправилась к Василию Васильевичу, чтобы экипироваться на складе для поездки в столицу, она и не подозревала, что делает это в значительной степени из-за своего молодого спутника, который все не решался попроситься в Петербург. Наконец Коля, отказавшийся от надежды соблазнить начальницу большевиков, за несколько дней до отъезда бросился к Островской с просьбой взять его с собой: он хочет быть в центре революции — его место там! И к крайнему удивлению Коли Островская лукаво улыбнулась и ответила:

— Я уже говорила об этом с Гавеном. Он тоже так думает.

Так был решен вопрос о поездке. Коля вырвался из постылого Севастополя и получил возможность увидеть Нину Островскую в женском обличье.

###### \* \* \*

В киевской гостинице «Националю» они с Колей остановились в соседних номерах, небольших, приличных, ничем не выдающихся, хотя, конечно же, пожелай того Островская, ей бы выдали «люкс, Но Островская была, как и прежде, скромна и непритязательна. Ее можно было купить властью, но не деньгами. Да и как купишь человека, который знает, что может получить вдесятеро больше, чем имеет, стоит лишь пошевелить пальцем, но не делает этого движения, потому что презирает мелочи жизни. Такого рода революционеры первого поколения всегда становятся и не нужны, и опасны диктатору, которого обязательно рождает революция. Диктатору нужны подчиненные, которых можно купить, продать и помиловать. Как ты будешь миловать Островскую или Бош, если для них единственный судья — партийная совесть?

Их следует обязательно уничтожать — впрочем, так и случается, иначе они примутся судить товарищей по партии, так как они и есть — Партия.

Евгения Бош приехала к Нине, как только узнала, что та проездом в Киеве, Они не виделись четыре года, расставшись в ссылке в Туруханском крае, где жилось хоть и трудно, но весело, в спорах, планах, мечтах о свободе мя себя и России.

Там Нина подружилась с Яшей Свердловым, познакомилась с Сосо Джугашвили и некоторыми знаменитыми меньшевиками.

— Какое чудо, Женя, что ты здесь! — говорила Островская, проводя подругу в номер.

Там с чайником в руке стоял Коля Беккер.

Нина поспешила представить спутника:

— Андрей Берестов. Наш товарищ из Севастополя. Сопровождает меня в Питер.

— Очень рада. — Ладонь товарища Бош была холодной, узкой и крепкой.

Эта женщина показалась Коле очень похожей на Нину, хотя, пожалуй, сходство это было весьма поверхностным. Лицо Нины было крупнее чертами и резче, что порой придавало ей сходство с вороной, тогда как Бош была куда изящнее, детали лица были мелкими, но четкими и как бы лишенными мяса, Потому так трудно было бы угадать ее возраст. От тридцати до пятидесяти...

Бош критически обозрела Колю.

— Моряк? — спросила она.

— Морской офицер, — ответила за Колю Островская.

— Давно в партии? — Что-то не нравилось Евгении Бош в Коле, что-то тревожило.

— Давайте сядем за стол, — предложила Нина. — В ногах правды нет. Раздевайся.

Раздевайся и поговорим. Ты же не спешишь?

— Конечно, спешу, — сухо улыбнулась Боги, но скинула шинель. Коля успел ей на помощь и повесил шинель в стенной шкаф.

— У нас нечего выпить, — сказала Нина.

— Я не пью, — ответила Бош с очевидным укором в голосе.

— Прости. — Нина суетилась чуть-чуть больше, чем нужно. Она как бы давала понять, что стоит на ступеньку ниже на партийной лестнице, чем гостья, впрочем, кроме Коли, никто этих тонкостей не заметил. А Коля понимал, что его присутствие мешает откровенному разговору старых подруг, и потому сказал, что ему нужно отлучиться, и его никто не задерживал.

Подруги в соседнем номере чуть отмякли, подобрели у уютно шумевшего самовара, крепкий чай с бубликами и колотым сахаром напомнил счастливые мирные дни ссылки, когда можно было мечтать о будущей погоде, о том, как царские сатрапы, от министра до станового пристава, следящего за ссыльными, послушно опустятся на колени перед виселицами.

Жизнь, обрубленная, словно дерево без веток — одно бревно, — рождала особенный ущербный тип человека — мир настолько четко делился на своих и чужих, что чужие становились не людьми, а некими существами, которых требуется уничтожать и гнать.

И не испытывать чувства зависти. Как схоже, бывало, тащили на костер еретиков и ведьм монахи, лишенные любовного чувства. Главное — убедить себя, что твои враги, оппоненты, не более как препятствия на пути народа к высокой цели, сродни фантомам.

Неудивительно, что в начале разговора не было сказано ни слова о родных — в беседе старых партийных товарищей той поры не услышишь пожеланий здоровья маме и папе, впрочем, чаще всего ты и не знал, кто родители у твоего товарища. Отец Софьи Перовской был губернатором, отец Троцкого — богатым арендатором, отец Ульянова — штатским генералом, отец Джугашвили — сапожником. Отцы приговаривались к забвению. Товарищ по партии, член секты был ближе родителей.

Евгения Бош спросила:

— Как обстановка в Севастополе? Она меня тревожит. Сама понимаешь, какая у нас связь с Крымом — Главное, — ответила Нина, разливая хорошо заваренный чай по принесенным половым из лучшего гостиничного сервиза чашкам, — что нам удалось отстоять Крым как от украинцев, так и от татар.

— Трудно было?

— Несколько недель в боях, — ответила Нина. — Мы потеряли много товарищей. Ты помнишь Бураева?

— Бураева? Мишу, из Нарына?

— Нет, я имею ввиду Баню Бураева. Его захватили эскадронцы в Евпатории. Он был там председателем ревкома.

— Сильно мучили? — спросила Бош.

Как профессиональный революционер она всегда ждала смерти и старалась подготовиться к ней. Правда, с годами шансы мученически погибнуть уменьшались, а после двадцатого года исчезли совсем, Осталось только желание мстить врагам, которые заставили тебя просыпаться ночью в ожидании поражения и страшной гибели.

А потом, когда врагов не осталось, — мстить врагам воображаемым. Но это феномен будущего. О нем Бош и Островская в феврале 1918 года еще не подозревали. Но было страшно. Женя Бош стояли как на вершине, открытая ветрам. Партия вознесла ее на немыслимый пост диктатора Украины. Ради партии она стояла на вершине и дрожала от ледяного ветра ненависти, дующего в лицо.

— К сожалению, — сказала она задумчиво, — здесь трудящиеся массы отравлены духом национализма.

— Я никогда не любила Киев, — ответила Нина. — Мещанский чиновничий город.

— У меня только завод «Арсенал», — сказала Бош, глядя прямо перед собой и не видя Нину. — И донбасские шахтеры.

— Завтра придет отряд из Севастополя. Они следуют за мной.

— Я получила телеграф. Они задержались — бьются с бандой Махно.

— Это еще кто?

— Какой-то мелкий бандит. Таких тут много.

— Мы послали следом бронепоезд, на нем две роты самых сознательных товарищей из дивизиона эсминцев, Для Евгении Бош разницы между эсминцами и крейсерами не было, но Нина за месяцы в Севастополе научилась разбираться в различиях настроений дивизионов, экипажей и корабельных команд.

— Ты можешь быть спокойна, — продолжала Нина, — с юга тебе ничто не угрожает. Мы тебе всегда поможем.

— Спасибо.

— А что ты знаешь о Бресте? — спросила Островская. — До нас доходят смутные слухи — связь плохая.

— У нас было задание — взять Киев до того, как Рада подпишет договор с немцами.

Мы послали нашу делегацию. Пока немцы упрямятся. Ильич уверяет, что Украину необходимо отстоять, Слово «Ильич» Евгения произнесла особенно: Ленин был авторитетом для профессионалов — с ним можно было спорить, его можно было не слушаться, но в партии не было человека, который был бы равнодушен к вождю революции. Обеим собеседницам приходилось видеть Ленина, говорить с ним, и обе имели основания полагать, что и Ленин их помнит.

— С запада у меня нет заслонов, — сказала Бош.

Она не имела опыта в делах военных, но, будучи председателем украинского правительства, считала своим долгом разбираться в них лучше любого генерала. Она искренне верила, что в конечном счете побеждает не умение и не знания, а сила идей. Еще вчера у нее был спор с Шахраем, который предложил брать на службу в штабы и управления армии тех офицеров, которые дадут клятву честно сотрудничать с большевиками, Бош была категорически против этого и настояла на том, чтобы провалить план Шахрая на заседании правительства. Она была убеждена, что классовое происхождение офицеров делает всех их предателями. Евгению Богдановну поддержали тогда Бакинский и Люксембург, а когда план Шахрая был отвергнут, с кратким сообщением выступил Скрыпник. Он сообщил, что по его сведениям как раз перед сдачей города большевикам Центральная Рада провела регистрацию всех офицеров, и им были выданы розовые учетные карточки. Это белый крест на воротах гугенотов, сказал Скрыпник, и Бош его поняла, Командирам красных отрядов и патрулей был дан приказ вылавливать на улицах и в домах всех, у кого розовые карточки, и считать этих людей предателями дела рабочего класса.

Об этом Евгения не стала рассказывать Нине — это дела внутренние, почти хозяйственные. Истребление крыс.

Перед уходом Бош договорилась с Ниной, что та возьмет с собой для личной передачи Свердлову секретный пакет. Конечно, можно было бы послать фельдъегеря.

Но Бош больше верила товарищу по партии.

Женщины расстались на грустной ноте. Ведь когда-то даже железные женщины должны поплакать. И плечо, на которое они опускают свою усталую голову, должно быть родным, плечом другого члена партии.

— Мне трудно, Ниночка. — Голос Жени Бош дрогнул. — Я тут совсем одна, Если я не успею убежать, то погибну...

— Что за чепуха! Почему они возьмут Киев?

— Я здесь чужая.

— Я попрошу Свердлова, чтобы он направил меня сюда, — сказала Островская. — Можешь мне поверить.

— Спасибо! — Евгения сжала руку Островской.

Было уже пять часов, Бош должна была выступать в университете — там готовился митинг революционной молодежи. Она вытерла слезы, надела шинель.

— А этот молодой человек... Берестов, он надежен? — спросила она перед уходом.

Ее не столько беспокоила нравственность Нины, как сохранность секретного пакета.

— Я за него отвечаю, — ответила Нина. — До встречи.

— Привет Якову, — сказала Евгения. Ей не хотелось уходить.

— Я всем передам приветы. Они наверняка с вниманием и надеждой следят за тобой и за твоим правительством.

Бош резким движением распахнула дверь и пошла, не оборачиваясь, по коридору.

Нина смотрела от двери, как Бош легким девичьим шагом улетает по длинному гостиничному коридору.

Нина подумала о том, что Коля, наверное, сидит сейчас голодный и даже обиженный.

Ведь для члена партии обидно недоверие товарищей.

Нина подошла к двери Беккера и, постучав, вошла, Беккер лежал на постели, не сняв сапоги.

— Товарищ Берестов, — сказала Нина. — Пошли ко мне, самовар еще горячий.

Глаза Коли были закрыты.

— Я знаю, что ты не спишь, — сказала Островская и улыбнулась: он еще совсем мальчик и обижается, как мальчик. — Вставай, вставай.

Коля открыл глаза и сел на кровати. Он вовсе не был обижен и с удовольствием поспал на мягкой постели — в жизни еще не приходилось спать в такой роскошной гостинице. Но если Нина хотела, чтобы он перестал обижаться, для этого следовало сначала обидеться. Так что Коля не смотрел на свою спутницу и скучно думал, глядя в незанавешенное синее окно: «Вот и еще один день прошел...»

Нина положила ему руку на плечо. Плечо было крепким, молодым, совсем как плечо Сурена Спагдарьяна.

Нина, хоть Коля и был убежден, что она — старая дева раньше была близка с мужчиной, с Суреном. Сурен жалел ее, но хоть и был горячим кавказским человеком, женщины в ней не понял. Они были близки всего один раз, летом, в Монастырском.

Сурен был пьян, он кашлял, и все говорили, что он скоро умрет от чахотки. Она терпела, потому что Сурен сделал ей больно, но не смогла удержаться от плача. «Я большой грешник, — говорил Сурен, — меня бог накажет. Ты весталка революции, тебя нельзя трогать». Она не поняла, зачем он это говорил. Сурен умер за несколько недель перед революцией, в Курейке, была зима, и Нина не смогла приехать на похороны.

Коля поднялся и сделал к ней шаг. Нина отшатнулась — но лишь чуть-чуть. Коля положил ей руки на плечи и притянул к себе.

— Не надо, — сказала Нина серьезно, — я весталка революции.

Коля улыбнулся. Вокруг глаз Нины было много мелких паучьих морщинок. Как будто поняв, что его взгляд критичен, Нина положила голову ему на плечо. Ее прямые черные волосы приятно пахли дешевым мылом — сегодня она смогла помыться в настоящей гостиничной ванне. Коля поцеловал ее в затылок. Среди волос были седые.

— Пошли чай пить, — сказала Нина. — У меня чай остывает.

Пальцы Коли опускались по ее спине — к талии и даже ниже. Нина сделала попытку отодвинуться.

— Это глупо и несерьезно, — сказала она хрипло.

— Молчи.

— Нет, я должна сказать — возразила Нина, словно это был политический спор. — Ты меня совершенно не знаешь.

— Нет знаю, — возразил Коля. Он хотел сказать, что любит Нину, но было неловко так говорить. Это было бы полной неправдой. И в то же время Коля испытывал сильное возбуждение и желание одолеть Нину, овладеть ею, потому что в этом было некое торжество над властью, над силами, правящими этим миром. Ведь легенду о красоте Клеопатры придумали ее любовники для того чтобы оправдать свое желание обладать самой знаменитой женщиной мира — красоту ей они придумали потом.

Коля замер, прижавшись к Нине, потому что вдруг ощутил себя нерадивым учеником — он забыл, что надо делать дальше. Нина почувствовала, как ослабли его пальцы, и вдруг испугалась, что он отпустит ее, попросит прощения и отодвинется...

— Скажи что-нибудь — попросила она.

Коля, как бы вспомнив, поднял за подбородок ее тяжелую послушную голову и, отыскав губами ее губы, начал ее целовать Нина отвечала ему неумело, стиснув зубы. Потом вдруг рванула, освобождая, голову и сердито — это ему показалось, что сердито, а на самом деле в страхе — приказала:

— Погаси свет, нельзя же так!

###### \* \* \*

Когда все кончилось, суматошно, неправильно, потому что Коля, ломая неожиданное, запоздалое, но упорное сопротивление Нины, не сдержался и завершил любовный акт, лишь начав его, он отодвинулся и стал смотреть в потолок. Глаза уже привыкли к темноте. Островская тихо дышала рядом, касаясь его плечом и обнаженным бедром.

От ее волос неприятно пахло дешевым мылом.

Я этого не хотел, думал Коля мне это вовсе не нужно. Она сама пришла ко мне, чтобы меня соблазнить, и потому все получилось по-дурацки. Теперь она думает, что я никуда не гожусь как любовник! И мне придется распрощаться с карьерой в партии большевиков — может, это и лучше? Может, судьба распоряжается мной, оберегая от страшного безбожного дела... Я уйду и сегодня же отыщу здесь офицеров. Здесь должны быть офицеры, они знают, как пробраться на Дон, там наши сопротивляются... А почему бы мне не пробраться в Америку? Я могу быть полезен Александру Васильевичу. Он будет мне рад, и когда мы выстроим на Марсовом поле последних пленных большевиков, я замечу в заднем ряду Нину — оборванную, голодную, запуганную... И я скажу начальнику караула: «Вон ту, которая похожа на ворону, попрошу освободить». И он ответит, пожав плечами: «Слушаюсь, господин полковник!»

— Я пойду? — спросила Нина, Словно он мог запретить ей уйти.

— Хорошо, — сказал Коля холодно. — Иди, уже поздно.

Нина поднялась, Коля закрыл глаза. Он слышал, как она натягивает чулки, застегивает юбку, блузку, щелкает застежками... это было бесконечно. Неужели она не научилась этому за свою долгую жизнь? Интересно, она могла бы быть его мамой?

Ей около сорока, ему — двадцать два. Вполне возможно... а вдруг она — его мать?

Ну что ты несешь, Беккер! — сказал он себе. А Нина все застегивала крючки. Она молчала, и молчание было тягостным.

— Я пошла, — сообщила она, Коля промолчал.

Нина приоткрыла дверь и выглядывала в коридор, чтобы никто ее не заметил. Коля внутренне улыбнулся — поглядела бы сейчас госпожа Бош, как ее подруга и диктаторша Крыма смотрит в щелочку, держа в руке туфли.

Убедившись, что в коридоре никого нет, Нина хотела было юркнуть в дверь, но тут замерла, остановленная мыслью.

— Коля, — сказала она виновато, — самовар еще горячий. Отдохнешь, приходи ко мне... если хочешь.

— Спасибо, — сказала Коля и отвернулся к стене. И вскоре заснул. И проспал часов десять!

Утром следующего дня Коля поднялся чуть свет. Он не сразу вспомнил, что же гложет его. Потом спохватился. Воспоминание было противным. И не потому, что Нина была ему неприятна, в ней даже было нечто трогательное, неистраченное, девичье. Гадко было собственное поведение. Можно соблазнить нежную девушку, потому что страсть овладеть ее нежным телом сводит тебя с ума. Колю же ничто не сводило с ума. Он хотел обеспечить себе будущее, потому что не верил в любовь большевиков к бывшему адъютанту Колчака, и не придумал ничего лучше, чем роль альфонса. Да, альфонса! Он сознавал мерзость своего поступка настолько, что готов был назвать его именно таким словом...

В дверь постучали. Неужели опять она?

Но пришла горничная. Она быстро проговорила:

— Госпожа из восемнадцатого приглашают пана на кофий.

Захихикала — видно ей еще не приходилось передавать такого приглашения.

Нина была в новой блузке.

— Садись, — откликнулась она на его приветствие.

Форточка была открыта, с улицы доносились голоса, скрип колес. Ничего прошлым вечером не случилось — это было лишь плодом Колиного воображения. Перед Ниной на столе лежали газеты, она их просматривала. На туалетном столике под зеркалом Коля заметил стопку исписанных листов. Нина перехватила его взгляд и сказала, наливая ему в стакан чай из заварочного чайника:

— Всю ночь пришлось работать. Я обещала Евгении Богдановне оставить справку о расстановке сил в Крыму и ходе последних боев. Им здесь, в Киеве, нужны свидетельства из первых рук.

— О себе не забыла? — спросил Коля, осмелев от спокойного тона Островской.

— Не говори глупостей, — холодно оборвала его Нина. — Мы, большевики, никогда не гонимся за личной славой. Если справедливое общество будет построено на нашей планете, благодарные потомки не забудут о нас. Тебе покрепче?

— Спасибо, достаточно.

— У нас в ссылке в Курейке мужчины пили очень крепкий чай, в Сибири его зовут чифир. Не слыхал?

— Откуда мне!

— Вот именно — откуда тебе. А знаешь, Николай, в чем твоя беда? Твоя беда в том, что тебе не пришлось переносить настоящие испытания, не пришлось рисковать жизнью и страдать.

— Ты мало обо мне знаешь.

— На тебе все написано, Ромео.

Такое обращение Коле не понравилось, потому что в нем угадывался намек на вчерашнее. Но он промолчал...

Он смотрел на ее щиколотки. Щиколотки были видны из-под юбки, в узкой полоске чулка между верхом башмака и подолом.

В дверь постучали. Пришел студент, посланец от Бош. Откозырял, передал конверт с билетами на поезд, сказал, что авто подано, и если товарищи из Севастополя хотят осмотреть город, то они могут распоряжаться мотором до самого отъезда. Нина отдала студенту листы, написанные за ночь, и тот сказал, что знает об их ценности, И тут же передаст курьеру.

После его ухода Нина подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— А в Москве сейчас еще холодно, — сказала она.

Коля подошел к ней — совсем близко. Он положил руку ей на плечо, не потому что хотел этого, а чтобы проверить — как она себя поведет. Нина не шевельнулась. Она продолжала говорить:

— Я не люблю Петербург. Там неуютно, там все улицы просматриваются. И очень много шпиков.

— Ты откуда родом? — спросил Коля.

— Мой папа был ветеринаром, — сказала Нина. — Я не люблю животных. Может быть, проедемся по городу, погуляем? Я тут не была с последнего этапа. Видела Киев через решетку фургона.

Внизу, в конфискованном, еще шикарном авто их ждали шофер и студент. Нина предложила было студенту отдохнуть, но тот сказал, что в городе еще много всякой нечисти и могут быть провокации.

Коля отдал бы сейчас полцарства, только бы не кататься по городу в обществе этой женщины.

Но почему я раздражен? Ведь она ведет себя идеально — ни словом, ни жестом не показала мне, что наши отношения изменились. Чего же я хочу?

День был солнечным, совсем весенним, но Нина мерзла — вскоре она велела шоферу остановить машину и поднять верх. Люди на тротуаре замедляли шаги, смотрели на большевичку и молодого человека рядом с ней. Потом видели студента с винтовкой.

И старались больше на машину не смотреть. Потому что после первых дней устройства на новом месте власть большевиков принялась карать совершенно не готовых к этому киевских обывателей, Словно она и на самом деле взяла штурмом вражеский город, который был отдан на поток и разграбление.

Новое правительство Украины смертельно боялось мятежа и измены, хотя бы потому, что не имело оснований рассчитывать на преданность киевлян. А для того, чтобы искоренить мятеж в зародыше, следовало ликвидировать самых опасных врагов. Самых опасных — значит мужчин молодого и среднего возраста, желательно буржуев.

Автомобиль, в котором прогуливались Нина с Колей, проехал вдоль всего Крещатика и свернул налево, к Софийской площади. Он затормозил возле собора, и Коля хотел было помочь Островской спуститься на мостовую, но та словно не заметила руки молодого человека, а решительно широким шагом направилась к храму. Площадь была пуста, Коля не смотрел в окна домов — иначе бы мог, поднявши голову, увидеть в окне третьего этажа дома на углу площади и Большой Владимирской своего старого приятеля Андрея Берестова. Но Андрей его увидел.

Андрей знал, что Коля теперь служит большевикам, и видел, как тот приехал к собору с какой-то стремительной худой дамой. Спуститься к Коле? Но захочет ли того его приятель? Какую роль он играет при этой большевичке?

Так что Андрей остался у окна — все равно надо дождаться доктора, который поехал с визитом к своему старому пациенту — хоть и не ездил по визитам, но тут отказаться было нельзя. После этого они собирались вдвоем поехать на Подол, там, говорят, разгрузились две баржи с севера — привезли картошку. Если сейчас не купишь, весной будет совсем трудно.

По площади, дребезжа, ехала извозчичья пролетка, в ней, развалясь, сидели два солдата в папахах, на которых по диагонали были натянуты красные ленточки — единственный пока знак различия в революционной армии. Другой извозчик, не подозревая плохого, обогнал их и остановился на углу Большой Владимирской.

Элегантный Жолткевич, адвокат, сосед доктора Вальде, стал расплачиваться с извозчиком. Второй извозчик, с солдатами, поравнялся с ним и остановился.

Солдаты что-то спросили у адвоката, который уже опустился на землю и ждал сдачи.

Тот что-то ответил, потом достал бумажник и протянул солдатам розовый листок бумаги.

Солдат жестом приказал адвокату забираться в пролетку. Адвокат показывал на свой дом, видно, старался объясниться.

— Пора идти, отклейтесь от окна! — крикнул доктор Вальде из прихожей. Он незаметно вернулся домой и даже переодел пальто.

Андрей пошел одеваться.

— Что вы там увидели? — спросил доктор Вальде.

— Нашего соседа Жолткевича задержали, — ответил Андрей. — А он показывал им какой-то розовый листок.

— Розовый листок? дурак! Ах, какой дурак! — расстроился доктор. — Это же очень рискованно. Дай бог, чтобы обошлось!

— Почему?

— Месяц назад пан Петлюра решил зарегистрировать всех военнообязанных. Годным раздали розовые квитки. А у многих теперь других документов нет. Попался патрулю — что-то надо показать... Говорят, что красные всех, у кого есть такой квиток, забирают.

— Куда? К себе в армию?

— Сильно сомневаюсь, — проворчал Вальде, открывая дверь и выглядывая на лестничную площадку. — Боюсь, что в тюрьму. Так что никаких квитков им не показывайте.

Они спустились по лестнице, и Вальде первым выглянул на улицу. Там никого не было. Машина, в которой приехал Коля с революционной дамой, тоже исчезла.

— Не дай бог, с Жолткевичем что-то случится, — сказал Вальде. — У него же трое детей.

Андрей с запозданием пожалел, что не сбежал вниз, не вмешался, не окликнул Колю — ведь тот же мог помочь!

— Не расстраивайтесь, — произнес Вальде, поднимая воротник, чтобы не продуло свежим, почти весенним, но очень холодным ветром, который задул, как только солнце заволокло легкими торопливыми облаками. — Нам бы самим до госпиталя добраться.

Они дошли до госпиталя без приключений. На улицах было мало народа, и в основном публика была простонародная, соответственно одетая. Немногочисленные извозчики медленно проезжали вдоль Крещатика, но пассажиров не находили. В больнице, в ординаторской, старшая сестра стала рассказывать, как пропал без вести ее брат, чиновник, а другая сестра сказала, что ночью в Царском саду за дворцом расстреливали людей.

Андрей собрался на крытый рынок, хотел купить Лиде моркови и лука, но она догадалась о его намерениях и стала умолять его никуда не ходить.

###### \* \* \*

Адвоката Жолткевича расстреляли в пять часов пополудни.

В нижнем белье он стоял на мокром снегу и думал, как громко кричат вороны и как много их вьется над деревьями Царского сада. Ему было почти не холодно, но он понимал, что обязательно простудится, если это безобразие не кончится и его не отпустят домой. До последней секунды он утешал себя тем, что солдатам нужны его вещи, а не жизнь.

Только через несколько Дней, когда немцы двинулись к Киеву от Житомира, а красные части начали разбегаться, жене адвоката удалось узнать, что его тело лежит в общей могиле — неглубокой яме, кое-как засыпанной мешаниной снега и земли. Она собрала все драгоценности и отдала солдатам, что стояли в Царском саду — берегли уже многочисленные могилы. Шансов найти тело мужа у нее не было — но повезло: солдат-расстрельщик, которому она показала фотографию Жолткевича, его признал и вспомнил, в какой яме он лежит. Потом откопал и даже помог найти подводу, чтобы отвезти тело домой.

Вдова позвала доктора Вальде и Андрея на похороны — некому было нести гроб.

Вдова была тиха, смирна, даже умиротворена — она сделала для Коленьки невозможное, и он должен быть доволен. Дети ее шли за катафалком — причесанные, ухоженные и пристойно одетые. Немногочисленные гости помянули Жолткевича домашней, с лета сохраненной наливкой.

От усталости и отчаяния доктор Вальде быстро опьянел, и Андрею пришлось тянуть его домой на себе. Той ночью снова пришли с обыском — либо с грабежами. Ломились в дверь, но двери в доме были толстые, прочные. Дворник, которого солдаты водили с собой по этажам, спас доктора — сказал, что в этой квартире были тифозные и умерли, а пока там карантин.

На следующий день, поговорив с Лидочкой, которая уже начала вставать, Андрей поехал на вокзал — узнать, как достать билеты в Москву.

На вокзале царил бедлам — одни спешили уехать из Киева прежде, чем появятся немцы, другие бежали от террора большевиков, все более отчаянного по мере завершения их господства. А толпа перед кассами словно и не сдвинулась с места с того дня как Андрей приехал в Киев.

Ночью на вокзале была перестрелка, охрана сражалась с какими-то бандитами — в углу главного зала лежали два трупа, кое-как покрытые красным полотнищем. На полотнище были белые буквы «Вся власть...».

Говорили, что немцы будут дня через три — ждут, пока город минует чехословацкий корпус, с которым воевать они не намерены. Вместе с немцами вернется Центральная Рада и министр Винниченко, который встречал освободителей в Житомире.

Все попытки Андрея за любые деньги добыть билеты у перекупщиков оказались пустыми.

Когда часа через два Андрей готов был уже сдаться, счастье подошло к нему в облике высокого господина с эспаньолкой и в пенсне, очень похожего на Чехова.

— Я вижу, что вы ищете билет, — сказал господин. — Случайно не в Москву?

Оказалось, что у господина заболела тифом жена и их отъезд откладывается.

Продавать билет случайному человеку господин боялся, наслышавшись историй о грабежах и обманах. Он заметил Андрея, присмотрелся к нему и осмелился к нему обратиться.

— Я лишнего с вас не возьму, разумеется, — сказал господин, — но учтите, что билеты очень дорогие, в мягкий вагон.

Господин отдал Андрею билеты по ценам месячной давности, то есть просто даром.

Андрей кинулся в больницу рассказать Лидочке, что через два дня они отбывают на север.

###### \* \* \*

Весь цвет мировой социал-демократии ждал, когда же наконец немецкие милитаристы, соблазненные беззащитностью пролетарского государства, кинутся, чтобы сожрать его, и вызовут этим революцию возмущенных рабочих Германии.

Наконец 16 февраля германское командование известило Петроград, что перемирие истекает через два дня и тогда же Германия возобновляет военные действия. Верх там взяли генералы.

Вечером 17 февраля прошло заседание ЦК партии большевиков. Ленин потребовал немедленно принять все германские условия и подписать мир с Германией, какими бы ни были его условия. Предложение Ленина большинством голосов было отвергнуто.

Большинство поддержало Троцкого, который считал нужным подождать с возобновлением переговоров, пока не проявится позиция пролетариата Запада. В последовавшие затем сутки прошло еще два заседания ЦК. Ленин выступал через каждые пять минут. На третьем заседании он уже имел 7 голосов из 12. Это случилось потому, что Ленину удалось сломить Троцкого, убедив его что мир — единственная возможность сохранить единство партии. Ленин имел гипнотическое влияние на Троцкого и был уверен, что Троцкий в конце концов признает его власть.

Троцкий строил свой громадный воздушный замок — мировую революцию. В пределах России он хотел быть вторым. После Ленина. Но это в конечном счете означало: вместе с Лениным, Но даже Ленин не смог бы перетянуть Троцкого на свою сторону, если бы тому не стало очевидно предательство Украинской республики. Она подписала сепаратный мир со странами Четвертного союза, предпочтя немецкую оккупацию господству красных отрядов. Причем Украина объявила своими Курскую и Воронежскую губернии, а также область войска донского и Крым, отдан эти земли под защиту германского оружия.

Даже слабые тыловые немецкие части были боеспособней отрядов большевиков. В считанные дни Украина была оккупирована, а на Западе немецкие отряды двинулись из Прибалтики к Петрограду.

Достаточно было немецкого взвода, чтобы занять крупный город. Не имея фактически свободных войск — стоит представить себе, что означала для Германии оккупация громадной Украины и юга России, — принц Леопольд рассыпал несколько полков малыми ударными группами и кинул их вперед. Это была авантюра, которая могла удаться лишь ввиду полного развала русской армии. 18 февраля был занят Двинск, 19-го — Минск, 20-го — Полоцк, 21-го — Орша 24-го — Псков и Юрьев, 25-го — Ревель, Лишь в редких местах отдельные красные отряды оказывали сопротивление — Нарва держалась до 4 марта. 20 февраля Петроград был объявлен на военном положении — немцев ждали с минуты на минуту. Город полнился слухами — мало кто, если не считать большевиков, опасался немецкого вторжения. Даже самые квасные из патриотов готовы были увидеть на Невском проспекте немецкие пикельхельмы, только бы закончился кошмар большевистской власти.

Но в конечном счете прав был министр иностранных дел Германии Кюльман, прав был и Троцкий, хоть об этом впоследствии никто не хотел вспоминать. Германские отряды наступали лишь там и тогда когда им не оказывали никакого сопротивления.

И с каждым днем их продвижение замедлялось — Германии не хватало войск ни для наступления, ни для оккупации, ни для грабежа Украины. 20 февраля Центросовет рассматривал вопрос об эвакуации города, а на следующий день был создан штаб обороны Петрограда. Возглавил его Свердлов. Было объявлено о создании новой революционной армии и мобилизации всех буржуев на рытье окопов.

События этих дней еще более обострили раскол в партии. Левые коммунисты жили надеждой на то, что завтра вся Европа встанет на защиту России, но Европа молчала. Может, это случится послезавтра?

Ленин тоже считал часы.

Еще день-два, и Петроград может пасть. Ленин и его соратники много говорили о том, что они готовы отступать до Урала. Но Ленин отлично понимал, что отступать до Урала они будут без него. Он перестал быть непререкаемым авторитетом для ЦК, завтра партия его сбросит. 23 февраля Германия прислала новый ультиматум: очистить всю Украину и Финляндию, не говоря уж о занятых немцами территориях. Это был к тому же блеф, германская армия уже выдохлась. Но она еще наступала и могла пугать.

Ленин заявил, что, если германские условия не будут приняты, он уйдет в отставку.

Троцкий выступил после Ленина и, вернее всего, по соглашению с ним, заявил, что он остается на старых позициях, но голосовать за войну не будет. Сталин высказался Туманно:

«Договор не подписывать, а вести мирные переговоры». Дзержинский и Йоффе выступили против Ленина, но не стали голосовать за войну, чтобы не расколоть партию.

В тот день Ленин снова победил. После этого Троцкий подал в отставку с поста наркоминдел, за ним подали в отставку еще пять наркомов. Зиновьев просил Троцкого остаться, чтобы не сорвать подписание мирного договора. Сталин попросил слова и, обращаясь к Троцкому, сказал, что испытывает боль по отношению к товарищам, которые уходят со своих постов, потому что их некем заменить. Троцкий смягчился.

Ленин молчал — он выиграл главный бой.

На следующую ночь в Брест отправилась делегация во главе с Йоффе. Троцкий на позор не поехал.

Ленин не спал всю ночь, а на следующий день все время бегал к телеграфному аппарату узнать, как движется поезд с делегацией. Поезду пришлось простоять почти сутки под Псковом, потому ЧТО он не мог пересечь линию фронта. Ленин бомбардировал поезд телеграммами, выговаривая за медлительность. Ему чудилась измена. Он боялся, что немцы передумают и не подпишут договора. Но страхи его были напрасными. Немцы не двигались к столице — они с таким же нетерпением ждали русских. А Ленин этого не знал.

Мирный договор был подписан 3 марта. Подписали его с обеих сторон второстепенные персонажи. 6 марта собрался чрезвычайный съезд партии, чтобы ратифицировать мирный договор.

На съезде набралось всего лишь около ста делегатов, причем меньше половины с решающим голосом — ни о каком кворуме и речи не было, Ленин назвал договор передышкой и провозгласил его как спасение республики и революции. Его громили все и как могли. Бухарин открыто смеялся над «передышкой», которая нужна только немцам и которая приведет к срыву революции в Европе. Урицкий требовал отказаться от ратификации. Бубнов утверждал, что договор предательский удар по мировой революции. Радек назвал политику Ленина неприемлемой и невозможной.

Рязанов считал договор изменой по отношению к русскому пролетариату. Ленин пытался свалить вину за затяжку и неудачи на Троцкого, но тут же выступил Свердлов, который заявил, что это клевета и Троцкий точно выполнял все указания ЦК.

Ленин был недоволен Свердловым. В нем, а не слишком ярком Троцком, который не умел держаться за посты и почести, он вдруг почувствовал соперника. И это было странно даже самому Ленину, потому что не было более тихого, обходительного исполнительного канцеляриста, чем Свердлов. Но сегодня он показал Ленину когти. 11 марта началась эвакуация правительства и всех учреждений из Петрограда в центр России, в Москву. Это было объявлено временной мерой. Но в России нет ничего более постоянного, чем временная мера.

За два дня несколькими эшелонами под охраной латышских стрелков руководство партии и правительства переместилось в центр России.

В Германии, в надежде на украинское сало, началась подготовка к наступлению на западном фронте. К последнему и решающему!

В Берлине постепенно заглохли стачки, совет старост был разогнан, и сами рабочие старосты были отправлены на фронт. Либкнехт и Люксембург остались в тюрьме.

Ленин спас себя, Ленин отсрочил гибель кайзеровской Германии. Погубил ли он мировую революцию — вопрос открытый. Впрочем, надо признать, что основные поставки товаров и зерна шли с Украины, которую за полгода немцы и австрийцы умудрились основательно ограбить.

## Глава 2

Февраль 1918 г.

Утром семнадцатого февраля, когда немецкие разъезды, ожидавшие, пока мимо Киева на восток проследуют чешские эшелоны, показались на окраине столицы, на четырех моторах к Владимирскому спуску промчалось правительство большевиков.

Во втором авто, вжавшись в сиденье, опустив на нос шляпку, таилась Евгения Бош, рядом крепко и нахально сидел военный комиссар, коренастый усатый Шахрай, скалился белыми без червоточины зубами и повторял:

— Мы вернемся, вернемся, мать вашу! Мы вернемся и покажем мать вашу!

Правительственный кортеж, если так можно сказать о беглецах, обгонял телеги, фуры, автобусы, шарабаны, груженные нужным добром, что вывозила армия и партийцы, которым негоже было оставаться при немцах. У моста машины обстреляли, охрана из заднего мотора открыла огонь по засаде, в перестрелке ранило Скрыпника, но не сильно, в плечо. Это было боевым крещением.

За Днепром Евгения Бош ожила, выпрямилась, стала смотреть по сторонам, а когда Дарница осталась позади и машины запрыгали по мерзлой грязи разбитого тракта, она затеяла громкий спор с Шахраем о тактике большевиков на текущий момент. Бош склонялась к позиции левых большевиков: «Революционная война с Германией, которая неизбежно перерастет в мировую революцию». В Броварах правительство ожидал специальный поезд.

###### \* \* \*

Доктор Вальде пошел провожать Берестовых на вокзал.

Андрей просил его не ходить, опасно, но Вальде только отмахивался. Если девочке не опасно, почему должно быть опасно старому тюфяку? Вальде сам отыскал извозчика и помог одеть и свести вниз Лидочку. День был холодный и сырой, а Лидочка еще слаба — Вальде опасался возвратной пневмонии.

Но на вокзале Лидочка была предоставлена самой себе, потому что Андрей тащил чемодан, а доктор Вальде мешок с провизией — говорили, что в Москве голодно, продукты выдают по карточкам.

Когда они проталкивались на перрон, доктор тоскливо предсказывал:

— Вот увидите, увидите, что они продали кому-то еще билеты на ваши места.

Поторопитесь, господа, единственная наша надежда — успеть первыми и выставить острые коленки.

Поезд еще не подали, но перрон был набит народом. Среди тысяч людей не было никого с пустыми руками, и потому передвигаться в толпе было немыслимо, и тем не менее все передвигались. Толпа находилась в движении, так как люди стремились заранее занять места у входа в свой вагон. Но каков будет порядок вагонов в поезде, никто не знал, по перрону непрестанно проносились слухи, и тогда, подхватив тюки и чемоданы, пассажиры устремлялись вдоль перрона, чаще всего навстречу таким же, как они, бедолагам, поддавшимся другому слуху.

Железнодорожники показали себя изысканными садистами и в одно мгновение лишили смысла всю беготню, так как состав был подан на четвертый путь, и вся гигантская толпа, давя детей и стариков, рванулась на пути, под вагоны товарного поезда, мирно стоявшего на третьем пути, отрезав дорогу к цели.

Доктор Вальде велел Андрею бежать вперед, оставив вещи, и постараться занять купе, благо он молод и скор. Андрей подчинился, но его усилия чуть было не пошли прахом, потому что дверь в вагон была заперта, и проводник не намеревался показываться буйной толпе.

Дверь отворилась, когда Вальде с Лидочкой, запыхавшись, влились в небольшую, но тесную толпу, что бушевала у мягкого вагона. В проеме, как на сцене провинциального театра, появился главный герой проводник: небритый рыжий тип с пышными нечесаными бакенбардами. Почему-то он сначала, не боясь простудиться, красуясь, почесал живот под распахнутой путейской тужуркой, а затем, словно не слыша народного возмущения, откинул железную приступку, чтобы открыть ступеньки, ведущие в вагон. Вид его был столь строг, что толпа, рванувшаяся было в вагон, замерла, ожидая дозволения.

— Попрошу билеты, сволота, — мирно сказал проводник. — У меня мягкий вагон, а не теплушка. Без билета никто не войдет.

Еще вчера он был послушным и терпеливым лакеем, не смевшим высказать грубость даже самому смирному из пассажиров. Теперь он — распределитель счастья, а то и жизни людей, для которых поезд из средства путешествовать из города в город превратился в спасательную шлюпку тонущего «Титаника».

Андрей сделал движение вперед — словно дело происходило в мирное время — и протянул проводнику билеты, и тот, благоволя к Андрею за то, что тот согласен выполнять правила игры, развернул билеты, прочел то, что положено прочитывать проводнику, и, возвратив их Андрею, произнес:

— Купе четыре. Я потом зайду, если чаю принести.

Проводник издевался над толпой и этими словами как бы превысил свои полномочия — сдержанный гул сопротивления разразился криками, и Андрею пришлось тащить Лидочку наверх — проводник помогал ему, отбиваясь от толпы. Все обошлось — повезло, что они были первыми, и даже чемодан и мешок пронесли в купе без помех.

Купе поразило бывшим великолепием и нынешним упадком, Андрею с Лидой еще не приходилось ездить в мягком вагоне — не только из-за дороговизны, но и потому, что в их кругу это не было принято. Так что для них увиденное было в новинку. Купе оказалось просторным, как настоящая комната. Его стены были обтянуты бежевым атласом с выдавленным на нем узором в стиле модерн, а кресло и оба дивана были обтянуты рыжим бархатом. На стенах красовались овальные зеркала, а на откидном столике возвышалась лампа на бронзовой витой ноге. Но... атлас стен был в пятнах различного размера, формы и оттенка, скорее всего на стены плескали супом, вином и жидкой кашей с одной стенки атлас пытались срезать, правда, похитителям удалось лишь исполосовать материю. Зато с диванами и креслом им повезло куда больше — так что железнодорожникам пришлось накладывать на мебель заплаты из желтого сатина. Одно из овальных зеркал было разбито, второе только треснуло, абажур лампы пропал, и из патрона торчала оплывшая свеча. Пол был сырым и затоптанным так, словно по нему прошагал выходивший из Пинских болот полк солдат. Но главное из худшего заключалось в том, что в купе было подвально, безнадежно холодно, как в помещении, не топленном уже много дней, отчего в воздухе законсервировались и сохранились отвратительные запахи папиросных окурков и пьяной изжоги.

Но в тот момент Берестовы были счастливы тем, что проникли в поезд, и потому склонны либерально относиться к неудобствам быта. Зная заранее, что лишь один из диванов принадлежит им, Андрей убрал в багажную сетку мешок с продуктами и поставил чемодан за диван. Лидочка подошла к окну, за которым, отступя от почти не поредевшей толпы, ожидал доктор Вальде, Увидев в окне Лидочку, толстый доктор обрадовался и стал, припрыгивая, писать пальцем в воздухе какие-то непонятные каракули, а Лидочка кивала, соглашаясь с ним, и догадывалась, что таким образом он просит ее не забывать писать письма, а сам обещает также сообщать обо всем из Киева.

За спиной Лидочки взвизгнула, отъезжая, дверь.

В купе один за другим протиснулись два человека.

Первым вошел сухой энергичный усач с пышным чубом из-под солдатской папахи, в солдатской же шинели и скрипучих офицерских сапогах на высоких каблуках, чтобы прибавить роста. Он был офицером бравым и гордым, хоть и старался безнадежно выдать себя за солдатика. Весь багаж поручика, как про себя назвала его Лидочка, состоял из потертого баула.

— До Москвы? — спросил усач, прошел к свободному дивану и поднялся на цыпочки, чтобы положить баул на багажную сетку.

Следом за ним появился среднего роста, красивый, весьма пожилой человек с аккуратно подстриженной волнистой седой бородой, крупным, с горбинкой, носом и живыми карими глазами. Этот господин втащил немалого размера тяжелый чемодан рыжей кожи, обтянутый ремнями, — и странно было, как же он может путешествовать среди грабителей и воров, не опасаясь демонстрировать свое благополучие. А благополучие старика не ограничивалось чемоданом. Его черная шуба была подбита мехом, а шапка была бобровой. По мнению Лидочки, старик должен был заговорить вальяжно, картинно, адвокатски, наверное, он — присяжный поверенный.

Андрей вскочил, чтобы помочь старику устроить свой чемодан, а старик заговорил со смешным украинско-еврейским акцентом, стараясь объяснить будущим попутчикам, что у него есть билет в мягкий вагон и за все заплачено, и он не будет им обузой или помехой. Усач сначала сделал вид, что весь диван принадлежит ему, но за старика вступилась Лидочка. Усач сдался и освободил для старика половину желтого дивана.

Затем они все вместе втолкнули стариковский чемодан на багажную полку, и усач спросил:

— Вы там возите кирпичи или только сало?

— Там все есть, — сдержанно ответил старик. Усач ему не нравился, но старик был с ним подчеркнуто любезен, как христианин в клетке со львом.

Лидочка подошла к окну и выглянула наружу. Перрон был все так же заполнен подвижной толпой — над головами, покачиваясь, как в шторм, плыли чемоданы, тюки и корзины, словно выдавленные наверх тестом толпы. Сквозь толстое стекло гул толпы доносился приглушенно и невнятно.

Одноглазый мужчина в съехавшей на ухо шляпе встретил взгляд Лидочки и поднял вверх руку в митенке, показывая, что Лидочка должна опустить стекло и впустить человека в купе. Лидочке стало страшно от настойчивости взгляда и ярости человека, она отступила в глубь купе и закрыла занавеску. В дверь постучали, усач сказал:

— Не открывайте, у нас билеты!

Стучали и в окно — Лидочке показалось, что это одноглазый достал до стекла и молотит по нему, надеясь разбить.

— Скорее бы уж поехали, — сказала Лидочка.

— Что у нас с оружием? — спросил усач.

Ему никто не ответил. Оружия не было.

— Я вам так скажу, хлопчик, — заявил старик, — в наши дни лучше не иметь оружия, особенно если ты еврей. Так, может, и не убьют, а если с револьвером, то я вам обещаю, что загинете обязательно.

— Я не еврей, — сердито сообщил ему усач.

Дверь сотрясалась от ударов. Усач решительно подошел к ней и откинул задвижку.

Дверь сразу отлетела в сторону, и в проеме образовалась пьяная рожа — Лидочка успела лишь заметить, что в коридоре копошится влившаяся туда с улицы толпа, которая, как и положено жидкости, норовит затопить все еще свободные от человеческих тел и чемоданов места.

Андрей, увидев, как толпа рванулась в купе, постарался закрыть собой Лидочку, старик — почему-то Лидочка успела это заметить — сидел на диване, уронив руки на колени и закрыв глаза. Усач один сражался в дверях, кричал что-то угрожающее, Тыкал в рожи кулаком, и почему-то ему удалось вытолкнуть нападающих. Лидочка не сразу сообразила, что же произошло, — поезд наконец-то решился, дернулся, растянулся и сжался громадной гармошкой, свалил тех людей, что неустойчиво покачивались в коридоре, и перед дверью образовалась секундная пустота — ровно настолько, чтобы усач успел задвинуть дверь, забросить на место крюк и, обернувшись к остальным, произнести, перекрывая все растущий шум колес:

— Больше дверь не открывать. Пока все не успокоятся.

— Извиняйте, хлопчик, — тут же кинулся в спор старик, — а если человеку надо до ветру, то он должен терпеть?

— Вот именно! — радостно ответил усач. — И если сомневаетесь, то можете пойти погулять по коридору. Ха-ха-ха-ха-а-ха! — Он ухнул раскатистым смехом, как ухали, насытившись человеческой кровью, уэллсовские марсиане в «Войне миров».

А колеса поезда все чаще стучали о стыки рельсов, как будто это был самый обыкновенный поезд, и сейчас им принесут горячий душистый чай с печеньем или бубликами — и сахар будет в стеклянной глубокой сахарнице, колотый, словно мрамор.

Откуда-то снизу потянуло холодом — холод отгонял в сторону нагретый дыханием воздух, и с каждым содроганием вагона в нем раскрывались щели, и снаружи, из светлого морозного дня, в давно не топленый вагон забегал сердитый мороз.

Этот враг оказался куда более зловещим, чем коридорные люди, — впрочем, им там, в коридоре, было чуть теплее, так как они сидели, тесно прижавшись друг к другу.

Если они не дураки, подумала Лида, то они больше не будут рваться в купе, так как здесь хуже, чем в коридоре.

— Кильки ж нам, простите, ехать? — спросил старик. — Я, конечно, не возражаю, но паненка очень скоро отдадут богу душу.

Андрей раскрыл чемодан и достал оттуда толстые шерстяные носки для Лидочки, потом заставил ее натянуть его фуфайку. Лидочка отказывалась, но Андрей призвал на помощь остальных мужчин, объяснив им, что Лидочка попала в поезд прямо из больницы, где лежала с пневмонией.

Старик начал покачивать головой, как китайский болванчик, а потом попросил, чтобы усач подсадил его, раскрыл чемодан и достал оттуда шерстяную шаль — оказывается, старик вез эту шаль в подарок невестке, которая ожидала его в Петербурге. Старика звали Давид Леонтьевич, он был состоятельным арендатором в Херсонской губернии — на землях у него сидели евреи-землепашцы, потому он жил в достатке и дал образование детям. Недавно его жена померла, остался он один — дети разлетелись. Чуя, какие грозные времена наступают на юге, Давид Леонтьевич отправился через всю Украину и Россию в Петербург к старшему сыну, который служил по важному департаменту. Старик давно не видел внуков — вот решил, что переедет на север, будет заботиться о внуках, а сын подыщет ему хорошее место.

Старик рассказывал неторопливо, порой повторяя фразу, если ему казалось, что молодые люди или поручик его не поняли.

Поручик оказался сотником. Он так представился попутчикам:

— Сабанеев. Бывшего Уссурийского войска сотник.

Поезд тем временем пошел медленнее, он перебирался через длинный мост, который вел на левый берег Днепра — Днепр был покрыт льдом, на льду сидели редкие рыболовы, стерегли свои лунки, с островов ветром сдуло снег, и обнажился охристый песок. Закутанная Лидочка все равно мерзла. Она старалась удержать кашель, но ее более беспокоило то, что нос ее покраснел и даже распух из-за жгучего слезливого насморка.

Лидочке хотелось забиться в уголок, накрыться чем-нибудь и надышать под одеяло, как она делала в детстве, Но в купе не было одеял, и накрыться было нечем.

— Предлагаю немного обогреться, — сообщил сотник Сабанеев, — Вхожу в долю.

Он снял с багажной сетки свой баул, поставил на столик возле свечи, щелкнул замком и вытащил оттуда длинношеюю бутылку с мутной жидкостью — самогоном.

Поставил на столик.

— Золотая валюта, — сообщил он. — По степени влияния наравне с пулеметом системы «Максим. Согласны?

Никто с ним не спорил.

Сабанеев обратил свой взор к чемодану старика, но Давид Леонтьевич, угадав, конечно, смысл взгляда, поспешил с ответом:

— У меня в чемодане все упаковано, вы даже не представляете. А для того, чтобы в дороге поснидать, у меня торбочка.

Торбочка лежала в углу за диваном. Она была невелика и обвисла, словно пустая, но это было ложным впечатлением — на самом деле в торбочке было полбуханки хлеба и шмат розового сала с бурыми прожилками копченого мяса.

— Вот это правильно, — поощрил старика сотник. — Потому что нашей даме Лидочке нужна не только выпивка, но и пища — сытый организм не мерзнет и не страдает. Я вам как фронтовик это говорю.

— Мы сейчас, — сказал Андрей и, положив на диван чемодан, хотел его открыть, но спутники не велели, уверяя, что молодым людям их запасы пригодятся в Москве.

Берестовым надо устраиваться. И неизвестно, где и как, — об этом соседи по купе уже знали.

Все же Лидочка достала крымский лиловый лук и свежий хлеб — конечно же, Давид Леонтьевич и Сабанеев о хлебе забыли.

Сабанеев уговаривал Лидочку выпить сразу стакан самогона — у него был с собой специальный стакан, дорожный, серебряный, поменьше стеклянного, «Ох из него попито, ох и попито!» — почему-то сокрушался сотник. Давид Леонтьевич как человек непьющий не возражал, что Лидочке надо маленько выпить, стакан пить целиком не велел — та ты что ж, дитятко!

Лидочка так закоченела, что надеялась на самогон как на горькое лекарство — словно не замерзала, а мучилась головной болью.

Пили из одного стакана по очереди. Лидочка изумилась тому, какое жгучее, невкусное, вонючее лекарство ей досталось. Потом выпили по второму разу — Сабанеев настаивал, даже Давид Леонтьевич оскоромился, второй стаканчик выпил покорно.

Час простояли на каком-то пустынном разъезде. И тогда внизу за окном, мимо голых деревьев и проплешин серого снега проходили вооруженные винтовками солдаты в папахах с красными лентами наискосок. Некоторые люди из коридора, которым нечего было терять, вылезали из вагонов. Лидочка, выглядывая из-за занавески, видела, как согнутый мужичок с волосами, как у дьячка, собранными в косицу, держа в руке алюминиевый чайник, спрашивал у солдат о кипятке, а те гнали его обратно в вагон.

Сабанеев разлил еще по половинке стакана. Лидочка пить не смогла, только пригубила. Внутри нее уже было тепло и уютно — путешествие казалось совсем не таким страшным, как описывали его сестры милосердия в больнице. Завтра утром они уже будут в Москве.

Давид Леонтьевич стал рассказывать про свою семью. Он выбрал в слушатели Андрюшу.

Вытащил из пришитого изнутри к поле пальто кармана кожаный бумажник — в нем было несколько фотографий. Старик показывал их Андрею одну за другой и поименно перечислял родственников. После пятой фотографии Андрей уже знал в лицо всех трех детей Давида Леонтьевича, покойную его супругу, внучат и племянников.

— За освобождение нашей великой России от большевистской заразы! — поднял стакан Сабанеев. Как маленький человек, не имевший большого веса, в котором мог бы раствориться алкоголь, он быстро опьянел. — Всех на столбы, па-прашу!

Он залез в свой баул и достал оттуда револьвер. Стал делиться из него в окно.

Лидочке он стал неприятен, а старик сразу замолчал, стал собирать и спрятал семейные фотографии.

— Вот сейчас, — сказал Сабанеев. — Сейчас я им покажу!

Стало слышно, как на станцию въезжает состав. Состав был смешанный — Лидочка насчитала в центре три классных вагона, а остальные были теплушки и платформы.

На платформах стояли автомобили, и возле них, сжавшись в тулупах, замерзали часовые, Поезд замедлил движение, почти остановился.

Лидочка осталась у окна, забыв, что видна снаружи.

Солдаты с винтовками шли между составами, поглядывая на окна.

Начало мести, и снег струился между составами, там тянуло, как в трубе.

Напротив Лидочкиного окна оказалось окно мягкого вагона. У окна стояла женщина средних лет, худая, гладко причесанная, усталая и жестокая лицом. Как учительница чистописания, которая не любила детей и била их, если ты написал неправильную букву.

Женщина тоже увидела Лидочку и посмотрела на нее внимательно, как бы запоминая, чтобы потом наказать. Лидочка поняла, что знает эту женщину, видела ее недавно.

И через секунду вспомнила — это была начальница всех большевиков Евгения Богдановна Бош. Она совсем недавно проезжала в открытом моторе по Киеву, под окнами лечебницы, в которой томилась Лидочка. Мотор ехал медленно, за ним двигался броневик, и скакали кавалеристы. А теперь товарищ Бош тоже бежала из Киева.

Товарищ Бош оглянулась к кому-то, невидимому Лидочке, и ее губы зашевелились.

Холодный воздух ринулся у лица Лидочки — это сотник Сабанеев появился рядом.

— Ага! — воскликнул он радостно. — Кого я вижу! Госпожу большевичку номер один.

Ать-два — и не будет госпожи большевички.

Лидочка догадалась, что он хочет сделать.

— Нет! — закричала она, повернувшись к Сабанееву. Револьвер тяжело и тускло поблескивал в его руке. — Не смей!

Не думая о том, что это опасно, Лидочка ударила его по руке.

Андрей с опозданием в секунду кинулся на Сабанеева сзади, схватил за шею и потащил назад.

Громко звякнул, ударившись о пол, револьвер.

— Ай, какая беда, какая беда! — закричал старик.

Лидочка снова обратила взгляд к окну.

Товарищ Бош прижала лицо к стеклу, всматриваясь в глубину купе, будто стараясь увидеть в его темноте и глубине угрозу, — успела ли она увидеть Сабанеева?

А рядом с ней почему-то стояла Маргошка, старая подруга, Маргарита Потапова, веселая бесшабашная Маргошка.

Лидочка так обрадовалась неожиданной встрече с подругой, след которой давно уже потеряла, что замахала рукой, вовсе забыв о том, что происходит сзади.

В этот момент поезд, увозивший на восток товарища Евгению Бош и ее правительство, дернулся и начал набирать скорость. Поезд спешил к Харькову, большевики надеялись удержаться в Слободской Украине, опираясь на Донбасс, чтобы иметь базу, когда немцы уйдут. Тогда надо будет опередить очередную Украинскую Раду.

Сабанеев сидел на диване, тяжело дыша. Давид Леонтьевич нависал над ним, размахивая подобранным с пола револьвером.

— Хлопчик, — говорил он. — Вы, конечно, вольная птаха и имеете право на смерть, Но здесь Лидочка с Андрюшей. Вы о них думали? Вы желаете их молодую жизнь погасить, как свечу?

Правительственный поезд разогнался, и мимо пролетали окна вагонов — потом пошли теплушки... Они смотрели на поезд зачарованно, вдруг забыв о скандале. Вот и конечные платформы. Одна с мешками с песком, вторая с корабельной пушкой длинной, задранной дулом почти к небу.

— Если они успели увидеть, — сказал Андрей, — то сообщат на ближайшую станцию.

Или даже на эту. Надо выкинуть ваш револьвер.

— И не надейтесь, студент! — вскинулся Сабанеев и рванулся, желая вырвать револьвер у Давида Леонтьевича. Но тот отступил на шаги поднял руку с револьвером. Так что Сабанеев, будучи пьян, промахнулся и не удержался на ногах.

Андрей подхватил его и снова посадил на диван.

— Я думаю, что они видели оружие — сказала Лидочка.

— Вы как хотите, — сказал Давид Леонтьевич. — Но считайте это купе как чумной барак. Я отсюда ухожу, чтобы остаться живой, потому что когда придут искать покусителя, то сразу арестуют старого еврея.

— У тебя сын большевик, — сказал Сабанеев.

— Конечно — согласился Давид Леонтьевич. — Он приедет ко мне на похороны и даже закажет венок из живых роз — вы не представляете, как они будут пахнуть!

— Дурак! — сказал Сабанеев. — Им оттуда ничего не увидеть — я же к окну не подходил.

— Подходили — возразила Лидочка. — И даже делились.

— И жалею, что не выстрелил, упрямо сказал сотник.

— Вы как желаете, — сказал Давид Леонтьевич, — а я ухожу.

Он двинулся к двери.

— А чемодан? — ехидно спросил протрезвевший сотник.

— Чемодан? Чемодан останется здесь, а я буду без чемодана, но живой, — ответил старик.

— Не надо! сказал сотник. — Я виноват, виноват! Я уйду. Я уйду и посижу в тамбуре. А вы меня не видели. Отдайте оружие, Давид Леонтьевич!

Старик посмотрел на Сабанеева, склонив голову, а затем, соглашаясь, произнес:

— Если все обойдется, то возвращайтесь часа через два. А револьвер я советую вам, хлопчик, выкинуть.

— Это я решу.

Лидочка подумала, что правила хорошего тона велят ей отговаривать Сабанеева, оставить его в купе. Но она промолчала.

Сабанеев открыл свой баул, вытащил оттуда какие-то бумаги, сунул их под шинель, затем засунул револьвер в карман шинели — если у тебя револьвер, то нужно его носить так, чтобы можно при нужде его достать.

— Не поминайте лихом, — сказал он, подходя к двери.

— Может, обойдется? — неуверенно сказала Лидочка.

— Риск не нужен ни вам, ни мне, — многозначительно произнес Сабанеев, становясь выше ростом.

Поезд уже тронулся и медленно, толчками, наращивал скорость. Сабанеев открыл дверь в коридор, и Лидочка внутренне сжалась, ожидая, что оттуда внутрь хлынет толпа.

Но ведь прошло уже несколько часов с тех пор, как они покинули Киев, и люди кое-как притерлись, отыскали себе места в коридоре не хуже тех, кто таился в купе, — в коридоре было даже теплее, потому что люди там жили вплотную друг к другу.

Сабанеев постоял с минуту, глядя в обе стороны вдоль коридора, рассуждая внутренне, куда и как идти, потом сказал, не оборачиваясь:

— Заприте дверь. — И добавил шепотом: — Стукну три раза.

Дверь снова закрыли, Андрей и Лидочка устроились на своем диване и накрылись всем, что у них было. Напротив на диване сидел Давид Леонтьевич, накрывшись шалью, как талесом, он покачивался, клевал носом в такт тряске вагона и как будто дремал.

— Что же делать, деточки, — сказал он вдруг. — Я же через Херсонщину шел. Ну ладно, меня с рук на руки верные люди передавали, но я же видел, что такое паи Нестор Махно с чоловиками вытворяет. Какой душегуб и изверг...

Лидочка сидела, прижавшись к Андрею, закутавшись в его тепло, и старалась не слушать старика, который рассказывал о каком-то атамане батьке Махно, видно, особом садисте, грабившем еврейских арендаторов и немецких колонистов. Этот батько имел приближенных анархистов, черное знамя и собственные деньги...

Батько Махно был далеко, а Лидочка прислушивалась — нет ли шума в коридоре, не идут ли к ним солдаты с ружьями, которые будут искать сотника, что делился в саму Евгению Бош и Маргариту Потапову, почему-то оказавшуюся рядом с ней в правительственном поезде большевиков.

— Вы бывали в Яновке? — спросил Давид Леонтьевич. — То ж гарно место, колония Громоклей. И какие там соловьи поют, вы не представляете. Моя покойная супруга Анна, — продолжал Давид Леонтьевич, — всегда мне говорила, Давид...

В голове шумело и Лидочка задремала — она была пьяна. Заснуть глубоко она не смогла — все время одному боку было холодно, она крутилась, мешала Андрею, тот ее терпеливо баюкал.

Во сне Лидочка не услышала, как вернулся Сабанеев и стал говорить, что ему надо было бы выстрелить. Все большевики продались немцам, и сейчас они в Брест-Литовске окончательно продают родину за тридцать сребреников. Вот скоро в Киев войдут тевтонцы...

Лидочка проснулась, когда заговорил Андрей. Он стал спорить с замерзшим Сабанеевым, который налил себе полный стакан самогона и забыл уже, в чем винил большевиков и евреев. Главное, утверждал он, ссылаясь на неизвестного остальным Петра Николаевича, впустить на Украину германцев. Как это ни неприятно — нашествие тараканов можно остановить временным потопом. Придут немцы и уничтожат большевистскую заразу, а потом немцы уйдут, потому что мы их выгоним, но уже не будет и большевиков. Андрюша обвинил Сабанеева в том, что он сам рассуждает как большевик, и Сабанеев обиделся. Он стал нести что-то о ликвидации украинского национализма с помощью немецкой военной машины — ведь надо быть хитрым, как змеи, и использовать одних врагов против других. Этим всегда была сильна Русь. Лидочка старалась вспомнить, каких врагов Русь натравливала на других врагов, но спящая голова отказывалась искать виноватых.

Когда Лидочка открыла глаза, в купе было почти совсем темно — значит она проспала долго, — может, они приближаются к Северному полюсу? А на северном полюсе царит вечная ночь... Она замерзла, и Андрюша уже не согревал — видно, и сам растерял тепло.

— Россия любит крепкую руку! — услышала она монотонный, но визгливый голос Сабанеева. — Тевтонец придет, выпорет кого надо, повесит смутьянов, вы меня понимаете?

В полутьме Давид Леонтьевич, который сидел на диване рядом с Сабанеевым, казался заснувшей птицей с картинки Бёклина.

Он зашевелился, просыпаясь, и вдруг вполне спокойно и трезво, будто и не спал вовсе, произнес:

— Вы глубоко ошибаетесь, господин сотник. Или большевики — немецкие шпионы и потому отдают им Россию, либо вы со своим Петром Николаевичем — немецкие шпионы, потому что зовете их на Украину.

— А вы бы помолчали! — обиделся Сабанеев. — Вам, евреям, все равно — у вас нет родины, ваша родина — где платят побольше.

— Не надо меня оскорблять, господин сотник, — сказал Давид Леонтьевич. — Мы уже сто лет как пашем землю в этих краях.

— Ах, я не о вас! В каждом племени есть исключения.

— Нет о нас! Еще как о нас. Потому что я тоже имею политические воззрения. Я стою за мир без аннексий и контрибуций, как говорит господин Ленин. Мы, евреи, очень утомились от аннексий и контрибуций.

— Это позорный мир!

— Мир, — ответил старик, и в темноте его борода как будто чуть светилась серебром, — не бывает позорным. Мир — это когда люди живут сколько им положено и делают хлеб.

— Лучше смерть, чем мир с гуннами! — спорил Сабанеев. Он курил, и когда затягивался, из темноты выплывали его глаза, нос и усы.

Зачем же тогда ваш Петр Николаевич так хочет с ними замириться?

— Не замириться, голова седая, а использовать их в своих интересах. Ради освобождения России от большевиков.

— А если Ленин хочет их использовать для своего дела, то кто же предатель?

— Вот именно! — почему-то обрадовался Сабанеев, будто отыскал неотразимый аргумент. — У Петра Николаевича цель благородная. Понимаете — благородная!

Возвышенная! Ау этих жидовских сволочей — подлая! Они же хотят Россию продать вот какая цель. Да я бы всех перевешал собственными руками!

Сабанеев зафыркал носом. Лидочка скорее угадала, чем увидела, как он растирает носком сапога окурок.

— Не дай бог, господин сотник, — оставил за собой последнее слово Давид Леонтьевич. — Не дай бог вам заняться таким нехорошим делом!

Сабанеев не ответил.

И сразу стало слышно, как стучат колеса, вноси трезвость и успокоение в промозглый и страшный мир, таящийся за окнами, за дверью и даже проникший внутрь купе.

И Лидочка задремала вновь.

###### \* \* \*

Несколько раз за ночь поезд останавливался, один раз он стоял долго Андрей просыпался и видел за окном все тот же тусклый желтый фонарь. Потом поезд начинал дергаться, никак не мог оторвать колеса, примерзшие к рельсам, все же отрывал их и начинал с трудом проворачивать и все быстрее разгоняться, пока стук колес не становился ровным, мирным и убаюкивающим.

И тут Андрей проснулся от страха.

Он знал, что страшно, хотя еще ничего не понимал.

То ли чувство страха родилось оттого, что поезд затормозил резче, чем обычно, — словно натолкнулся на стену и безуспешно старался продавить ее грудью. То ли крики снаружи — из холода начинавшегося рассвета были более враждебными и резкими, чем раньше.

Но Андрей не пошевелился. Он чувствовал грудью и животом, как дышит, как спит, пригревшись, Лидочка.

Поезд дернулся словно из последних сил. Прополз еще с аршин и замер.

Паровоз выпустил дух.

Сразу стало очень тихо, И Андрей, все еще не осознавая причины страха, подумал, что, может быть, поезд остановился в поле, где никого нет, чтобы починить что-то или загрузить уголь... Такие мысли рождаются только во сне.

И чтобы разрушить иллюзии — тут же обвалом, нахально обрушились звуки рассветной замороженной станции.

Голоса перекатывались, стучали словами, пели фразами, слышен был звон, треск, стук — будто неподалеку работала мастерская.

Послышался близкий скрежет, и Андрей догадался, что открылась примерзшая дверь в вагон.

А голоса скопились возле нее, они еще были невнятны и неразличимы, но Андрей уже понял, отчего ему страшно: от понимания того, что вагон с этой секунды перестал быть убежищем. И их купе, запертое, — на самом деле лишь частичка холодного мира, выделенная из него тонкими фанерными перегородками — ударь посильнее прикладом, и эти перегородки разлетятся. Убежища не существовало. Это был обман, мышеловка.

Надо скорее бежать и скрыться с Лидочкой в лесу, в кустах, в каком-нибудь настоящем доме... Андрей не шевелился, застыв и колдуя: вот сейчас Некто пройдет мимо их купе и подумает: чего я тут не видел? Пойду дальше.

И в то же время он бормотал под нос:

— Это, наверное, пограничники, потому что должны же быть пограничники, когда мы приехали до России, как вы думаете, это пограничники и они проверяют документы, да?

Сабанеев протянул Андрею конверт — светлый, узкий — и сказал повелительно:

— Здесь ничего нет, кроме личного письма. Если со мной что-то случится, отнесите.

Это моя мама. Вы поняли? Это моя мама!

— Почему вы тогда отдаете? — спросила Лидочка, оправляя пальто.

— Я не отдаю. Это лежит здесь, — сказал зло Сабанеев. Он кинул конверт на багажную полку, к стенке, с глаз долой. — Если эти сволочи что-нибудь со мной сделают, вы отнесете, ясно?

Он хотел было продолжить, но ему было неудобно — старик притиснул его к столику.

И тут дверь дернулась — кто-то сильно ударил по ней.

— А ну! — закричали оттуда весело и громко. — Чего заперлись? Открывай, мировая буржуазия!

— Я же говорил, — сказал старик, спеша открыть дверь. — Я же говорил.

Дверь открылась, и солдат в серой папахе, с наганом, ввалился в купе и втолкнул глубже Давида Леонтьевича.

А тот, как бы произнося заготовленную фразу, протягивал солдату свой бумажник и громко говорил:

— У меня есть все документы, господин пограничник, — можете убедиться. Все документы в порядке.

В дверях появился фонарь летучая мышь». Он покачивался наверху, на вытянутой руке. Андрею хотелось выглянуть наружу и понять, что же происходит в коридоре и как этим людям удалось столь быстро пробиться к их купе, преодолев завалы из мешков и чемоданов.

Из коридора доносились нестройные звуки, скорее не крики, а вой, прерывающийся трелями и хлюпаньем совсем звериным.

Еще одно лицо выдвинулось в пределы света фонаря. Это было тяжелое скуластое лицо с пятнистой розовой, обожженной кожей. Человек был в кожаной тужурке самокатчика и в кожаной же фуражке без кокарды.

Обожженный был деловит и напорист — он вырвал у солдата бумажник Давида Леонтьевича, короткие пальцы другой руки шевелились в воздухе, призывая остальных отдать документы.

Андрей вытащил документы — ненадежные, мятые — удостоверение сотрудника археологической экспедиции в Трапезунде студенческий билет, просроченный черт знает когда, бумажку — свидетельство о браке с гражданкой Иваницкой — и Лидочкин паспорт...

Обожженный схватил тонкую стопку бумаг, переложил в другую руку, и требовательные пальцы угрожающе потянулись вперед.

И тут Сабанеев не выдержал.

Оказывается, он не выбросил свой револьвер. Впрочем, и наивно было бы полагать, что он расстанется с оружием.

А сейчас — от страха ли, от смелости, от отчаяния или трезвого расчета — он вытащил сзади — из-за себя — револьвер и закричал:

— Назад, суки! Стреляю!

Андрей отпрянул, хоть и стоял сбоку, — спиной начал теснить Лидочку в угол купе.

Что делал старик — Андрей не увидел, но обожженный ничуть не растерялся — словно ждал именно таких действий Сабанеева. В купе расстояния ничтожны, а людей там скопилось как сельдей в бочке. Сабанеев не мог даже толком повернуться.

Обожженный быстро и ловко ударил по руке Сабанеева снизу, револьвер негромко, но зловеще выстрелил, пуля пошла вверх, разбила верхний край зеркала. И вот уже солдат навалился на Сабанеева — мощной тушей старался задушить уничтожить сотника, и тот хрипло и визгливо взмолился оттуда, из-под ног:

— Пусти, помру!

— Веди его, — приказал солдату обожженный и, пока тот выволакивал из купе обессилевшего Сабанеева, деловито спросил: — Еще оружие имеется?

— Нет, вы же знаете, что нет, — сказал Андрей. И старик поддержал его.

— Мы люди-обыватели, — сказал он. — Этого бандюгу только-только разглядели.

— Пошел, пошел, — приказал обожженный старику, — там и разберемся.

— Как так пошел? У меня есть билет, господин начальник. И все документы в совершенном порядке.

— Пошел, говорю! — Обожженный сердито растирал правой рукой левую кисть — видно, повредил, ударив Сабанеева. — Где вещи?

— Но вы войдите в мое положение, — принялся ворковать Давид Леонтьевич — и Андрей к ужасу своему понял что все слова и уговоры — и даже подарки — обожженного человека ни к чему не приведут, потому что главной радостью для того было уничтожать людей, делать их ничтожными, вытаптывать из них сапогами человеческую сущность, потому что он — человек будущего, человек идущей к власти породы. Но ни объяснить, ни даже сформулировать для себя эти мысли Андрей не смог — да и некогда было: ему пришлось помогать старику стаскивать с полки чемодан — как же он таскал такой по всей Украине? А Лидочка принялась успокаивать старика, который почуял, что ему больше не вернуться в купе, и потому стал плакать и причитать что-то по-еврейски.

Обожженный приказал вернувшемуся солдату:

— Ты смотри, у него там, думаю, пулемет, не меньше! Чтобы ждать меня до полного осмотра!

— Так можно я здесь этим деточкам сальца оставлю? — обреченно спросил Давид Леонтьевич, показывая на Лиду и стараясь таким образом спасти хоть малую толику своего добра. Обожженный облил его таким потоком грязных слов, что старик скис и даже не смог попрощаться с Андреем и Лидочкой. Андрей попытался что-то по-петушиному прокричать обожженному — чтобы он не смел употреблять такие слова при женщине, а Лидочка тянула его за рукав и умоляла:

— Андрюша, помолчи, Андрюша, не надо!

— А вот с тобой разговор особый. — Радостно щерясь, обожженный словно уличил Андрея при допросе и теперь волен его казнить.

Свет фонаря в полную силу уперся в лицо Андрея.

Андрей зажмурился. Он ожидал удара, но удара не последовало. Солдат был занят выдворением из купе Давида Леонтьевича — он тянул чемодан, Давид Леонтьевич цеплялся за чемодан, будто понимал, что расстается с ним навсегда — стоит отпустить его ручку. В таком странном неловком тесном танце они медленно выползали из купе, освобождая пустое пространство, на котором слишком свободно расположились Андрей, Лидочка и обожженный — чем-то знакомый Андрею, как будто он знал его раньше, когда у обожженного были ресницы и кожа на лице.

— А вы чего ждете? — спросил он, когда после шумной паузы солдат и Давид Леонтьевич исчезли из тихой темноты купе, чтобы раствориться в шумной темноте коридора. — Давай выматывайся, сволочь буржуйская!

— Вы не имеете права! — звонко воскликнула Лидочка, не зная даже, что была изобретательницей этого возгласа, повторенного в тот же год миллионами людей, которым не положено было обладать правами.

— Вещи брать с собой! — приказал обожженный.

— Но почему вы нас сгоняете с поезда? спросила Лидочка. — Хоть объяснитесь!

— Вы все тут — Одна банда, — лениво сказал обожженный. — Одна банда. И револьвер у вас изъяли.

— У нас не было револьвера!

— А это что?

Обожженный навел блеснувший под неверным лучом фонаря револьвер на Лидочку, потом на Андрея, снова на Лидочку...

Андрей понимал — в купе им не вернуться. Спрятанный здесь пакет с бумагами Сергея Серафимовича и всеми их деньгами останется под диваном... Впрочем, о чем он думает? Ведь речь идет о жизни Лидочки! Если они найдут этот пакет у него или у нее в вещах — они никого не пощадят. Исписанная бумага — главный враг этих людей. Более всего они боятся исписанной бумаги!

— Живее! — произнес обожженный, негромко, словно не хотел, чтобы его слова доносились до тех, кто прислушивался из коридора. — Живее, а то до утра вас в расход пустить не успеем.

Андрей взял чемодан — он даже не мог оглянуться... Пропустил Лидочку вперед. Она отшатнулась от глаз обожженного — от красных голых век. Обожженный между тем поднял револьвер и направил на висок Андрея. То ли шутил, то ли пугал, то ли на самом деле хотел его убить — Андрей отшатнулся.

— Что вы делаете? — закричала Лидочка — она почувствовала опасность и обернулась.

— А ты иди, не оборачивайся...

Но тут же в коридоре возник новый источник голосов и шума — снова кто-то ругался, матерился, стонал, отбрехивался, — к купе приближались люди. И их появление заставило обожженного замереть с поднятым пистолетом — словно его удивил голос женщины, которая, покрикивая на тех, кто мешал ей, продвигалась по коридору.

Женщина эта возникла в проеме двери. Она была в длинной кавалерийской, но хорошо подогнанной по росту шинели, в заломленной папахе, из-под которой выбивались черные кудри. Она была яркой и смачной — это было понятно даже в сумраке купе.

Ее появление обожженному не понравилось — он принялся размахивать револьвером и велел женщине, которая стояла в дверях, мотать к черту, но та элегантно и весело отвела его руку с револьвером, словно обожженный предлагал ей ненужные цветы.

— Уходите отсюда! — сказала она ему — не крикнула, а сказала. И в этом шуме, криках, топоте ее голос прогремел по замершему вагону. — Вы меня слышите?

Обожженный в запале ничего не понял — он, как соловей, слышал только себя. Он попытался направить револьвер на женщину, и та сказала:

— Мне это надоело, товарищ.

И легонько ударила его по щеке тыльной стороной кисти, затянутой в черную кожаную перчатку.

Разумеется, зрители в деталях этой сцены не видели, Лидочке, стоявшей на шаг сзади Андрея, многое осталось непонятным в первую очередь — куда же делся обожженный. А было просто: женщина наклонилась, скользнула в купе, и на ее месте оказался матрос с золотыми буквами «Воля» по бескозырке.

— Я так беспокоилась, — воскликнула женщина, бросаясь к Лидочке, — я тебя увидела у окна и перепугалась: в Конотопе такие монстры окопались — ты не можешь представить!

Она обняла Лидочку и прижалась щекой к ее щеке.

Из коридора слышались возня, стон, крик боли.

— Ну, как ты, куда? Ой, Андрюша! Я тебя не узнала! Ты так повзрослел!

Маргошку Потапову нельзя было не узнать — все в ней было неповторимо: черные глаза, черные кудри, выбившиеся из-под папахи, негритянские алые губы и розовые, будто нарумяненные щеки и даже усики над верхней губой... Когда-то Коля Беккер называл ее Шемахинской царицей.

Отпустив Лидочку, Маргошка начала влажно и горячо целовать Андрея. Она искренне обрадовалась, увидев старых приятелей. От нее пахло дымом, одеколоном и перегаром.

— Я страшно интуитивная, — тараторила Марго. — Я Лидушу в окно увидела, у меня просто сердце оборвалось — это буквально волшебная сказка. Поезда несутся, я смотрю в окно... вдруг Евгения Богдановна мне говорит: черт знает что, даже здесь покушения! Отсюда ведь стреляли?

— Нет, Маргошка! — сказала Лидочка.

— Ты всегда была либералкой, — рассмеялась Маргошка. — А я всю ночь не спала — у нас совещание было, положение на фронтах тяжелое; дальше некуда, впрочем, вам это неинтересно. Встали в Конотопе. И тут я вижу — знакомый поезд! Я тут же накинула шинель, позвала Георгия — и в поход! И успела! Он бы вас всех в расход пустил. Христом-богом клянусь — хуже нет одичавших наполеончиков.

Маргарита заливисто расхохоталась.

На путях загудел паровоз.

— Ну вот, это за мной, — сказала Маргошка. — Нас отправляют зеленой улицей!

Правительственный.

— Ты в Киеве была? — спросила Лида.

Маргошка как будто не услышала ее.

— Вы будете в Москве? спросила она. — Или в Питере?

— В Москве, — сказал Андрей.

— Где в Москве?

Снова загудел паровоз.

— В университете!

— Я найду вас! — крикнула Маргошка и рванулась в коридор.

— Погоди. — Лидочка кинулась следом. — Там старик, Давид Леонтьевич. Он совершенно ни в чем ни виноват.

— Я отыщу вас! — крикнула Маргошка из коридора.

Андрей выглянул в окно — Маргошка спрыгнула из вагона и побежала по путям к другому поезду. За ней матрос с карабином в руке.

Еще не совсем рассвело, кисейная серая мгла скрывала очертания далеких предметов.

Состав, к которому бежали Маргошка и матрос, постепенно набирал скорость, и бегущие люди растворялись во мгле, и казалось уже, что поезд удаляется быстрее, чем они бегут. Андрей и Лидочка как завороженные приклеились к окну, словно смотрели на соревнования по бегу на коньках, переживая, успеет ли их подруга первой к финишу.

Маргошка поравнялась с группой людей — снятых с поезда; наверное, в ней было человек двадцать, все с вещами — но на этом расстоянии уже не разглядишь, кто там Давид Леонтьевич, а кто — Сабанеев.

Вдруг правительственный поезд дернулся, останавливаясь.

Маргошка и матрос добежали до последнего вагона и на секунду остановились, видно, совещаясь, забираться ли на концевую площадку, продуваемую морозным воздухом, или побежать дальше. Им навстречу бежали другие матросы и солдаты — и Андрей понял, что поезд остановился именно из-за них. Наверное, так приказала Евгения Богдановна, о которой говорила Маргошка.

Поезд снова двинулся, уполз, все ускоряя ход, и за ним обнаружилось невысокое каменное здание вокзала с надписью Конотоп» по фронтону.

На перроне перед вокзалом стояли различного рода темные фигуры, отсюда не разберешь — кто.

Андрею показалось, что он различает в толпе старика, перекошенного тяжестью чемодана и чуть отставшего от толпы. Солдат, остановившись, не зло подтолкнул его в спину прикладом, чтобы не задерживал остальных.

— Нам повезло, — сказала Лидочка. — Я так рада была увидеть Маргошку!

Андрей не знал, что ответить, — в сказочной сцене был элемент неловкости, словно они выплывали, потопив других. Это было неверно, но куда денешься от ощущения?

— Она красивая, правда? — спросила Лидочка.

Андрей обернулся к ней. Уже настолько рассвело, что видно было, какая Лидочка бледная.

— Он так надеялся, что здесь будет порядок и справедливость, — сказал Андрей. — Мир без аннексий и контрибуций.

Они говорили о старике и не говорили о Сабанееве, потому что его судьба была вне пределов обывательского понимания. Он был откровенным врагом тем людям, что вошли в поезд в Конотопе.

— Надо было сказать, что чемодан Давида Леонтьевича — наш, — сказала Лидочка. — Он бы вернулся сейчас и видит — чемодан здесь. А то у него в чемодане подарки внукам.

— Они бы нам не поверили, — ответил Андрей. — У такого старика обязательно должен быть чемодан.

Андрей взял ледяные руки Лидочки в свои ладони и стал тереть, согревая.

— Интересно, сколько мы простоим? — спросила Лидочка.

— В поезде вагонов десять, не меньше, — сказал Андрей. — Они же наверняка обыскивают все вагоны.

Он снова смотрел в окно. Постепенно рассветало, мгла рассеялась. Андрей увидел, как солдаты вели к станционному зданию еще группу людей — от другого вагона.

— Может быть, мне пойти поискать его? — спросил Андрей.

Лидочка страшно испугалась.

— Андрюшечка, миленький, — взмолилась она. — Не уходи, не бросай меня! Меня же убьют.

— Лида ты что?

— Не будь наивным. Ведь уже идет война, и без правил. Что было бы, не успей к нам Маргошка?

— Может, обошлось бы?

— Не говори глупостей. Мы бы шли сейчас вместе с ними.

Андрей больше не настаивал — Лидочка была права. Она не могла остаться в кажущейся безопасности вагона — ведь только что эта безопасность была разрушена в мгновение ока.

За окном уже совсем рассвело. Из голубого снег стал грязно-белым, На вытоптанном сером перроне у вокзального здания длинным погребальным курганом высились вещи — чемоданы, мешки, даже ящики. Вдоль них на некотором отдалении выстроились, перетаптываясь на морозе, владельцы вещей, отделенные от имущества несколькими солдатами.

Порой от толпы отделялся человек, подходил к вещам, вытаскивал оттуда свое добро и исчезал в здании вокзала. Третьим или четвертым Андрей угадал старика. Он уже не мог нести чемодан, чемодан тащил солдат.

Лидочка приоткрыла дверь в коридор. Народа там убавилось — можно было пройти в туалет. Люди сидели закутавшись, терпели, ждали, как стервятники. Никто не посмотрел в сторону Лидочки, Туалет был закрыт. Можно было побежать на станцию, как сказала женщина, кормившая грудью ребенка как раз у закрытой двери, но Лидочка не решилась. А другая женщина сказала, что можно пробраться под вагонами и все сделать с другой стороны. Когда Лидочка возвратилась в купе, Андрей все стоял у окна.

— Смотри! — сказал он.

Из вокзала вывели маленького человека в белой рубахе. Он мелко шагал, придерживая галифе.

— Сабанеев?

— Да, — ответил Андрей.

Сабанеева провели к боковой, глухой стене вокзала. Там он принялся ругаться со своими двумя конвоирами — он махал руками, дажё подпрыгивал, но конвоиры все теснили его к стене.

Пришел незнакомый человек и стал говорить, обращаясь то к Сабанееву, то к кучке людей — из местных, собравшихся там. И тут случилось совсем странное: Сабанеев отвернулся к стене, спустил галифе и помочился на стену. Зрители стояли и терпеливо ждали, пока он кончит. Потом Сабанеев подтянул галифе и снова обернулся к людям.

Люди по неслышному приказу отпрянули, толкаясь, подальше от стены, а вперед вышли три солдата с винтовками. Сабанеев стал кричать на солдат, но их начальник махнул рукой.

И только тогда Андрей понял, что он наблюдает за окончанием жизни очень здорового, молодого и даже веселого человека. И этот человек знает о неминуемой смерти и старается отсрочить ее, а зрителям интересно, как он умрет, — зрителям всегда интересен момент чужой смерти.

В ответ на крик начальника Сабанеев поднял руки — галифе тут же поехали вниз, Сабанеев подхватил их, и тут солдаты начали в него стрелять. И последние секунды своей жизни сотник старался все подтянуть галифе.

Когда Сабанеев упал, то он исчез из виду — за спинами сблизившихся солдат и зрителей, которые нагибались, будто случайно увидели упавшего человека и теперь собирались ему помочь, да не знали как.

Лидочка отвернулась от окна и спрятала лицо на груди Андрея, уткнулась носом в плечо. Ее било дрожью.

— Уедем? — шептала она, словно не обращаясь специально к Андрею, а разговаривая с собой. — Мы уедем, у нас есть портсигары — мы исчезнем, это же кончится, да?

— Это кончится, — сказал Андрей, — но я не знаю когда.

Там, у вокзала, начальник, видно, отдал приказ, и солдаты, закинув винтовки за спину, подняли тело Сабанеева. Его рубаха, только что белая, была вся в красных пятнах, и на снегу, где он лежал, тоже остались красные пятна. Солдаты понесли Сабанеева за угол вокзала.

— Но почему мы остаемся здесь? — спросила Лида. — Зачем?

— Ты лучше меня знаешь, — сказал Андрей. — Мы уже убегали с тобой. И разве стало лучше? Мы только стали еще более одинокими, чем прежде. А потом? Через десять лет? Мы останемся совсем одни в чужом мире?

— Но через десять лет в России будет хорошо, — сказала Лидочка, отодвигаясь от Андрея. — Все кончится. Все остальные состарятся только на десять лет — это не так много, правда?

— Это много, — сказал Андрей. Лидочка лукавила, она сама не верила в собственные слова.

— А мне никто и не нужен. Кроме тебя, мне никто не нужен.

— А мама?

— Ты не честен! — Лидочка сильно оттолкнула его — и еле успела упереться ладонью о стену, чтобы не упасть. — Ты говоришь нечестно!

Она села на диван.

В купе было пусто и очень просторно, как будто в доме, из которого ушли гости, что всю ночь веселились и танцевали, и вот теперь хозяевам надо убирать за ними и мыть посуду.

— Мы доберемся до Москвы, — говорил Андрей, положив руку на плечо Лидочки, — мы встретим Теодора. Устроимся, узнаем, решим, что делать дальше, — но не так, не в панике.

— Какая уж паника! — воскликнула Лидочка. — Они убили человека, которого мы с тобой уже знали. Тут он спал — ты видишь, что даже диван вдавлен от его тела!

— Да, — сказал Андрей, чтобы отвести в сторону мысли Лиды. — Совсем забыл: а где тот конверт?

Он протянул руку на верхнюю полку, но не достал. Пришлось встать на диван — сейчас он и не думал о приличиях. Наконец конверт нашелся. Он был в полосах пыли.

Белый заклеенный конверт, на нем лишь адрес: Сивцев Вражек, д. 18, кв. 6. И все.

Ни имени, ничего.

— Нашел? — спросила Лидочка, не поднимая головы.

— Мы отнесем, — сказал Андрей. — Как приедем, отнесем.

И эти слова сразу отрезали мысли о попытке убежать в будущее — словно моральные обязательства, взятые ими перед погибшим Сабанеевым, отменили право улететь в будущее.

Андрей извлек из-под дивана пакет с бумагами Сергея Серафимовича — странно, что лишь полчаса назад он был уверен, что никогда уже не возьмет его в руки. Пакет был тяжелым, тугим. Андрей стоял в неуверенности — не положить ли его пока обратно?

Лидочка догадалась и сказала:

— Вряд ли нас снова будут обыскивать.

— Не знаю, — ответил Андрей. — Наша с тобой покровительница как летающая богиня — примчалась, навела порядок, обидела местное начальство. И нет ее. Я бы на месте обожженного коменданта вернулся и показал нам, где раки зимуют.

Андрей говорил так, словно колдовал — он надеялся, что такого не случится, но высказать надежду вслух нельзя — не сбудется.

— Не надо, Андрюша, — устало ответила Лидочка. — Даже шутить так не надо. Положи его пока куда-нибудь подальше.

Андрей подчинился — сунул пакет и конверт Сабанеева в мягкую тугую щель между сиденьем и спинкой дивана. Потом подошел к окну.

За несколько минут, прошедших после смерти Сабанеева, утро вошло в силу, разогнало рассветные краски и рассветную тревогу — теперь это была обычная, шумная, бестолковая станция. Мимо станции протопал, попыхивая, маневровый паровозик, перед ним перебежал рельсы, чуть не угодив под колеса, мужичок в треухе с ведром, исходившим горячим паром, какие-то бабки с мешками по двое, по трое топали вдоль поезда и смотрели в окна, цыгане, несколько женщин с детьми и один мужчина с черной бородой, как петух во главе стаи, прошли рядом с вокзалом, как раз по красному снегу, и не заметили, что это человеческая кровь.

— Где наш Давид Леонтьевич? — спросила сзади Лидочка, как бы повторив мысль Андрея.

— Я думаю, надо сходить поискать его.

— Только вместе.

— Не надо, Лидочка, тебе лучше остаться здесь, Вещи нельзя оставить без присмотра.

— Но я не хочу, чтобы ты был один!

— Сейчас уже не так опасно.

— Почему ты так думаешь?

— Все, кому суждено было умереть, уже умерли. Мы теперь по ту сторону Стикса...

Я не шучу. Мы в советской России. Ее граждане.

Лидочка пожала плечами — она не поверила Андрею.

— Я далеко не буду отходить, — обещал он.

— Погляди на семафор, — сказала Лидочка. — Если он открыт, значит, в любой момент мы можем отправиться.

— Спасибо, — сказал Андрей. — Помни, ты на страже. Запрись и никому не открывай.

— И застегнись. Мороз на улице.

Но как только Андрей вышел из купе, Лидочка наклонилась к окну и прижала к нему нос.

Андрей вышел на площадку. Проводник стоял внизу и торговался с бабой, которая держала, принимая к груди, закутанный в шерстяной платок горшок с картошкой. И ему так захотелось есть — как никогда еще в жизни, — он почувствовал, что готов сейчас кинуться на бабку и отобрать горшок. Та, видно, почувствовала опасность, исходившую от Андрея, и испуганно взглянула наверх.

— Будешь брать? — спросил проводник. — Я лучше с голоду помру, чем полсотни платить буду, а у тебя жена молодая.

— Пятьдесят? — спросил Андрей и посмотрел вдоль поезда. Рука семафора с красным кругом вместо ладони была опущена. Андрей полез в карман пальто — там было только двадцать пять царскими.

Андрей стал искать дальше, а бабка смотрела на него, а проводник сказал:

— Ты что, старыми она и за червонец отдает.

— За червонец не отдам, а за четвертак бери.

Так что через минуту Андрей ворвался в купе — Лидочка испуганно вскочила — и высыпал прямо на столик вареную горячую картошку из котелка.

Чисти! — воскликнул он, а сам уже поспешил обратно, вернуть котелок.

Бабка схватила котелок, словно уж и не верила, что получит его обратно, а проводник сказал назидательно:

— А ты говорила, тетка!

— Сколько будем еще стоять? — спросил Андрей, снова взглянув на семафор.

— Пока стоим, — ответил туманно проводник.

— Я хотел сходить на вокзал. Там один человек.

— Не ходи, студент, — сказал проводник. — У тебя обошлось, не дразни судьбу.

— Вы меня не так поняли, — оказал Андрей. — Я знаю, что они расстреляли человека...

— Господи! — сказала бабка с пустым котелком. — И так каждый день, каждый божий день. Это все горелый, такой злой...

— Я хочу отыскать старика с седой бородой, — сказал Андрей. — Тоже из нашего купе.

— Отпустят его. Оберут и отпустят. Только не знаю, успеет ли он? — Проводник поглядел в сторону вокзала.

— Я быстро! — сказал Андрей. — Добегу.

— Беги, — согласился проводник. — Если что, я за твоей женой присмотрю, студент!

И он громко засмеялся вслед Андрею.

Андрей добежал до вокзала, никому он не был интересен и опасен.

Внутри вокзала было тесно, многолюдно и шумно. Андрей, уже имевший некоторый опыт в вокзальных зданиях революционной поры, остановился сбоку от входа, стараясь понять, где расположен центр паутины, управляющей этим людским массивом.

Но сделать этого не успел, потому что увидел Давида Леонтьевича.

Старик был раздет, расхлюстан, растоптан, разорен, из всего его добра осталась почему-то бобровая шапка — а вот вместо мехового пальто был рваный ватник.

Но старик склонился к содрогающейся от истеричных рыданий женщине в сером платке и в сером платье и, протягивая ей алюминиевую кружку, уговаривал:

— Пейте-пейте, это самое верное дело.

— Давид Леонтьевич! — крикнул Андрей, кидаясь к старику. — Ну что же вы! Поезд сейчас уйдет.

— Поезд? Какой поезд? Ах, конечно же! Но кто меня пустит? Они у меня все отобрали. Я теперь человек без документов и даже не имею фамилии... Ну как я вам докажу, что у меня есть фамилия?

— Прошу вас, успокойтесь!

— Но это же бандиты, как у батьки Махно. Я так им и сказал.

— Давид Леонтьевич!

— Слышу, слышу! Но я остаюсь и буду с ними спорить. Это не люди, а гайдамаки!

Женщина пила из кружки, и ее зубы громко стучали о край.

Я никуда не поеду без этой панночки, — совсем другим, куда более решительным тоном заявил вдруг старик. — Они ее уже ограбили, они ее били, они ее живой не оставят. Я буду ее охранять.

— А вещи? — спросил Андрей.

— Они все увезли и сказали: хотите — приезжайте, догоняйте. Только потом пеняйте на себя.

Загудел поезд.

— Это наш! — сказал Андрей. — Бежим!

— А как же она?

— Все бежим, все! — Андрей потянул женщину за руку, и она поднялась. Андрей потянул ее. Женщина тупо сопротивлялась. Но к счастью, Давид Леонтьевич уже пришел в себя и помог.

Поезд уже двинулся, и за ним бежали множество людей, кто с чайниками, кто с мешками. И словно понимая, что нельзя же причинять горе стольким людям, поезд долго полз еле-еле. Уже Андрей с ограбленными попутчиками догнал вагон, и проводник, семеня по путям, помог подсадить старика и женщину и даже поторговаться с Андреем, сколько он с него сдерет за новую пассажирку, уже Лидочка впустила всех в купе, а поезд еще полз по привокзальным путям.

А потом вдруг припустил, весело взревев, словно радовался, что все беды остались позади.

###### \* \* \*

В купе было холодно — холоднее, чем на улице, но это уже не было трагедией.

Во-первых, стало светло. Во-вторых, была еще теплая картошка.

В-третьих, проводник принес большой чайник с кипятком, а когда Андрей, просто так, за хорошее настроение, дал ему сотенную, то проводник отыскал целую кипу казенных солдатских одеял. Так что все обитатели купе использовали добычу по собственному усмотрению — кто закутался, кто накрылся, кто накинул одеяло как плащ.

У Андрея с Лидой беды не было — все обошлось. И вещи целы, и руки на месте, и Лидочка даже не кашляла.

Старик был удручен и обижен.

Он провез чемодан с грузом для сына и внучат через всю Украину, сохранил от бандитов, но вот здесь, в России, где его сын был большим начальником, старика так обидно ограбили и еще били — там, на вокзале когда Давид Леонтьевич пытался объясниться.

— И эти люди охраняют нашу Россию? — спрашивал он у Андрея. — Когда я увижу моего сыночка, я скажу ему — да разгони ты этих байстрюков! Столбы по ним плачут!

— Ну вот, — сказала Лидочка, протягивая старику кружку с кипятком и кусок сахара из своих, набранных в больнице, запасов. — И вы туда же! Почему все хотят друг друга перевешать? Так никого и не останется.

— Они не заслуживают иной участи, — низким хриплым голосом произнесла новая пассажирка.

Лидочка никак не могла толком разглядеть ее — виной тому был низко надвинутый на лоб платок, который женщина носила подобно клобуку — так что наружу выдавался лишь острый кончик носа, — а глаза и рот оставались в тени.

— Сейчас я вам тоже налью, — сказала Лидочка. — У нас только одна кружка.

— Спасибо, я вовсе не замерзла.

Конечно же, женщина замерзла, даже кончик носа посинел, — но Лидочка понимала, что их новая спутница находится в отчаянном душевном состоянии и нуждается в утешении.

Прихлебывая кипяток и прихрустывая сахаром, Давид Леонтьевич подробно рассказывал о встрече с Дорой, словно был рад забыть свои собственные потери и унижения. Он заметил ее, когда пассажиров, снятых с поезда, гнали к вокзалу, и удивился тогда — зачем им бедная женщина, у нее всего небольшой чемоданчик. На вокзале, оказывается, всех задержанных по очереди вызывали в комнату начальника вокзала, где сидел тот, с обожженным лицом, и еще двое — как бы суд. Они выносили приговор. «И вы знаете, всем приговор был одинаковый! Конфискация имущества за попытку спекуляции! Вы не поверите! Как будто они сговорились!» А пальто и другие ценные вещи отбирались уже солдатами после приговора. Документы тоже никому не возвратили — так что некоторые побежали на поезд в надежде, что смогут воспользоваться добротой проводника, вернуться на свою полку, а другие сгинули неизвестно куда. Давид Леонтьевич пытался убедить обожженного, что его сын настоящий начальник, служит в Петрограде, но тот и слушать не захотел — выдал ему бумажку о конфискации нажитого нечестным путем имущества и велел идти.

Может, старик и выпросил бы у обожженного хотя бы бумажник с паспортом и адресом сына, но тут втолкнули Дору. Он тогда не знал, что это Дора, — увидел, как втолкнули молодую женщину и бьют ее, а она отбивается и оскорбляет мучителей словами. Давид Леонтьевич не выдержал и кинулся ей на помощь — даже забыл о своем бумажнике. Он понимал, конечно, что ему надо молчать и тихо уйти, но не сдержался — бывает. Так что солдаты накостыляли и ему. Вышли они с Дорой, сели в уголок и стали оба плакать, потому что не знали, куда теперь деваться. И слава те Господи, что прибежал Андрюша, буквально спас — до конца жизни, честное слово, до конца жизни буду благодарен! И сыну завещаю, и внукам!

— Давид Леонтьевич, не надо! — взмолился Андрей.

— А Сабанеева-то убили, — сказал Давид Леонтьевич. — Но сначала приговорили, он и признался в обладании оружием и в попытке акта, понимаете?

— Обратите внимание, — низким голосом проговорила Дора, — они никогда не идут на риск. Расстреливают втроем одного, потому что знают, что он не может ответить. А надо отвечать! На каждый удар надо отвечать ударом, вы меня понимаете?

— И это только приводит к новой смерти, — сказала Лидочка.

— Вы еще ребенок.

— Ты тоже не старая, — сказал Давид Леонтьевич, который ощущал свою ответственность за нового птенца в этом холодном гнезде. — Сколько тебе?

— Тысяча лет, — ответила женщина серьезно.

— Ну вот, паспорт отобрали, так что ничего тебе не докажешь, — сказал старик.

— Мне двадцать семь лет, — сказала женщина. — Двадцать семь — это много или мало?

— Это только начало.

— Это уже конец — я все видела, все прожила.

Как будто ей стало жарко, Дора откинула назад платок — у нее было суженное к подбородочку лицо, небольшой острый нос, чудесные синие глаза в очень минных черных ресницах и волосы ее, сейчас спутанные, нечесаные, видно, тоже были хороши — густые и блестящие, От маленького подбородка и остроты черт лицо казалось недобрым, лицом грызуна, но если ты встречался с рассеянным синим взором, то терялся — так ли зла и мелка эта женщина?

— Они мне разбили очки, — пожаловалась Дора.

Под глазами были темные пятна, словно она подкрасилась по новой моде. Но темнота лишь подчеркивала голубизну белков.

— Вы плохо видите? — спросил Андрей.

— Только очертания, даже заголовки в газетах не могу прочесть.

— Ничего, — постарался успокоить ее старик. — Будем сегодня в Москве, купим тебе новые очки.

— Теперь такие очки не достанешь.

— А ты московская? — спросил старик.

— Меня встретят, — сказала Дора. Из этого следовало, что она в Москве не живет, но и не хочет признаваться, откуда она. Впрочем, какое дело до того остальным?

Освободившуюся кружку Лидочка протянула Доре. Та, думая о другом, протянула руку, но промахнулась пальцами, и Лидочка с трудом успела ее подхватить. Хорошо, что вода уже немного остыла — никто не обжегся.

Дора взяла наконец кружку, и Андрей вложил ей в пальцы кусок сахара.

Дора принялась быстро, часто и мелко глотать воду, прикусывая сахаром, — и стала похожа на птичку или мышку.

Оказывается, она везла из Крыма от сестры продукты для себя и своих товарищей, а они могут не поверить в то, что чемодан конфисковали и будут недовольны.

— Вот уж товарищи! — удивилась Лидочка.

— У нас нелегкая жизнь, и надо делиться тем, что есть, — наставительно сказала Дора.

— И деньги отобрали? — спросил Давид Леонтьевич. Не отвечай, не отвечай, и без тебя знаю, что отобрали! Но мы как до Петрограда доедем, я моего сыночка Лейбу найду, он тебе поможет.

— Я же сказала, что меня будут встречать, — раздраженно откликнулась Дора.

— Замерзла, да? — спросил Давид Леонтьевич.

Как хорошо, что она есть, подумала Лидочка. Его мысли заняты ее бедами, иначе бы он извелся от своих потерь.

Но через какое-то время, когда Дора, отвернувшись к окну, накрылась с головой одеялом и как бы ушла из комнаты, старик осознал масштабы своей беды, и тогда уж Андрею и Лидочке досталось быть партером, когда на сцене играет такой трагик!

Беда и на самом деле была серьезнее, чем показалось в начале — дело заключалось не только в вещах и продуктах, не только в теплом пальто, — главное, что с бумажником старик утерял адрес сына. А так он его не помнил — знал, что его сын трудится в каком-то присутствии большим начальником. Присутствие находится в Петрограде, но все остальное было запечатлено на бумаге, которой уже не существует.

— Ничего страшного, — пытался успокоить старика Андрей. — Как доберетесь до Петрограда, пойдете в тамошний Совет и скажете имя вашего сына — и его найдут.

— Какое такое имя! — даже рассердился старик. — Разве Лейба — это имя, это все равно что слово «еврей».

— Ну тогда фамилию.

— Такая фамилия, как у нас, — сердито ответил старик, — валяется в Одессе на каждом шагу. Наша фамилия Бронштейн, а я сам знаю сто двадцать Бронштейнов, и из них половина мне даже не родственники. Мой сын Лейба Бронштейн, а знаете, что я вам скажу? Я скажу, что, на мой взгляд, у большевиков служат начальниками сто Лейбов Бронштейнов, а вы как думаете?

— И все-таки, может быть, вы ошиблись. И даже если у большевиков десять Бронштейнов, вы наверняка найдете своего сына.

— Может быть, и правда ваша, сыночек, — ответил Давид Леонтьевич, — но пока я даже не доехал до Петрограда и совсем не знаю, как это сделать, если у меня нет ни копейки.

— Мы постараемся вам помочь, — сказала Лидочка.

— И даже не говорите! — отмахнулся старик и погрузился в глубокое печальное раздумье о злой сути жизни.

— А обо мне не беспокойтесь, — непрошеной ответила Дора. — Меня встретят. У меня в Москве друзья.

###### \* \* \*

Вторая ночь в поезде прошла не намного лучше первой. Правда, — одеяла, пожертвованные проводником, несколько скрашивали жизнь, но все равно — спать на морозе трудно, и ночью проснувшись от очередного толчка, когда поезд вновь замер на неизвестное время у неосвещенного разъезда, Андрей услышал, как Лидочка тихо сказала:

— Как я устала! Я никогда не думала, что можно устать от холода.

Андрей обнял Лидочку, постарался впитать ее в себя, обволочь ее, но не хватало рук и ног, все равно было холодно.

Дора Ройтман спала, обнявшись с Давидом Леонтьевичем — в том не было ничего личного, Дора могла бы так же спать с большим псом или медведем. Во сне она вдруг начинала говорить — но неразборчиво, что странно не сочеталось с внятностью непонятных слов.

Когда утром встали, вагон опять был набит, как при отъезде из Киева, дверь, хоть ее и заперли на ночь, была раскрыта, и как тесто, убежавшее из опары, в нее влились спящие люди, заполнившие пол купе, состоящий вроде бы не из людей, а из земляной массы. От этого не стало теплее или даже уютней — к счастью, новенькие не лезли на диваны, признавая право первой ночи за их обитателями.

Продрав глаза, Андрей обратился к окну, но окно за ночь заиндевело — видно, в центре России было холоднее, чем на Украине.

Конечно, воды никакой не было, и люди облегчались между вагонами, причем не всегда аккуратно — все замерзало, и проводник, который, конечно же, понимал, что ничего поделать не может, лишь матерился, когда еще одна дрожащая фигура выбиралась в тамбур. А туалет он не отпирал — там был склад, какой и чей — неизвестно.

Выделяя Андрея из числа пассажиров и понимая, что он единственный, кто ему платил и еще заплатит, проводник сообщил радостную весть — если ничего не случится, через час-второй — Москва.

Возвратившись по ворчащим и матерящимся телам в купе, Андрей увидел, что пейзаж там изменился — бугры и низменности приобрели форму человеческих голов и тел, пар от дыхания стал гуще, и главное — все находилось в медленном, как будто бы подводном движении. Старик и Дора сидели рядком под одеялами, подобрав ноги на диван, и смотрели на перемены в купе с каким-то ужасом, хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть к творящимся вокруг чудесам. Андрей улыбнулся, потому что вдруг понял, на кого они похожи, — и сказал тихонько Лидочке:

— Княжна Тараканова во время наводнения!

— Полотно Флавицкого! — обрадовалась Лидочка. Она проснулась в том славном, здоровом молодом настроении, которое невозможно разрушить внешними причинами, ибо оно происходит от бодрых токов юного тела, от убеждения его в том, что вся жизнь еще только предстоит, — тоска по этому чувству порой посещает пожилых людей, тех, у которых хорошая память на свою молодость и отчаяние от того, как далеко она провалилась.

Дора сверкнула синими яростными глазами, отбросила одеяло и, оправив совсем уж смявшуюся юбку, пошла в коридор так, словно на баррикады.

— Она забавная, правда? спросила Лидочка.

— Трудно найти слово, которое подходило бы меньше, — возразил Андрей, и старик согласился с ним.

— У нее была очень тяжелая жизнь, — сказал он. — Я догадываюсь. Можете мне поверить.

В Москве Андрей должен был приехать по адресу — на Болотную площадь, там их будут ждать. Адрес был оставлен путешественником по реке времени паном Теодором.

Некоторая неловкость ситуации заключалась в том, что ждали там только двоих — его с Лидочкой. А что делать со стариком?

Андрей полез в карман, где лежал «прикосновенный запас. Денег было немного, но на извозчика хватит, даже если в Москве цены вдвое выше киевских.

Поезд замедлял ход, тащился еле-еле, словно истратил за последнюю ночь все силы.

Андрей продышал пятно в замерзшем окне. По сторонам дороги, близко к ней, подходили дачи, некоторые весело раскрашенные, но сейчас засыпанные снегом. Снег был свежим, чистым, сахарным, но Андрей отвернулся — внутренним взором вдруг увидел красный снег на вокзале в Конотопе.

###### \* \* \*

Дору не встретили. И в этом не было ничего удивительного, потому что поезд из Киева вообще никто не встречал — он должен был прийти сутками раньше.

Вам есть куда идти? — спросил Андрей, надеясь что она ответит положительно.

— Идите, обо мне не думайте, — отрезала Дора. — Не помру.

Она все еще горбилась, как будто боялась, распрямившись, упустить тот пузырь теплого воздуха, что сохранился под одеялом, которым она закрылась с головой — как американский индеец. Одеяло купил Андрей — проводник даже взял за него немного, как за стакан кипятка. Дора отказывалась, а Давид Леонтьевич сказал:

— Я с Ондрием расплачусь. Ты не беспокойся.

Дора сразу забыла, кому обязана теплом.

— Может быть, вы запишете наш адрес? — спросила Лидочка. — Если будет плохо, всегда можете нас отыскать.

— Глупости! Почему мне должно быть плохо?

Сейчас многим плохо.

— Со мной лучше не связываться! — вдруг закричала Дора. — Я приношу несчастье.

Меня надо забыть!

Давид Леонтьевич сказал:

— Пошли с нами, доченька, замерзнешь ты здесь!

— Уходите, уходите, уходите! — как капризная девочка, настаивала Дора — вот-вот начнет топать ножкой.

Они пошли по опустевшему перрону вдоль холодного поезда. Идти было легко — багажа на всех один чемодан да мешок, Давид Леонтьевич набросил одеяло на плечи, подобно испанскому кабальеро. Ему было очень холодно.

— Две недели эту дуру таскал, — сказал он, имея в виду несчастный чемодан, — Лучше бы с самого начала в Громоклее оставил.

От паровоза Андрей обернулся. Дора все так же стояла, переступая с ноги на ногу, — неизвестно, чего она ждала. Ясно же было, что никто за ней не придет.

— Подождите меня в вокзале, — сказала Лидочка и побежала обратно.

Они не стали уходить, ждали, пока она приведет Дору, — неизвестно уж что за слова отыскала Лидочка, но Дора пришла. Она молчала и шла последней.

В Москве было холодно, холоднее, чем в Конотопе, мороз градусов десять по Цельсию, но внутри громадного, гулкого, еще новенького Брянского вокзала температура не ощущалась — он был мир сам по себе, холодный, студеный, но без ветра и без мороза. Даже запахи и вонь, столь обильные и наглые по всей России, здесь улетали куда-то под храмовый потолок.

Перед вокзалом на площади стояло несколько извозчиков в армяках и в особенных шляпах. Правда, они никому не были нужны — большей частью с поезда слезали либо свои, московские, знавшие, куда тащить свои мешки, а если иногородние, то не менее опытные, Справа от серой вокзальной громады в ряду питейных и обжорных заведений они увидели чайную, которая была уже открыта. Внутри было тепло, как в сказке, а виду посетителей половой не удивился, правда, попросил деньги вперед. Так что все отогрелись и были готовы к путешествию.

Извозчик, к которому они, разопрев и наевшись, подошли на площади, долго шевелил по красным щекам желтыми усами, глядя на кучку нищих в одеялах, потом тоже потребовал сотню вперед.

Андрей был готов к этому и опередил Дору, которая пожелала вцепиться в морду извозчика своими нечищеными ногтями. Он дал извозчику, сколько тот запросил, и извозчик сразу подобрел и даже видом стал не столь отвратителен. Пока пристраивали чемодан, он узнал, что они все ограблены большевиками, и совсем растрогался.

Извозчик поднял верх и повез на Болотную площадь. Дорога вела по узкому мосту через Москву-реку, потом вверх по откосу до Смоленской оттуда по узкому Арбату.

Седоки, хоть и сидели сгрудившись, снова замерзли. Но, конечно, не так, как в поезде. Они смотрели по сторонам, разговаривали, и будущее не казалось мрачным.

С неба сыпал мягкий снежок, потеплело. У Смоленского рынка всем купили дешевые шерстяные рукавицы.

— Жена Суворова завещала, — сказал Андрей — держать руки в тепле, а остальное в холоде.

— Жена Суворова была распутной женщиной, — ответила Дора, — он выгнал ее из дома.

— Нет, в самом деле? — удивился Давид Леонтьевич, — Графиню?

— Вот их и погнали, — сказал извозчик. — За распутство.

Видно, он имел в виду Октябрьскую революцию.

Арбат был оживлен. Мостовая на нем была не то чтобы очищена, но более уезжена, раза три встретились пролетки, мотор с поднятым верхом, в котором уместилось много людей в кожаных фуражках и папахах, магазины были большей частью закрыты, и окна их забиты досками или опущенными железными шторами, но доски, видно, отрывали, стекла били. На Арбатской площади, у рынка стоял трамвай. Он был пуст и без стекол.

— А что, трамвай не ходит? — крикнул Андрей извозчику.

— Иликтричества не дают — откликнулся тот. — К вечеру дадут — уедет.

Красная площадь произвела на Андрея неожиданно удручающее впечатление — в отличие от своих спутников он жил в Москве раньше и знал об отношении москвичей, независимо от их происхождения и положения, к этому святому месту. И вдруг, именно здесь, Андрей осознал всю неотвратимость и катастрофичность перемен.

Красная площадь, всегда выметенная и убранная, была теперь неровно, кое-где в сугробах, завалена снегом. В проезде Исторического музея Андрей попросил извозчика остановиться.

Тот взял правее, придерживая лошадь. Он не понял, чего нужно пассажиру, а может, и понял, но не хотел об этом говорить вслух, потому что при перемене власти и приходе к ней людей жестоких простые люди быстро научаются помалкивать и не только таить собственные мысли, но и отказываться от них.

Андрей пошел, проваливаясь в снегу, к башне, а остальные остались в пролетке и глядели ему вслед, словно он совершал какое-то неведомое им, но обязательное действо.

Андрей остановился, когда понял, что дальше не пройдешь — сугроб. Но и оттуда было видно, с каким остервенением стреляли по лику Николая Угодника — один из ангелов, поддерживавших икону, упал, второй был в нескольких местах прострелен, сень над иконой держалась на одном гвозде и, как пьяная кепка, прикрывала наискосок верхний угол иконы, Сама икона хоть со времени расстрела прошло уже два или три месяца, была покрыта пылью и грязью, и лишь глаза пробивались сквозь пелену, всматриваясь в площадь, но во лбу и щеках святого были дырки от пуль.

Андрей посмотрел вдоль проезда. И тогда он увидел сугробы, а дальше — Спасскую башню.

— Поезжайте, — сказал Андрей. Извозчик послушно тронул лошадей, Андрей пошел по площади скорее, чтобы согреться. У братских могил стояли зеваки. Спасская башня также была расстреляна, но на ней главной целью большевиков оказались ее знаменитые гигантские часы — сотни пуль вонзились в их циферблат. Большое неровное черное отверстие в центре циферблата показывало, куда угодил снаряд.

Подняв голову, Андрей увидел, что золотая глава колокольни Ивана Великого также пробита снарядом, — и ясно ему стало, что стреляли из озорства, из ненависти к чистому и святому, потому что не было и не могло быть военной цели в том, чтобы разбить часы на Спасской башне, убить икону на Никольской, сбить главу с Ивана Великого и расколотить купола великого Успенского собора.

Вдоль стены из снежных завалов виднелись части венков — там располагались братские могилы революционеров.

Андрей оглянулся — пролетка с его спутниками стояла за спиной. Андрею стало стыдно — он понял, что они замерзли.

— Простите, — сказал он. — Мне непонятно, откуда эта злоба, кто мог это сделать — ведь это не война?

— Сейчас вы скажете, что это делали евреи, — прохрипел из-под одеяла Давид Леонтьевич. — А я вам скажу, что вы брешете.

— Русскую церковь ненавидят более всего самые темные и религиозные низы русского народа, — вдруг заговорила Дора. — Только уничтожив доброту в России, они могут пробиться к власти.

###### \* \* \*

Андрей уже готов был сесть в пролетку, как услышал неуверенный голос, словно окликавший его человек находился с ним в одной комнате и потому не напрягал связок.

Андрей обернулся и сразу пошел к тому человеку, потому что его охватила глубокая хорошая радость: человека не было, он умер, он ушел из жизни Андрея — а вот вернулся.

— Андрей, — сказал Россинский, палеограф, с которым он был в экспедиции в Трапезунде, — Андрей, я так рад тебя увидеть. Я думал, что ты в Крыму.

— Как же вы выбрались? — спросил Андрей. — Мы долго были в Батуме.

— Меня подобрала рыбачья шаланда, а она шла в Поти, — ответил Россинский. — А оттуда я уехал в Петроград. Я не знал, где все, ничего не знал и был огорчен. Ты представляешь, все мои протирки погибли?

Россинский вовсе не изменился — он был субтилен, почти бесплотен, в темной бородке появились седые волосы, и виски поседели.

— А я теперь тружусь в музее, в Историческом музее, сказал Россинский. — Знаешь, кто заведует у нас нумизматическим кабинетом? Никогда не догадаешься — мадам Авдеева!

— А я взял на «Измаиле» твою тетрадь, — вспомнил Андрей.

— Быть не может! Где она?

— Я ее в Симферополе оставил. Мне не хотелось думать, что ты погиб.

— Ну уж спасибо! Ты не представляешь...

— Хозяин, — сказал извозчик, — чтобы степь да степь кругом, замерзал ямщик, мы не договаривались.

— Мы сегодня первый день в Москве. Мы только что приехали. Я с женой, — сказал Андрей Россинскому.

— Ты женился, как приятно.

Россинский пошел к пролетке, стал всем пожимать руки, начиная с извозчика. Потом так же быстро и деловито пожал руку Андрею и сказал:

— Я буду в отделе нумизматики. Часов до шести, Я скажу нашим, что ты приехал. А с тетрадью... Ты изумил меня! Приходи.

— Спасибо, — ответил Андрей. Он был растроган обыденной теплотой Россинского.

Андрей глядел вслед быстро удалявшемуся по площади Россинскому и думал: как славно, что именно сейчас и здесь судьба возродила его из мертвых, чтобы мне не было страшно и одиноко в этом холодном городе.

Россинский обернулся и крикнул:

— Если ночевать негде, я помогу. Слышишь?

Андрей забрался обратно в пролетку и не удержался от торжествующего взгляда в сторону Доры. Ведь ее не встретили — а его ждали.

— Как вы еще молоды! — Дора угадала его взгляд, и Андрею стало стыдно.

Дом на Болотной площади, куда они приехали, оказался также жертвой революционных боев — он обгорел и был разграблен. Жильцы куда-то делись. Так что через двадцать минут пролетка уже стояла возле входа в Исторический музей, который, как ни удивительно, оказался открыт для посетителей.

В вестибюле было тепло, сумрачно, вокруг скамейки у лестницы расселась крестьянская семья человек шесть, включая детей — смуглые, черноволосые, луком от них пахло на весь вестибюль — они разложили на мраморном полу тряпицы и не спеша, степенно ели. Служитель с галунами на рукавах мундира их не гнал — и понятно почему: сидя на стуле по ту сторону ступеней, он рассматривал большую крепкую луковицу — подношение.

Андрей спросил, как пройти в отдел нумизматики, служитель встал и принялся с готовностью подробно объяснять путь, но вовсе запутал Андрея. Тот не стал переспрашивать, а пошел в боковую дверь и далее длинными коридорами. Там было тихо и пахло пылью. Лампочки горели лишь изредка. Потом он поднялся узкой винтовой лестницей, словно в крепостной стене, и, проплутав еще минут пять, наткнулся на Россинского.

Россинский в библиотеке разговаривал с худой, странно знакомой женщиной с убранными под косынку волосами, отчего ее лицо, и без того узкое, было похоже на голову мумии.

— Тилли, — сказал Андрей. — Ты тоже здесь служишь?

Россинский сказал:

— Вот видишь, я же говорил, что Андрей приехал.

— Вот уж не ожидала, — сказала Тилли с каким-то осуждением, словно в приезде было нечто постыдное.

— Он думал, что я утонул, — сообщил Россинский.

— Не узнал? — строго спросила Тилли. — Я постарела, стала еще уродливее?

— Ты не была уродливой и не стала, — сказал Андрей. — Я очень рад тебя видеть.

— Честное слово? Или ты, как всегда, лжешь?

Странное чувство испытал Андрей — словно он и не уходил из этого зала, от этих высоких шкафов с книгами, от столов и ламп с зелеными стеклянными абажурами, от тусклого зимнего света, проникающего с Красной площади. Словно он принадлежал этому миру, как покорный добровольный раб.

— Пойдем в отдел, — сказал Российский. — Княгиня Ольга будет счастлива.

— В этом я сомневаюсь, — сказал Андрей, но последовал за Россинским. Тилли тоже пошла, но неохотно, словно выполняла обременительный ритуал.

Они прошли в высокую комнату Нумизматического отдела. По ее стенам стояли монетные шкафы с планшетами, а в середине — рабочие столы, заваленные справочниками и рукописями.

Ольга Трифоновна Авдеева, супруга университетского профессора Авдеева, закутанная в большой шерстяной платок и потому весьма схожая с деревенской молочницей, сидела в глубоком кожаном кресле у освобожденного от бумаг стола и осторожно, но уверенно резала хлеб. На железной печке с коленчатой длинной трубой, протянутой в высокое окно, кипел чайник. Рядом с княгиней Ольгой стояла высокая пожилая женщина в темно-синем платье, с волосами, собранными сзади в седой пук.

Увидев, как вошел незнакомый ей молодой человек, женщина вздрогнула, и Андрей сразу понял, что она боится чужих. Третьим в комнате был мужчина в офицерском мундире, лишенном не только погон, но и пуговиц — пуговицы на нем были черными, и это вызывало подозрение, что обитатель мундира слишком уж подчеркивает свою непричастность к офицерству.

Черные пуговицы настолько удивили Андрея, что он не сразу узнал мужчину. Ольга Трифоновна легко подняла свое крепко сбитое красивое тело, кинулась к Андрею, облапила его и радостно загудела:

— Андрюша к нам приехал! Андрюша, мой мальчик! — словно полгода назад не вычеркнула его из числа знакомых.

И тут Андрей узнал замаскированного офицера — это был подполковник Метелкин, хозяин Трапезунда — как его занесло сюда? Полковник закрутил усы — единственное, что осталось от прошлого. Взгляд его был растерян, как у просителя, которого не желают признавать.

— Извините, — сказал Андрей. — Я вас не сразу узнал!

Метелкина это обрадовало.

Это хорошо, — сообщил он доверительно. — Я и не желаю, чтобы меня каждый узнавал.

Вы понимаете почему?

— Наверное, вы скрываетесь, — сказал Андрей с наивностью человека, первый день как попавшего в страну большевиков.

— Тише! — строго приказала Тилли, остановившаяся у дверей. — Здесь даже стены имеют уши.

— Кому мы нужны? — не согласился с ней Россинский. — Музейные крысы.

— В сердце России? У Кремля?

— Сердце России загажено, разбито, убито и никогда не возродится, — сказала старая женщина. Она была высока ростом и носила корсет, что не молодило ее, но подчеркивало класс высокопоставленной дамы. — Это не сердце, а пустая скорлупа, на которую наступила нога в грязном сапоге.

— И в самом деле, — сказала Ольга Трифоновна, — в Кремле никто не живет и, пока не вернутся Романовы, никто жить не будет.

Статную даму звали Марией Дмитриевной.

Тут подоспел чайник, и все сели пить чай — Тилли принесла две чашки. Андрей отнекивался. Ему было неловко перед спутниками, что ждали его внизу, но и признаваться в том не хотелось. Ведь если скажешь, то хозяева, богатые лишь заваркой, мелко наколотым сахаром и буханкой хлеба, будут вынуждены делиться с незваными гостями.

Андрей лишь отхлебнул горячего жидкого чая и в ответ на вопрос, надолго ли откуда и когда приехал, сразу сказал, что у него случилась незадача с комнатой — дом сгорел, и хозяева его пропали.

Последовали сочувственные возгласы, все рады бы помочь, но в Москве восемнадцатого года это было не так легко сделать. Россинский предложил разделить с ним его комнату, но тут княгиня Ольга спросила:

— А что по этому поводу думает Мария Дмитриевна?

Что вы имеете в виду, Ольга Трифоновна? — спросила пожилая дама, открывая лежащую на столе жестянку с махоркой и ловко сворачивая самокрутку. Подполковник Метелкин достал зажигалку, сделанную из патрона, и галантно щелкнул ею.

— Я имею в виду дезертира, — ответила княгиня Ольга. — Нового дезертира.

Метелкин громко захохотал.

Отвечая на недоуменный взгляд Андрея, Ольга Тихоновна рассказала, что перед самыми Событиям — так здесь называлась революция большевиков — супруг Марии Дмитриевны уехал по делам в Ревель и не смог вернуться. А обширную квартиру Марии Дмитриевны возлюбил домовой комитет, который принялся вселять туда трудящихся из подвалов, пока у Марии Дмитриевны не осталась одна комната. Со дня на день она ожидала, что ее возьмут и расстреляют как чуждый элемент и, видно, к этому шло. Но тут ей повезло: неблизкая, но сердечная приятельница уезжала в Финляндию и предложила Марии Дмитриевне переехать в ее опустевшую квартиру в ветхом доме, не ставшем предметом вожделений новых хозяев города. Мария Дмитриевна решилась на такой шаг и более того, вскоре отыскался некий дезертир из унтер-офицеров, который за кров рубил и носил ей дрова. Но совсем недавно, в ту среду, дезертир скрылся, унеся с собой все ценности старухи — благо за зиму у него были все возможности узнать, где их Мария Дмитриевна прячет. Так что места у Марии Дмитриевны достаточно, и если Андрей готов помогать ей по хозяйству...

Дальше Мария Дмитриевна продолжила речь Ольги, подтвердив ее и даже высказан желание тут же отправиться домой.

— А где ваша супруга? — спросила Мария Дмитриевна, и Андрей удивился, сообразив, что Россинский успел обо всем поведать коллегам.

На прощание Ольга Трифоновна сказала:

— Вы, надеюсь, намерены восстановиться в университете?

— Я хотел бы.

— Послезавтра мой супруг будет на кафедре.

— Спасибо.

— Благодарить будете потом, когда я вас устрою в этот отдел, — сказала Ольга Трифоновна и сделала паузу, любуясь немым эффектом. Так что расстались они взаимно довольными. Только Тилли куда-то запропастилась, даже не попрощалась с Андреем.

Россинский пошел проводить Андрея до вестибюля. Там Андрей представил старухе своих спутников — семью изгнанных из своих земель американских индейцев, и она, критически обозрев их, произнесла:

— В сущности, я не являюсь владелицей квартиры и надеюсь, что вы сможете своим существованием облегчить мне жизнь. А не осложнить ее.

— Я долго у вас не останусь, — сказала Дора. — Завтра же уеду.

Мария Дмитриевна пожала плечами.

— Ваша воля. Вы можете вообще себя не беспокоить.

Дора замолчала.

— Не серчайте на нее, ваше превосходительство, — сказал старик Давид Леонтьевич, обладавший тонким классовым чутьем. — Мы сейчас ограбленные, замерзлые, еле живые. А отогреемся — отблагодарим.

— Так пошли, чего же вы тянете время, господа?

Мария Дмитриевна шла впереди, будто не была с ними знакома. Наверное, решил Андрей, она нас стыдится.

Дом ее стоял недалеко — рядом с «Балчугом», был он трехэтажным, покосившимся и скучным. Идти от музея меньше десяти минут — но через мост, а там всегда дует.

Дверь в квартиру была на площадке второго этажа — другая дверь на той площадке была заколочена, В квартире скрипели рассевшиеся полы, мебели было мало. Мария Дмитриевна позволила Андрею растопить печку — и скоро стало тепло и уютно. У них был дом — настоящий теплый дом.

## Глава 3

Весна 1918 г.

В ближайшие же дни жизнь беженцев в Москве более или менее наладилась, Андрей отправился в Исторический музей, там его встретил сам Авдеев. Он почти не изменился, но поседел. Перехватив взгляд Андрея, он произнес:

— Печать близкой смерти. Я тонул на «Измаиле», И Андрей понял, что о присутствии там Андрея он позабыл.

Слава Богу, что признал своего студента и обещал поспособствовать его возвращению в университет.

— Надеюсь, — добавил он строго, — среди твоих предков не было графов и паразитов?

Авдеев легко вписался в систему новых отношений и порядков.

— Завтра придут китайцы, — заметила княгиня Ольга, — и мой драгоценный супруг будет проверять у нас рисунок глаз.

Она со значением поглядела на Метелкина. Андрей подумал, что они, видно, остались близки.

— А я решил заняться амазонками, — сказал Авдеев Андрею за чаем. Чай достал Метелкин и не преминул о том сообщить Берестову. Вот что надо было привезти из Киева — там чай продавался свободно.

Андрею достались трофеи экспедиции Успенского. Оказывается, профессор все же смог доставить свое добро в Москву. Черепки тесно лежали в коробках из-под сигарет и халвы. На коробках были турецкие надписи и бравые картинки. Общие тетради с описями составлял Иван Иванович. Странно было читать аккуратные строчки. Где сгинул его чемодан, который чуть не погубил их в Черном море?

В Москву переехало из Петрограда правительство большевиков.

Оно поселилось в Кремле подобно допетровским государям. Главного государя звали Владимиром, Андрей видел, как он проезжал по Красной площади в машине под брезентовой крышей. Но, конечно, толком разглядеть вождя не мог.

Красная площадь была покрыта сугробами, темный весенний снег покрывал братские могилы и кучи кирпича, оставшиеся после ноябрьских событий. Расчищенная дорога вела к Спасским воротам и оттуда по Ильинке тянулась к Старой площади. Именно там и проезжали на машинах бонзы из Кремля. А иногда этой дорогой ездили грузовики или даже броневики с пулеметами.

В конце марта в музей залезли грабители и убили сторожа одноногого солдата.

Тогда комендант Кремля Мальков прислал охрану — латышей, которых называл надеждой революции. Латыши первые два дня никого не пускали в музей, потому что у сотрудников не было документов. Хранитель музея ходил к Малькову, чтобы дали паек для сотрудников. Мальков послал к Бонч-Бруевичу, потому что тот разбирался в искусстве и культуре. Паек иногда давали, а иногда не давали, потому что в приоритетах Кремля музей не был первым.

Большинство залов было заперто, а некоторые даже забиты досками.

Во всем музее топились две или три буржуйки. Одна как раз на первом этаже в отделе археологии.

###### \* \* \*

Нина Островская получила комнату в доме Советов, бывшем «Метрополе».

Она сказала Коле:

— Я не могу поселить тебя со мной, Не потому что проявляю буржуазную стыдливость.

Я боюсь недоверия со стороны моих старых товарищей. Ты для них подозрительный элемент. Поживешь пока в общежитии Чрезвычайной Комиссии. Несколько дней. Я добуду для тебя отдельную комнату. Потерпи.

Нина говорила виновато.

Она привязалась к своему спутнику, который получил странное звание «Член Крымской делегации».

Сама она к Лацису не пошла, но позвонила по телефону.

Лацис был занят, его секретарь, краснолицый финн, выдал Коле ордер на подселение, слова при том не сказал, потом Коля не мог понять, почему он решил, что секретарь — финн?

Общежитие располагалось на Лубянском проезде, в здании первого кадетского корпуса. В дортуарах, рассчитанных на двадцать мальчиков, спали младшие командиры и полуответственные сотрудники Комиссии. Беспорядок царил ужасающий — все были страшно заняты, молоды, неопрятны, прибегали в комнату только поспать — максимально, давалось поспать десять часов — спали одиннадцать, выдавались полчаса — спали час. Там же перекусывали, порой и выпивали.

Коле досталась крайняя койка. От прежнего ее хозяина осталось несвежее белье и вафельное полотенце.

На соседней койке спал, вытянувшись во всю длину подростковой койки, молодой чернобородый детина кавказского или семитского вида. Он весело храпел и шевелил толстыми губами.

Коля аккуратно разделся и положил свое добро на тумбочку, а брюки повесил на спинку. Он всегда был аккуратен. Хоть у него была лишь одна смена белья, английский френч, который купила ему Ниночка в Киеве, и уланские синие брюки, Коля старался, и это ему удавалось, выглядеть подтянутым, чистым и отглаженным.

Это было сделать непросто.

Сосед по койке открыл глаза. Не шевельнувшись, даже не вздохнув и ничем не показан, что проснулся.

Поэтому, когда он заговорил, Коля вздрогнул от неожиданности, чем соседа развеселил.

— А ты беляк! — засмеялся он. — Белая кость, голубая кровь. К стенке тебя поставить придется.

— Как вы смеете! — возмутился Коля.

Возмутился, потому что испугался. И хоть он понимал, что вряд ли те, кто имеет право ставить к стенке, спят на койке в этом зале, но слова были неожиданными и попали в цель.

— А я таких навидался, пока мы в Одессе контру крушили.

Брюнет сладко потянулся. Только тут Коля понял, что он спал в очень блестящих хромовых сапогах.

Черная густая борода была аккуратно подстрижена.

— Здесь не Одесса, — сказал Коля, он старался, чтобы голос не дрогнул. В конце концов — он эмиссар Крымского Совета, большевик и не сегодня-завтра переедет отсюда в достойную квартиру.

— Где я тебя видел? спросил брюнет. — Ты в Одессе был?

— Нет.

Коля улегся на койку и прикрылся серым солдатским одеялом, точно по пояс.

— А в Крыму?

— Я из Крыма.

— Из Феодосии?

Коля насторожился. Меньше всего ему хотелось встретить знакомого по Феодосии, который наверняка знал бы его настоящее имя.

— Я вас в Крыму не видел.

Коля еще не научился к товарищескому, на «ты», обращению большевиков.

— По разные стороны баррикад, — сказал брюнет. — Мой полк ваших из Феодосии выбросил в горы, Вот я где тебя видал!

— Я в Феодосии три года как не был, — сказал Коля, и свой тон ему не понравился.

Будто он оправдывался.

— У меня память на лица, — заявил брюнет, резко, одним движением, словно прыжком, сел на койке, — давай знакомиться, контра. Меня Яшей зовут. Яшка Блюмкин. Не слыхал? Помощник начальника штаба третьей армии, Ветеран революции. Жду назначения, Андрей Берестов, — представился Беккер. — Я в Москве по делам.

— Они не помешают нам провести вечер в какой-нибудь берлоге?

— У меня денег нет на берлогу, — попытался улыбнуться Коля.

— Чепуха. Смотри.

Блюмкин совершил молниеносное движение и выхватил из-под койки рыжий кожаный чемодан, небольшой, потертый, когда-то служивший в благородном доме.

Он нажал большими пальцами на замки, чемодан щелкнул, нехотя раскрылся. Блюмкин вытащил из него сорочку, которая, оказывается, прикрывала пачки денег.

— Реквизиция, — пояснил Блюмкин. — Брали банк, потом пришлось вернуть в армейскую кассу. Три с половиной миллиона вернул, а остальные здесь осели.

Теперь придется тратить. Поможешь, Андрей? Ты мне понравился.

Глаза Блюмкина были непроницаемо черными, ни одному его слову нельзя было верить, но чем-то он привлекал, люке привораживал — может, лживой и наглой откровенностью. Как потом уже убедился Коля, ни одному слову Яшки верить было и нельзя, в то же время врал он редко, находя иные способы обманывать, И не было на свете человека, который умел бы с такой же ловкостью не отвечать на вопросы.

Коле не хотелось дружить и даже гулять вместе с подозрительным типом. Внутренняя осторожность и аккуратность Беккера призывали его держаться от Яши подальше, но гипнотические способности настойчивого Блюмкина оказались сильнее.

К собственному удивлению, Коля пришел в себя лишь в небольшом шумном ресторане «Элит» при гостинице на Неглинном проезде.

Яша Блюмкин, здесь многим уже известный, пил много и бестолково, угощал приблудившихся к столику дам революционного полусвета и сомнительных персон в кожаных куртках, как у авиаторов — мода бурных лет, — обнимался, а потом впал в пустой гнев, вытащил маузер и принялся палить по люстрам, стараясь побольше нашкодить. Стрелять он не умел.

Коля незаметно поднялся и ушел.

Он не поехал в общежитие. Он представил, что Блюмкин придет пьяный и будет вязаться к нему. Придется приласкать Нину и остаться у нее. Карьера радикала требует жертв.

Нина была в номере.

Как всегда, она работала. На этот раз писала справку для наркомовца Сталина. Его интересовали перспективы отношений Украины и Крыма, насколько вооружены и организованы татары.

— Хорошо, что ты пришел. — Нина подставила щеку для поцелуя. — Я тебе сделаю чай.

— Погоди, — сказал Коля и стал поворачивать ее голову, чтобы поцеловать в губы.

Ты пил? — спросила Нина, хмурясь. — Где? Почему? Что с тобой происходит?

— Потом, Нина, потом! Я хочу тебя, Нина!

— Не сходи с ума!

Она сопротивлялась и пыталась вырваться.

Она раньше не видела Колю пьяным и не была готова к такой перемене в нем. А Коля не знал, что Нина боится пьяных.

В двенадцатом году в деревне за Тобольском она попала на свадьбу. Ссыльных там было немного — она одна молодая женщина. Тая все напились, она тоже пила, потом стало душно, она вышла на свежий воздух. Они напали, свои же, давно знакомые, такие мирные и обстоятельные крестьяне; они затащили ее в баню и там втроем, хоть она молила ее пощадить, надругались над ней, да еще потом Семен Кузнец вернулся в баню, где она лежала на полке, и избил ее за то, что его штаны были измазаны ее кровью. Нина никому не посмела сказать, понимая, что будет хуже.

Позор падет на нее. Что, кому ты объяснишь? Можно только отомстить. Отомстить так, чтобы лишь жертва мести — а это обязательно — знала, за что ее настигла кара.

Она лежала в бане долго, почти до рассвета, там было холодно и сыро, она знала, что выживет, чтобы наяву увидеть то, что рисовало ей воображение, как она приезжает в то село, а за ней скачут красные рыцари революции, паладины справедливой мести. И под тремя виселицами стоят, понурившись, насильники. Она проходит мимо них и спрашивает каждого: «Ты помнишь?» Они молят о пощаде. Но пощады не будет...

Тогда она боялась забеременеть или подхватить дурную болезнь, Но обошлось. Она даже не видела больше насильников — по заявлению ее перевели в Николаевское, где была больница, санитаркой.

К счастью для Коли, он не был настойчив и, чутко ощутив ее отвращение, догадался, что оно связано с водкой.

Но он не мог догадаться, что, если бы ее револьвер не был спрятан в запертом ящике письменного стола, она, не колеблясь, разрядила бы его в возлюбленного, к которому испытывала лишь страх и отвращение.

Коля успокоился, но не ушел, как она ни просила об этом.

Он заснул на кушетке, подогнув ноги. Он не мог заставить себя вернуться к Блюмкину.

У каждого была своя постыдная тайна.

Он заснул, лицо стало чистым, беззащитным, добрым.

Нина села рядом с кушеткой на стул и долго рассматривала Колю, любуясь им, как мать любуется ребеночком.

Коле снилась Ялта, вечер на набережной, Лидочка, которая убегала от него в парке, и ее никак нельзя было догнать, потому что этому противились деревья и кусты.

###### \* \* \*

Передышка, которую получил и отстаивал Ленин, была унизительной и грабительской.

Недаром и сам Ленин называл Брестский мир «похабным». Украину отстоять не удалось. Скоропадский спелся с бошами и старался накормить Германию украинской пшеницей и салом. Это ему не удавалось. Даже железные дороги сопротивлялись этому грабежу. Под немцами оказалась вся Прибалтика, Латвия провозгласила независимость в рамках Германской империи, была потеряна Белоруссия, пользуясь разбродом в Закавказье, турки и немцы вошли в республики, где остатки русской армии держали нейтралитет, и лишь армянские отряды могли и желали сопротивляться.

И как бы ни возмущались грузинские и армянские националисты, понимая, что Брестским миром русские большевики предали их, потому что равнодушно отдали Четвертному Союзу Карс и Батум, а турки двинулись и далее, На очереди был Баку.

Немцы презирали ими же подписанный договор и, как только представлялась возможность, продвигались на восток. Москва слала протесты по доводу оккупации Ростова и Донбасса, но ничем не могла их подкрепить.

Весной лишь Ленин и несколько близких к нему политиков продолжали отстаивать Брестский мир, потому что Ленин полагал, что Германия заинтересована в том, чтобы он оставался у власти. Другое правительство в России разорвало бы договор и стало сопротивляться.

А Ленин ждал и вел арьергардные бои на всех фронтах против своих же вчерашних соратников. Полностью лояльным ему оставался лишь Свердлов, в основном его поддерживал Троцкий. Левые коммунисты во главе с Бухариным, Ломовым и Дзержинским уже начали угрожать — выступая против Ленина, они еще не ставили вопроса о его уходе. Но это было делом завтрашнего дня.

Страшнее всего для Ленина было сближение вчерашних соратников, левых коммунистов, требовавших революционной войны с Германией, с последними союзниками вне партии — с левыми эсерами. Примерно треть депутатов в Советах, треть армии и партийных ячеек шли за левыми эсерами. И если они объединятся с левыми коммунистами, а переговоры уже шли об этом, то песенка Ленина спета. Дальше революция пойдет вперед без него.

Спасало Ленина лишь то, что левые эсеры, как и левые коммунисты, были романтиками революции. Она виделась им девушкой в алом платье, на баррикаде, с простреленным знаменем в руке. Им мерещились мировая революция и победа трудящихся.

Ленин не отрицал идеи мировой революции, но относил ее на дни после поражения Германии в войне, во что он верил. Хотя важнее всего было сохранить собственную власть.

В России.

В Москве.

И если необходимо, как он любил повторять в те дни то и на Урале или в Сибири.

Россия велика, есть куда отступать. Пускай наступают немцы, все равно им, как и всем прошлым завоевателям, не одолеть российских просторов.

Время работало против Ленина. Он терял власть уже на собственной партией. Все чаще ой оставался в меньшинстве.

На юге собирались офицеры и чиновники, там начинался мятеж против большевиков.

Основной его базой стали казацкие земли дона и Кубани. Там были генералы Корнилов и Алексеев. Юг России был уже потерян, под властью ленинской партии оставался лишь центр России, что стало ясно уже весной, когда начались восстания на Волге.

Левые эсеры надеялись одолеть большевиков демократическим путем, забывая о том, что недавно с помощью левых эсеров большевики ликвидировали сначала кадетов, затем анархистов и, наконец, правых эсеров и меньшевиков, То, что было республикой социалистического единства, многопартийной свободной страной, превращалось все более в вотчину большевиков. А левые эсеры полагали в массе своей, что в спорах с большевиками и рождается история. Несмотря на разногласия, они будут и дальше идти к светлому будущему.

Это не мешало отчаянно протестовать против союза с Германией и требовать его отмены.

Многое должно было решиться 6 июля на Съезде Советов, где почти все зависело от того, смогут ли левые эсеры объединиться с левыми коммунистами, как будет вести себя забравший слишком много власти Дзержинский, куда потянутся мелкие, еще не разогнанные союзные большевикам партии.

Обе стороны готовились к решающей схватке, и дело было не в большинстве голосов, а в расчетливом коварстве противников.

Ленину противостоял ученик иезуитов, шеф Чрезвычайной Комиссии Феликс Дзержинский, хотя внешне они продолжали оставаться товарищами по партии, и Дзержинский, не щадя сил и времени, боролся с контрреволюцией.

###### \* \* \*

В гостиной был большой диван. На нем спал дядя Давид, Спальню Мария Дмитриевна уступила молодежи. Кровать там стояла широкая, двуспальная «с запасом». На ней уместились втроем — Андрей с Лидочкой и Дора. Было тесновато, тем более что на троих досталось одно стеганое ватное одеяло. По ночам начиналась борьба за место в середине, там, где наверняка тепло. Так что поверх одеяла приходилось класть пальто, Андрей вспоминал, как они ночевали с отчимом в палатке, когда бродили по крымским горам. Дора была девушкой очень серьезной, она редко улыбалась, ее лицо даже не было приспособлено к улыбке. Андрей думал, что она красивая, а Лидочка высмеивала его слова — не потому что на самом деле думала иначе, Ей не хотелось, чтобы Андрей влюбился в Дору. В ней было что-то животное, как полагала Лидочка, цыганское. Конечно, Лидочка признавала, что у Доры чудесные волосы и красивые глаза, но слишком полные губы и широкие скулы, а нос какой-то приплюснутый... Не в деталях дело, спорил с женой Андрей. Она — женщина. Объективно я признаю, что она худенькая, сутулая, и ноги у нее хоть и прямые, но совсем без икр, а когда смотришь ей в лицо, встретишься взглядом, понимаешь какая это страстная и чувственная натура.

Андрей со смехом рассказал в музее о том, что спит с двумя женщинами Лидочка ревнует, а Дора ни о чем не догадывается. Она все ждет, когда за ней придут товарищи, но почему-то сама их не разыскивает, а проводит весь день за чтением, благо в квартире обнаружилась солидная библиотека классики.

— Я бы рекомендовала тебе, Андрей, — сказала Ольга, — постелить себе на полу.

— Ревнуешь? — спросил Метелкин.

Он намеревался перейти в сектор снабжения новой армии. Армию готовили на случай угрозы Москве со стороны германцев. Сказал, что туда стали брать бывших офицеров, спецов. Если не пойдешь сам, могут поймать тебя в облаву — тогда ты уже не спец, а мертвец. Ему понравилась рифма, и он повторял ее в курилке. Революция дала народу немало свобод, но одну — права курить в самом отделе — Ольга народу не дала.

Дора писала друзьям на почту до востребования, но идти к ним не желала, ждала...

Ее друг заявился только в апреле.

Он приехал на автомобиле, и это сразу перевело Дору в категорию Важных Персон.

Сказка о Золушке, — сказала Лидочка Марии Дмитриевне, с которой они сблизились.

В Лидочке было нечто, располагавшее к ней пожилых дам. Некая порядочность и безопасность.

— Если бы мой сын не был счастливо женат, — сказала она, — я бы согласилась видеть вас своей невесткой.

Сын Марии Дмитриевны был пожилым сорокалетним мужчиной и служил где-то в армии, далеко от Москвы. Он не писал ей, да и не знал, где она находится. Но Мария Дмитриевна была убеждена, что с ним ничего не случится.

Друга Доры звали Сергеем Дмитриевичем. Он был среднего роста подтянутым мужчиной в английском френче и без головного убора. Его тяжелое барское лицо украшала эспаньолка.

Дора сама открыла ему дверь и провела гостя в комнату.

Она была строга и торжественна. Она представила его Давиду Леонтьевичу и Андрею, которые оказались дома.

— Сергей Дмитриевич, — сказала она. — Мстиславский.

Давид Леонтьевич сложил мягкие руки на животе и склонил голову, как умный попугай.

— Нет, вы только подумайте! — воскликнул он. — Самый настоящий граф, а мы даже не дали вам присесть.

— Я не граф, ответил Мстиславский, — Это мой псевдоним.

— Вы хотите сказать кличка?

И тогда Андрей сообразил, чего старик посмеивается над графом или князем, что он сразу догадался о том, что к ним заявился ложный человек. Самозванец.

Мстиславский не знал, кто стоит перед ним, потому был осторожен.

— Пускай будет кличка, — согласился он.

— А настоящая фамилия, если имеется?

— Настоящая — Масловский.

— Какой простой результат! Вы только подумайте. Просто Масловский.

Мстиславский обратился за поддержкой к Доре Ройтман, но поддержки не получил.

Дора собирала свою сумку и не слушала, о чем говорят мужчины.

— Значит, вы эсер, — сказал Давид Леонтьевич.

— Почему вы так уверены?

— Потому что вы самозванец и возвышенный тип. Кадеты и октябристы кличек не приемлют, они не склонны к секретам и грабежам. У эсдеков клички деловые. Чтобы не догадались. А догадавшись, задумались. И еще они предпочитают, понимаете, скрывать свое нерусское происхождение. Вы знаете, что я уже ходил в некоторые учреждения в поисках моего сына, И не нашел, Я думаю, что мой мальчик ходит по улицам под кличкой Молотов или Топоров, а может быть, Каменный или Твердый. А вы — Мстиславский. Вы знаете, что обязательно проиграете. Потому что мальчики, играющие в войну, всегда проигрывают дядям, которые не играют, а воюют.

— Мы, левые эсеры, — сказал Мстиславский, — не играем, а действуем.

— Вместе с большевиками?

— Сейчас вместе, потому что у нас общие цели. — Мстиславский нервно дернул себя за эспаньолку. И стал похож на козла.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Давид Леонтьевич. — И вы состоите в учреждении?

— Я нигде не состою, — ответил Мстиславский. — Я недавно вернулся из Брест-Литовска, где состоял в делегации от Советской России на переговорах с Германией.

— Ага! — воскликнул старик. — Это там вы продали немцам всю мою Украину. Ну спасибо, господин князь.

— У нас не было выбора. Иначе бы Германия уже захватила Петроград.

— Похабный мир? Так, кажется, сказал ваш Ленин?

— Не имею чести состоять в его партии! — взвился Мстиславский.

— Я готова, — сказала Дора.

Она подошла попрощаться к Давиду Леонтьевичу.

— Значит, ты тоже из эсеров? — спросил Давид Леонтьевич.

— У меня нет красивой клички, — сказала Дора.

— А какая?

— Фанни Каплан, — сказал за Дору Мстиславский. — Все революционеры знают Фанни.

— Почему? — спросил Андрей. — Вы боевик?

— В двадцать лет меня приговорили к пожизненной каторге, — сказала Дора. Видно, собралась уходить и решилась признаться. — Я прошла пешком по этапу в ножных и ручных кандалах. Знаете, что я даже в Крыму купалась в длинной рубашке? У меня на щиколотках шрамы. Уродливые шрамы. На кистях рук почти прошли, а на щиколотках остались. И это не забывается.

— Фанни пользуется глубоким уважением в партии, — сказал Мстиславский.

— В вашей партии?

— Я не принадлежу к партии, — сказала Дора. — Эсеры считают меня эсеркой, анархисты тоже думают, что я из их партии. Эсдеки... Дмитрий Ильич уговаривал меня перейти к эсдекам, но я считаю, что все эсдеки — предатели революции. И его братец в первых рядах!

— Дмитрий Ильич Ульянов заведует в Крыму санаторием мя революционеров. Каторжане проходят там лечение, — пояснил Мстиславский.

Под окном гуднула машина.

— Пошли, — сказал Мстиславский, — машина должна вернуться в Чека. Ее нам дал Александрович.

— А где я буду жить? — спросила Фанни.

— В первом доме Советов. Мы договорились с Бонч-Бруевичем.

Фанни обернулась к Андрею, подошла поближе и, привстав на цыпочки — она была невысока ростом, — поцеловала его в щеку. Ее карие прекрасные глаза были совсем близко. Андрей ответил на поцелуй.

Фанни отстранилась.

— Передайте привет вашей Лидочке, — сказала она. — Я сожалею, что наши с ней отношения не сложились.

— Нет, ты не права...

— Больше мы, наверное, не увидимся, — сказала Фанни.

— Почему ж? Ты к нам придешь. Мы тебе всегда рады.

— Приходи, девочка, — сказал Давид Леонтьевич, — я беспокоюсь о тебе. Ты очень цельная натура.

Старик порой удивлял Андрея — откуда эти слова?

— Мне недолго осталось жить, — сказала Дора.

— Закажите ей хорошие очки, — сказал Мстиславскому Давид Леонтьевич.

— Обязательно.

Когда они ушли, Давид Леонтьевич вдруг спохватился:

— Я же сегодня горьковскую «Новую жизнь» купил. Скоро ее большевики закроют.

— Почему ж? — удивился Андрей, хотя ничего удивительного в том не было. Хоть предварительную цензуру большевики вроде бы отменили, газеты штрафовали и закрывали куда злее, чем при царе, не говоря уж о Временном правительстве.

— Так будешь слушать?

— Слушаю.

Давид Леонтьевич нацепил очки и прочел из газеты:

— Грабят изумительно, артистически. Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские склады, грабят дворцы бывших Великих князей, расхищается все, что можно расхитить, продается все, что можно продать... слушай дальше, это тебя, Андрей, касается: в Феодосии солдаты даже людьми торгуют — привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок в продают их по 25 руб. за шт. Это очень самобытно, и мы можем гордиться — ничего подобного не было даже в эпоху Великой французской революции.

— Может, он преувеличивает?

— Это же лучший друг Ленина! Так что нового — ты же знаешь, как в шестом доме адвоката Киреева ограбили и всю семью вырезали?

Андрей не ответил.

Давид Леонтьевич сменил тему.

— Объявлено, — сказал он, — что трудящимся будут продавать конину. Первый сорт по рублю с полтиной за фунт, второй — по рублю. И знаешь? Ты меня слушаешь?

— Да.

— Значит, мы с тобой уже два месяца жрем эту конину, В колбасе.

— Может быть. Мне пора идти.

— Иди, иди, а большевики уже создают армию. Ты знаешь, что они назначили этого Троцкого наркомом по военным делам?

— Он друг Ленина. Воевать не будут.

— А с Калединым, с Алексеевым, с Корниловым?

###### \* \* \*

Андрей признался Метелкину, что у него есть доллары.

— Липовые? — спросил Метелкин.

Но сам подобрался, как тигр перед прыжком.

— С чего вы так решили?

— В Трапезунде наши не раз попадались. Туда их привозили из Германии. Сделаны как в аптеке.

— Нет, они еще довоенные, мне от дяди остались.

— Покажи.

Разговор происходил в курительной комнате, они сидели рядом на скамье. Андрей достал двадцатидолларовую купюру. Метелкин поднялся, отошел к свету. Андрей закурил. Табак был плохой в нем, если затянуться, что-то взрывалось и шипело.

— Похоже на настоящую, — сказал Метелкин. — Но много нам с тобой не получить.

Рискованно. Если поймают — расстрел за валютные операции. Ты меня понимаешь?

— Я понимаю, что теперь у нас за все расстрел.

— Не шути, и у стен есть уши.

Даже здесь?

— Мы находимся в опасной близости к правительству. Сколько их у тебя?

Андрей решил поменять столько, чтобы не вызвать подозрений у Метелкина, и в то же время столько, чтобы не обращаться к нему в ближайшее время снова. С Метелкиным было спокойнее, чем с другим. Он был испытанным, опытным жуликом. И непотопляемым.

— Двести, — сказал Андрей.

Метелкин присвистнул.

— Почти двести. — Андрей испугался, что переборщил.

— Ты меня втягиваешь в опасную авантюру! — Метелкин был счастлив. Видно, давно его никто не втягивал.

Через два дня Метелкин принес пакет с деньгами и принялся было объяснять, почему так много пришлось отдать посреднику. Но Андрей слушал его вполуха. Он не знал курса обмена, и не потому, что был наивен, — просто не у кого было спросить.

Когда все валютные дела загнаны в подполье, лучше не задавать лишних вопросов.

Зато прямо из музея он поспешил на Сухаревку.

Деньги он рассовал по разным карманам, полагая, что если нор вытащит толику, то в другой карман не полезет.

Но видно, он вообще не вызывал у воров никаких позывов, его они обошли вниманием.

За первые недели в Москве он на Сухаревку не выбирался и не представлял, что именно она стала и чревом, и одеждой большевистской империи.

Андрей полагал, что если отыщет что-нибудь из носильных вещей, то сделает Лидочке сюрприз. Но скоро он пожалел о своем решении. Вещи были ношеные, мятые, а если и попадалось что-то приличное на вид, Андрею скоро стало казаться, что все это обман.

Конечно, идти надо было вместе с Лидочкой, тем более что Андрею так хотелось чего-нибудь купить для нее. Но деньги жгли руки — Андрею хотелось сегодня же, сейчас же купить нечто сюрпризное, красивое и очень нужное. А так как заранее он планов себе не составил, то, попав в столпотворение Сухаревки, растерялся, и ему хватило ума отказаться от наполеоновских планов, ограничиться необходимыми вещами и отложить настоящий набег на воскресенье.

Когда Андрей, приобретя коробку довоенного зубного порошка, кусок хорошего туалетного мыла, совсем новую сковородку — мечту Марии Дмитриевны, — вафельное полотенце и бутылку подсолнечного масла, продвигался к выходу, на Сретенку, он буквально налетел на стоящего посреди прохода нелепого очкастого соседа сверху, похожего на голодную стрекозу. В одной руке тот держал клетку с белыми мышами, а другой совершал летательные движения, в которых была некая элегантность, может, потому, что короткий рукав пиджака засучился, и белая тонкая рука заканчивалась такими тонкими и широко растопыренными пальцами, что они казались перьями.

Этого мужчину Андрей встречал раза два на лестнице или у подъезда. Он поспешил пройти мимо, сделав вид, что не узнал соседа, чтобы его не смутить. Не всем приятно, когда их ловят за занятием постыдным. Вряд ли сосед гордится торговлей мышами.

— Остановитесь! — Тонкие пальцы вцепились в рукав Андрея. — Ваше лицо мне знакомо. Я могу ожидать от вас сочувствия и денежной помощи.

— Здравствуйте, — сказал Андрей. — Мы с вами живем в одном доме на Болотной площади.

— Значит, вы не биолог?

— Я археолог.

— Тогда купите крысу, Они чрезвычайно сообразительны. Когда-нибудь вы будете гордиться тем, что помогли великому ученому в скорбную минуту.

Андрею хотелось спросить, неужели сосед на самом деле полагает себя великим ученым? Что он голодный ученый — это печальный факт.

— Нет, — ответил на непроизнесенный вопрос человек в стрекозиных очках. — Их есть нельзя. Это все равно что забивать гвозди хрустальной вазой. Эти крысы — плоды труда одинокого гения...

Сосед сделал паузу и представился:

— Доктор Миллер. Девичья фамилия Мельник, — Сосед рассмеялся.

Потом принялся уговаривать Андрея:

— Ну постойте рядом со мной еще минут десять. Вы приносите счастье. Я чувствую.

Если я не продам моих крысок, то мне нечем будет кормить мой зоопарк. Ведь вы не хотите, чтобы я отрезал от себя филейные части?

— Зачем такие крайности? — возразил Андрей. — Вы же можете кормить мышей мышами?

— Какими?

— Вот этими, которых вы продаете.

— Еще чего не хватало! Что я, людоед какой-нибудь?

Андрей не хотел спорить, но помимо воли язык произнес;

— А если покупатель их поджарит? Времена у нас голодные.

Сосед задумался. Он был совершенно серьезен.

— Ах, — сказал он. — Ну почему я не подумал о такой трагической возможности?

— Вам жалко мышей?

— Во-первых, — Миллер блеснул очками, которые подхватили лучи послеполуденного солнца и, сконцентрировав, кинули их в лицо Андрею — во-первых, это не мыши, а крысы. Мне надоело повторять банальные истины. Во-вторых, мне их жалко. В-третьих, я немедленно возвращаюсь домой, а вы ссужаете мне десять рублей. Всего десять рублей. Они у вас есть. Иначе бы не покупали такие ненужные человеку вещи, как подсолнечное масло. Дома вы мне, кстати, отольете из бутылки. Она слишком велика я вас, молодой человек.

Это было сказано тоном пожилого профессора, хотя судя по всему, Миллер был вовсе не стар.

— Сколько вам лет? — спросил Андрей.

— Мне двадцать шесть лет, но я выгляжу моложе. И учтите, что в моем возрасте Эварист Галуа уже погиб на дуэли, а Александр Македонский был близок к смерти.

Андрей достал из кармана брюк десятку. Миллер заметил, что десятка не одинока, и заявил:

— Вам придется расстаться еще с десяткой, потому что у меня оторвалась подошва.

Он поднял по-птичьи ногу, и Андрей, к ужасу, убедился в том что, вместо подошвы в правом ботинке видна черная ступня. Просто голая ступня.

— Ведь еще так холодно! — произнес он. — Земля холодная, снег недавно сошел.

— Вот именно! — заявил Миллер. — Вы намерены ссудить мне еще червонец?

— Разумеется, — согласился Андрей.

— Тогда я вам гарантирую место на трибуне мя почетных гостей, — сказал Миллер, — в день, когда я буду получать Нобелевскую премию.

— Не больше и не меньше, — улыбнулся Андрей.

— А я больше не намерен мелочиться, — сказал Миллер-Мельник. — Меня встречают и провожают по одежке. То есть я сам задаю уровень славословия или критики. Вы не проголодались?

— Не отказался бы от чашки чая, — сказал Андрей, который видел, что Миллеру-Мельнику просить невмочь, что он мысленно перешел рубеж, за которым выцыганивать подачки неприлично. Но замерз он безмерно — неизвестно еще, сколько он простоял на Сухаревке со своей клеткой.

Андрей покосился на клетку. Мыши сбились в кучку в углу — им тоже было холодно, а может, укачало от ходьбы.

Они зашли в сомнительного вида трактир на Сретенке. Половой долго игнорировал их.

Потом все же принес чайник с заваркой и самовар — это обошлось Андрею в пять рублей, да еще три рубля сахар. От еды Миллер-Мельник категорически отказался, Но тайком — думал, что Андрей не заметит, — сунул между прутьями клетки кусок сахара. Мыши засуетились, сбились вокруг лакомства.

— А в чем сущность вашей работы? — спросил Андрей, пока они ожидали чай.

Миллер ждал вопроса. Но отвечал снисходительно. Острый красный нос торчал между выпуклыми линзами очков, глаза были преувеличенно велики, а губы сжаты в линейку.

Ничего особенного в лице не было.

— Я физик, — сказал он, — но я не открываю законов, я экспериментирую. Я добиваюсь реальной власти над природой. Я ее калечу, изменяю и в конечном счете совершенствую. Мой конек — пустота. Вам этого не понять, ибо вы гуманитарий, а я и не буду стараться вам объяснять, Характер у физика был женский. Андрей с детства не выносил этой девичьей логики:

«Ах, что я знаю, но не скажу!» А так хочется сказать всему миру!

— Не хотите, не надо, — сказал Андрей. Но, конечно же, ему было любопытно узнать, чем его сосед занимается, Он мог быть чудаком, но не жуликом.

Половой принес самовар. Вот тут Миллер-Мельник скормил мышкам еще кусочек сахара.

Андрею не хотелось, чтобы половой это заметил.

— Вы представляете себе строение материи? — строго спросил Миллер.

— А как вас зовут? — спросил Андрей. — Я имею в виду имя.

— Разумеется, Григорий, — ответил Миллер и продолжал: — Основное содержание Вселенной — пустота, ничто! Вы можете себе это представить?

— Я слышал об этом, — сказал Андрей. Он отлично помнил лекции отчима о строении молекул и атомов.

— Ничтожную долю пространства занимает ядро атома, — сказал Миллер, который рисовал классическую модель атома, схожую с моделью Солнечной системы, пальцем на грязной скатерти. — Еще меньше места оккупирует электрон. Вкратце моя задача была в том, чтобы манипулировать расстояниями между материальными микрочастицами материи. Я понял, что, сближая атомы, мы можем уменьшать размеры материальных объектов. Вы следите за ходом моих рассуждений?

— Но как это сделать практически, не нарушая законов материи? — спросил Андрей.

— А вот тут, батенька, вы очень и очень ошибаетесь! — закричал Миллер-Мельник пронзительно. Немногочисленные посетители обернулись в его сторону, а буфетчик перегнулся вперед, будто намеревался перепрыгнуть через стойку и применить силу к крикуну.

Миллер стукнул бледным кулаком по столу так, что чашки зазвенели.

— То, чего я добился, человечество поймет и изготовит через сто лет. А я уже сейчас... сейчас! Вы смотрите!

Он нагнулся, открыл дверцу в клетку, вытащил оттуда белую мышку и стал совать под нос Андрею.

Черные бусинки мышиных глаз уставились бессмысленно ва самовар, остальные мыши прыснули из клетки в разные стороны, половой завизжал и вспрыгнул на стол, ножка стола подломилась, и половой полетел к стойке, хозяин, а может, буфетчик уже несся к Андрею и с помощью кого-то из посетителей вытолкал Андрея с Миллером на улицу, но там не забыл получить с Андрея за чай, сломанный стол и испуг полового.

Обратно шли раздельно. Вернее, Андрей шагал сам по себе и сердился на Миллера, хотя понимал, что сам виноват — физический гений с первой же минуты был открыт и не таился.

Миллер-Мельник шел сзади, шагах в трех, скользил по лужам и плюхам грязи, оставшимся от растаявших сугробов, и невнятно бормотал, будто решал некие физические задачи.

На следующий день, не дождавшись воскресенья, они вместе с Лидочкой пошли на Сухаревку.

Лидочка все время спрашивала, сколько осталось денег — а можно еще и это купить?

— Андрей еще вчера вечером пытался дать ей отчет в расходах и возможностях, но тогда она не слушала. А теперь спохватилась, хотя прямого вопроса — насколько мы богаты, сказочно или просто так, — она не задавала.

Лидочка вернулась в Новых, вполне приличных туфлях и полупальто. Она была счастлива, туфли поставила на ночь возле кровати, ночью просыпалась, чтобы на них поглядеть.

Так она делала всегда.

###### \* \* \*

Нина Островская раздобыла комнату для Коли Беккера.

Правда, не номер, как у ведущих большевиков, живших в «Метрополе», а бывшую комнату горничных. Потому в ней не оказалось туалета и умывальника — приходилось ходить в конец коридора. Но это было не столь важно.

Как-то на совещании работников южных областей в доме генерал-губернатора Коля встретил Блюмкина. Тот был серьезен, трезв и изображал из себя большого начальника.

— Ты где теперь? — спросил он Колю, как старого приятеля.

— В аппарате Цвика, — ответил Коля, А ты?

— У меня отдел в Чрезвычайке. Травлю контру. Международную контру.

Так они и разошлись, не поверив до конца друг другу и еще раз убедившись во взаимной неприязни.

Неравноправие овладевало большевиками стремительно. Хотя далеко не всегда это было очевидно. Но самая верхушка обосновалась в Кремле, где целый корпус был выделен под квартиры вождей и самых близких лакеев, Например, лакею от поэзии Демьяну Бедному. Во дворе Кремля играли детишки вождей, ибо вожди были не стары, самому старшему, Ленину, не было и пятидесяти.

Московских обывателей потрясало то, что Кремль закрыли для простого народа, а ведь там еще вчера были монастыри и храмы — для всех.

С переездом «обожаемых» в Москву здесь в спешном порядке, порой в 24 часа, реквизируют особняки, гостиницы, магазины, целые небоскребы или их части, чтобы разместиться всем правительственным учреждениям и служащим в них. Многие семьи буквально выбрасываются на улицу со всем своим скарбом. Что церемониться с бездарными, глупыми и подлыми «буржуями», писал простой обыватель Окунев в своем дневнике, Конечно, гостиницы конфисковать и заселять было проще всего. Даже выкидывать никого, кроме постояльцев и хозяев, не приходилось. «Метрополь» стал вторым по рангу домом для элиты после Кремля. Во-первых, он стоял рядом, во-вторых, комнаты в нем были получше кремлевских, просторнее, правда, не все с удобствами.

Рестораны в этих гостиницах стали спецстоловыми, и это было удобно, потому что дороговизна и нехватка продуктов душили Москву, а в столовой ты мог досыта наесться — по ценам позавчерашнего дня. За этим следил наркомат внутренних дел.

Далеко не всем вождям и слугам народа было удобно и приятно обитать в гостиницах.

Хотелось чего-то более надежного, ясно было, что в гостинице ты всегда постоялец, и выгнать тебя могут с любым понижением по службе. И тут началась жилищная революция. Сначала пошли уплотнения. Для легализации их весной восемнадцатого года был издан указ о том, что каждый человек имеет право на 20 квадратных метров жилья плюс десять на семью. Кстати, эта норма в последующие годы была сокращена, и человек в СССР имел право занимать собой лишь девять метров площади плюс четыре метра на семью.

Но и первоначальный декрет, вкупе с разъяснением, по которому эксплуататоры и паразиты вообще лишались права на площадь, давал замечательную возможность освободить от жильцов тысячи квартир в солидных домах, где семья занимала обычно пять-шесть комнат. Эта семья либо переезжала в одну из комнат, а остальные раздавались партийной и бюрократической мелочи — по комнате-две на рыло, либо вся квартира целиком переходила к переселенцу из дома Советов — «Метрополя». Но советские коммуналки — славное изобретение революции — возникли именно в восемнадцатом году и просуществовали около ста лет. По крайней мере в дни, когда писалась эта книга, петербургский центр оставался «коммунальным с пятью семьями к одному унитазу и кухней, где у каждой хозяйки есть конфорка на плите и кухонный столик, В освободившиеся номера „Метрополя“ въезжали новые высокопоставленные, но потенциально временные жильцы. Особенно эта бывшая гостиница полюбилась интернационалистам — иностранным коммунистам и попутчикам. И по мере их уничтожения в номера въезжали новые, обреченные на расстрел при следующем этапе террора немцы и поляки.

Дом на Болотной площади был небогат, и квартиры там были почти бедные. Возможно, пришельцев из Киева выгнали бы в какое-нибудь пригородное общежитие, но Андрей пожертвовал еще сотней долларов, и Метелкин раздобыл всем троим — Берестовым и Давиду Леонтьевичу — прописку. А Мария Дмитриевна, хоть и принадлежала к породе эксплуататоров, почему-то получила права на большую комнату.

Это было почти чудом. Но в трех комнатах квартиры теперь обитали всего четыре человека, причем среди них не было ни одного истинного пролетария.

Так что положение настоящих Берестовых было куда более надежным, чем у Коли Беккера. Каморка горничных — чулан для половых щеток и тряпок, а может быть, бельевая — кто там разберет — обещала ненадежность и даже таила угрозу. Мало кто из соседей по этажу намеревался задерживаться либо надеялся задержаться здесь надолго. В Кремле все квартиры были уже разобраны, и оставалась надежда перебраться в выселенные адвокатские жилища.

Нина Островская держала Колю при себе в качестве секретаря, хотя об этом не говорилось вслух. Она делала вид, что приискивает Коле соответствующее его талантам место, но не спешила, потому что окончательно влюбилась в Колю и не желала расставаться с ним надолго: Москва — город соблазнов и развратных женщин с буржуазным прошлым. А в классовом отношении, как понимала Нина, Коля подвержен стремлениям к своему буржуазному окружению.

Вечером, придя вместе с Ниной с совещания в ЦК, Коля поужинал в столовой, было там пусто, полутемно, почти все жильцы отужинали, он взял гуляш и компот и половину булки.

Коля был голоден и жадно поглощал скользкий гуляш, так что сначала не обратил внимания на женщину, которая сидела за два столика от него, в углу, отвернувшись к стене, так что Коле было видно ухо и часть щеки, И все же Коля ее узнал. Может, потому, что впервые увидел ее также сзади.

А волосы были чудесные — густые, почти черные, волнистые...

Девушка обернулась быстро и испуганно, как оборачивается птица.

На ней были очки в толстой роговой оправе, лицо от этого изменилось.

На кухне открылась дверь, и луч яркого света упал на лицо девушки. Глаза были светлые, прозрачные, зрачки увеличены линзами очков.

Густые горизонтальные брови.

Высокие скулы и полные яркие и не накрашенные губы.

Это было чувственное, прекрасное, хоть и некрасивое лицо. Лицо-противоречие, лицо-парадокс. Робкое и отважное, если бывают робкие и отважные лица.

Она узнала Колю.

Она улыбнулась ему, несмело, потому что не была уверена, что встретит в ответ улыбку или узнавание, Коля взял стакан с компотом и перешел к ней за стол.

— Мы виделись с вами, — сказал он. — Здравствуйте.

— Вы мой спаситель, — сказала девушка низким голосом, который так соответствовал грубым чертам ее лица.

— Как странно, — сказал Коля. — Вот не ожидал вас увидеть здесь.

— Сюда все приезжают, — сказала девушка. — А мы ведь не знакомы?

— Там не было возможности представиться — сказал Коля.

Девушка протянула руку через стол.

— Фанни — сказала она. — Фанни Каплан. Это моя партийная кличка, как говорит Давид Леонтьевич.

— Кто?

— Один хороший старик, — сказала Фанни.

— Фанни? — повторил Коля.

— Вообще-то можете звать меня Дорой. А как вас зовут?

— Моя партийная кличка, — улыбнулся Коля, — Андрей Берестов.

— А имя?

— Можете называть меня Колей.

— Мы живем в ненастоящем мире, — сказала Фанни, — Все вокруг придумано. Знаете, я провела много лет на каторге и в тюрьмах. И когда произошла революция, я просто растерялась. Честное слово. Я знала этих людей обритыми, голодными, безнадежными, умирающими и даже, извините, вшивыми. А потом вдруг произошло то, чего мы сами не ждали. Мы всегда говорили о революции, о победе над царем и его сатрапами, об освобождении народа, а сами не знали, как это будет выглядеть. Так что когда это случилось, наверху оказались самые шустрые, хитрые и безжалостные.

И знаете — народ ничего не получил, а мы, революционеры, сразу многое получили.

И теперь будем биться вокруг кормушки.

— Вы расстроены? — спросил Коля.

— В России будет не лучше, чем раньше.

— А свобода?

— Неужели вы думаете, что Ленин и Троцкий оставят кому-то хоть глоток свободы.

Вы большевик?

— Не знаю, — сказал Коля. И он был искренен.

— Меня считают эсеркой, по крайней мере так меня называют твои друзья.

— Я не большевик.

— Вы друг Островской. Мы же замкнутый мирок профессионалов, как актеры одного провинциального театра. Не так много тюрем для политических, не так много пересылок и этапов. Даже деревень для ссылок не так много. Побываешь полдюжины раз в ссылке или на каторге и уже будешь знать, что думает Свердлов о Достоевском или какие пирожки Надя Крупская печет мужу.

— А она печет?

— Раньше пекла, а потом этим занималась его любовница.

— И кто же его любовница?

— Коля, это еще рано знать, — засмеялась Фанни. — Главное, что я зимой прожила месяц в санатории для партийцев, восстанавливала здоровье, потерянное на каторге, и восстанавливала его во дворце одного из членов несчастного царского семейства.

— Зачем вы мне все это говорите?

— Потому что вы, большевики, уже предали революцию.

— Вы все-таки жили в том санатории?

— Меня уговорил Дима Ульянов, мой старый друг. Это чудесный человек. И вообще семья Ульяновых мне очень приятна.

— Вся семья?

— Разумеется, кроме Владимира. Владимира Ильича. Он мне годится в отцы.

— А теперь вы живете в «Метрополе»? — спросил Коля.

— В первом доме Советов, — улыбнулась Фанни. А вы?

— В чулане для щеток и тряпок.

— Когда-нибудь пригласите в гости.

— Обязательно, — сказал Коля.

Они говорили, как говорят влюбленные, хотя еще влюбленными не были. За простыми фразами скрывался второй, понятный лишь им самим слой. Который и не нуждался в словах.

— Вы собираетесь к своей начальнице? — спросила Фанни.

— А вы хорошо знаете Москву?

— Мне приходилось здесь бывать.

— Покажете мне?

Они пошли гулять по Москве, замерзли. Нина не ложилась спать, несколько раз выскакивала в коридор, бежала к чулану. Ей казалось, что Колю убили бандиты или забрали в Чека.

В половине двенадцатого, в очередной раз выбежав к лестнице, она увидела, как внизу в вестибюле Коля прощается с Фанни Каплан, которую она почти не знала, хотя угадала, что это именно известная эсерка, героиня покушений предвоенной поры.

Нина ничего не сказала. Она стояла на верхней площадке и смотрела на Колю. И думала при том, что даже эта молодая еврейка привлекательней для Коли, чем она, отдавшая жизнь и силы революционной борьбе.

Фанни поднялась наверх к своему номеру, на том же этаже, что и номер Островской, и Островская с ней не поздоровалась. А Коля пошел в чулан на первом этаже.

Нина ушла к себе и не спала до трех часов, она надеялась, что Коля осознает свой проступок и придет к ней. Она так желала его! Засыпая, она стала думать, как избавиться от Каплан, Надо убрать ее из Москвы.

###### \* \* \*

В разговоре Нина попросила Феликса Дзержинского пристроить временно ее помощника Берестова, хорошего парня, молодого партийца, ему надо пройти в Москве школу борьбы с контрреволюцией.

— У меня нет синекур, — ответил Феликс. — У нас работа грязная, вонючая и, главное, неблагодарная. Счастливым потомкам нашим будет невдомек, какие завалы человеческой грязи разгребали их деды. Мы же скромно отойдем в сторону и не будем об этом напоминать.

— Кто-то должен делать такую работу, — согласилась Островская. Партия не дает нам выбирать легкую жизнь, И мы платим ей за это.

— Парадокс, — вздохнул Дзержинский. — Теологическая направленность ума.

Закалялись в спорах.

— Ирония неуместна, — возразила Островская. — Я не хочу, чтобы парень просиживал брюки в конторе.

— Есть у нас отдел... Он имеет образование?

— Гимназия, два курса университета, потом вольноопределяющийся...

— Ты умеешь подбирать людей с сомнительным происхождением.

— Ты, Феликс, лучше других знаешь, насколько несущественно происхождение.

— Когда-то оно даст о себе знать.

— Не сегодня. Сегодня ты — дворянин, и Владимир Ильич — дворянин. У нас дворян больше, чем у эсеров.

— А ты из шляхты?

— Мой дед был сослан в Крым после восстания в Польше.

— Есть у нас особый отдел по борьбе с международным шпионажем, — сказал Феликс Эдмундович. — Небольшой, но важный. Его сотрудники должны знать иностранные языки.

— Кто во главе?

— Ты его не знаешь. Молодой парень, Яшка Блюмкин, выдвиженец революции. В двадцать лет он был уже помначштаба в 3-й армии. А может, ему и двадцати не было.

— Не нашлось кого-нибудь постарше?

— Хороший парень, находчивый, смелый.

— Из генштаба? — В голосе Островской звякнула ирония.

— Из хедера, — коротко ответил Дзержинский. Больше он обсуждать своего сотрудника не пожелал. Значит, с ним была связана какая-то интрига, на которую Феликс был большим спецом.

— Я пришлю Андрея завтра? К кому? К Блюмкину?

— Да, прямо к Блюмкину.

###### \* \* \*

Нина забыла фамилию заведующего отделом, но номер комнаты запомнила. Коля отправился в дом ЧК на Рождественке.

Пропуск Коле был заказан внизу.

Государство ограждало себя пропусками, литерами, допусками и прочими изобретениями революционного ума, до которых царская власть так и не додумалась.

Коля поднялся на третий этаж в 250-ю комнату.

Там стояло три стола.

Два были пустыми, канцелярскими, будто ожидающими оккупантов, а третий стол был начальствующим, по краю он был обнесен вершковой балюстрадой на деревянных точеных столбиках, покрыт зеленым сукном, на котором возлежало толстое стекло, в центре возвышался чернильный прибор — бронзовый, с медведями. Один из медведей держал чернильницу, другой — стакан для карандашей, третий лежал, положив морду на лапы, и, наконец, последний медведь являл собой папье-маше.

По сторонам на столе возвышались груды неорганизованной бумаги, за столом во вращающемся кожаном кресле сидел сам Блюмкин.

Судьба не давала им расстаться.

— А я знал, что тебя ко мне прислали, — сказал Блюмкин, вскочив из-за стола и бросившись к Коле лобызаться. — Мы славно с тобой поработаем. Должен сказать... ты садись, садись, рюмочку коньяка желаешь? Еле выцарапал тебя! Островская не отдавала. Ты с ней спишь?

Коля не знал, как обращаться теперь к Блюмкину. Был он моложе, но обладал некой способностью выплывать из безнадежных омутов жизни, И в то же время в нем была некая обреченность — явная, настоящая или напускная.

— Сейчас пойдем допрашивать Мирбаха, — сообщил он Коле. — Ты допрашивать умеешь?

— Не приходилось.

— Пора начинать, А то жизнь пройдет, а ты останешься на обочине, Блюмкин расхохотался. Он был большим, склонным к полноте человеком, хотя до полноты было еще далеко — он вскоре признается Коле, что ему еще нет двадцати, хотя во всех документах и анкетах он добавляет себе два года, чтобы его не считали мальчишкой.

В пустой комнате, куда они спустились, за голым исцарапанным столом сидел невзрачный молодой человек с узким лицом, которое сходилось к крупному, явно от другого лица приставленному носу.

— Сейчас будем с ним серьезно разговаривать, — сказал Блюмкин. — Знаешь, что за птица? Племянник графа Мирбаха!

— Простите, — сказал молодой человек, — вы ошибаетесь. Я не имею отношения к графу Мирбаху. Это случайное совпадение!

— Вот с этим мы и разберемся, — сказал Блюмкин, — Вот мой друг, — он показал на Колю, — немцев на дух не переносит. Как услышит — Ганс, Фриц, Шукер или Беккер, сразу хватается за револьвер. Правда, мой друг?

Коля пожал плечами. Даже ради успеха следствия он не смог бы признаться в испуге — а вдруг это не совпадение? Вдруг Яшка Блюмкин знает настоящую фамилию Коли?

###### \* \* \*

Воссоздавать беседы великих людей, тем более беседы тайные, когда знающие друг друга собеседники пропускают в разговоре многие детали, известные им и без обсуждения, дело неблагодарное и мало что дающее постороннему человеку. Потому чаще всего остается лишь гадать, была ли такая беседа, что привела к великой беде или, наоборот, ко благу, или ее домыслили любопытные потомки и безответственные историки.

Именно одной из задач папа Теодора и иже с ним было узнать, когда такая беседа состоится и что на ней будет в самом деле сказано. Правда, учитывать приходится, что это вовсе и не беседа, а обмен словами, порой совсем непонятными для окружающих.

В апреле большевики вместе с левыми эсерами разгромили анархистов и отобрали у них особняки, в которых они пили водку и спорили об абсолютной свободе, выставив в окна рыльца «максимов». С полтысячи анархистов арестовали, многих потом отпустили и записали добровольцев в новую Красную армию, которую организовывал товарищ Троцкий, сменивший на посту наркомвоенмора случайных людей вроде Бонч-Бруевича-младшего или Крыленко. Армию готовили для сопротивления германской агрессии, потому что в нарушение Брест-Литовского договора Германия упорно продвигала на Восток границу своих владений, все более оттесняя к Азии Советскую республику. Армия создавалась медленно, единого фронта не было, на юге и западе создавались враждебные республике режимы и армии, с ними пока дрались военные силы на местах, и из этой сумятицы вырастали, как ядовитые поганки, вожди и атаманы. Они, впрочем, плодились не только у Советов, которых начали уже называть «красными», но и у белых, Началась война Алой и Белой Розы в русском варианте. Сходство ситуации было и в том, что положение на местах определили именно бароны, у которых вместо замков были села и города, и эти бароны порой быстро меняли стороны, если им это казалось выгодным. Так, село Гуляйполе стало феодом Нестора Махно, а неподалеку в Александровске правила Маруся, Богаевский сидел на Дону, Дугов еще восточнее, в Оренбурге, а Бермонтавалов обнаружился в Латвии.

Большевиков смущала демократия, которую сразу не удавалось искоренить, потому хотя бы, что они сами шли к власти как демократическая сила. Так что весной и в начале лета 1918 года продолжали выходить, хоть и покореженные новой цензурой, газеты разного направления и самая антисоветская из них «Новая жизнь» Максима Горького. Правых эсеров большевикам с помощью эсеров левых удалось обезвредить, но оставались еще партии, которые объявили себя сторонниками большевиков, союзниками в борьбе, а союзника порой пристрелить куда труднее, чем врага, потому что сначала приходятся доказывать, что союзник на самом деле держит камень за пазухой и готовит измену. Пока что шла подготовка к Съезду Советов, а на него шли и левые эсеры, которые в деревне были куда влиятельней большевиков, и небольшие партии вроде меньшевиков-интернационалистов и схожих с ними ненужных союзников.

Но хуже всего был рост сил левых коммунистов, противников «похабного» Брестского мира, которые явно нащупывали союз с левыми эсерами, те боролись против Бреста всей партией, последовательно и непримиримо, хотя на открытое восстание или выступление не решались, опасаясь погубить этим расколом республику Советов.

Левые коммунисты, стремившиеся к революционной войне с Германией и весьма популярные в стране, стали весной настолько сильны, что многократно проваливали инициативы Ленина я постепенно выталкивали его с первого плана, потому что мир, столь горячо навязанный Лениным, привел к катастрофе.

Беседовали Свердлов и Ленин. Именно их тандем пока удерживал власть в России.

Оба были гениальными тактиками и не всегда удачными стратегами. Оба понимали, что политическая необходимость исключает понятия совести и жалости. Они любили человечество, народ, но мало кого из людей. Оба были убеждены, что людей надо заталкивать к счастью дубинками и даже пулями, ибо сам народ не знает, чего он хочет. Зато они знали.

Разговор происходил в странном для постороннего человека месте, в купальне Узкого — имения Трубецких под Москвой. Купальня была старая, традиционная, построенная для того, чтобы случайный взгляд с той стороны пруда не мог увидеть частично обнаженных господ. Она являла собой домик с крышей, в полу которого был квадратный вырез, в нем и купались. Как бы в бассейне размером три на три метра.

Со стороны большого пруда была вымостка, на ней — два плетеных соломенных кресла, а в них сидели тепло одетые вожди государства и разговаривали, будучи убежденными, что никто их не может подслушать.

Тем более что со стороны берега стояли верные охранники, которые следили за тем, чтобы с суши никто не посмел подкрасться к купальне.

Одним из трех охранников был человек с густыми бровями и глубокими глазницами, пан Теодор. Не важно, как он проник в число охранников, главное — он записывал на пленку секретную беседу.

— Надо спешить, — сказал Ленин. — Времени в обрез.

— Дзержинский встречался с Камковым, — сказал Свердлов.

— Он опаснее многих, У него везде шпионы, у него карательный аппарат, организованный куда лучше нашей армии.

— Лев думает о себе, и если Дзержинский добьется своего, он благополучно переметнется к нему.

Собеседники замолчали.

— Очевидно, левую надо будет громить на Съезде.

— Иначе будет поздно.

— Но они должны быть в чем-то виноваты. В чем?

— Владимир Ильич, — сдержанно улыбнулся организованный Свердлов. — Неужели мы не придумаем такой малости?

Это была шутка, По крайней мере настолько Свердлов позволил себе приблизиться к шутке.

Обычно юмор или скорее ирония достаются первым лицам, а их заместители предпочитают оставаться серьезными.

— Необходимо событие, — продолжал Ленин. — Событие, которое не только отвратит от эсеров трудящиеся массы, но и откроет глаза на истинную сущность эсеров.

— С одной обязательной деталью, — согласился Свердлов, — в истинность события и стоящих за ним побуждений должны поверить не только мы с вами, то есть простой народ...

Ленин склонил голову, одобряя иронию соратника.

— Но и они сами, сами эсеры.

— А это самое трудное, — сказал Ленин. — Это вызов, который бросает нам история.

Это перчатка, тяжелая, железная рыцарская перчатка. Нам ее следует сначала отыскать, а затем поднять.

— Суммируем...

— Суммируем: к началу Съезда Советов, куда мы под видом выборов заманим добровольно идущих в клетку камковых и Спиридоновых, случится некое событие, которое скомпрометирует левых эсеров и позволит нам ликвидировать наших верных союзников.

— Надо назначить человека, достойного и способного организовать такое событие...

Предлагаю Феликса Эдмундовича.

— Его руками — его союзников?

— Разве это неразумно?

Ленин не ответил. Он поднырнул под деревянный настил и исчез.

Увлекшийся беседой Свердлов только тут заметил, что вождь революции успел, разговаривая, раздеться, оставшись в нижних полосатых панталонах.

Свердлов подумал было тоже нырнуть, но не стал.

###### \* \* \*

Нина Островская невзлюбила Блюмкина. Как-то она невзначай заглянула в комнатку своего друга и увидела там Яшку, который принес бутылку коньяка из царских запасов и разложил на столике рыбку из Астрахани, круг армавирской колбасы и ситник — просто, но сытно.

Коля сидел за столиком и с удовольствием наблюдал за действиями своего шефа — тот умел вкусно обращаться с пищей.

Островской, которую он встречал и раньше, Блюмкин только кивнул, а Коля, конечно же, вскочил и смутился, потому что предугадывал, что сейчас услышит.

— Яков, — сказала Островская, — известно ли вам, что в нашей республике распитие алкогольных напитков строжайше запрещено, а тем более запрещено членам партии?

— Какое счастье, — высоким, звонким, странным для такого массивного тела голосом ответил Блюмкин, — какое счастье, что я состою в другой партии.

— А именно? — растерялась Островская, которая была убеждена в том, что Блюмкин хоть и дурная овца, но из своего стада.

— В последнее время я состоял в партии левых эсеров, — сказал Блюмкин, — Феликс Эдмундович сам одобрил мой выбор.

— Чушь какая-то! — воскликнула Нина. — Зачем ты пытаешься скомпрометировать в моих глазах паладина революции?

— Ни в коем случае. Феликс Эдмундович полагает, что в ряды левых эсеров давно пора влить новую свежую кровь. Такой вот агнец — ваш покорный слуга.

Блюмкин был способным лингвистом, у него был абсолютный слух и отличная память.

Так что, не получив, в сущности, никакого образования, кроме хедера, он не только выучил несколько языков, но и владел культурной русской речью без всякого акцента или еврейского местечкового говорка.

Впрочем, в Кремле многие говорили с акцентом. Комдив латышей Вацетис с трудом пробивался сквозь русскую фонетику, у Феликса Дзержинского и его близкого помощника Менжинского речь была мягкой, певучей, польской по мелодии. Сама Островская не могла избавиться от украинской мовы, впрочем, то же можно было сказать и о Троцком, украинце по месту рождения и воспитанию. Сталин, Орджоникидзе и Шаумян говорили с акцентом кавказским... часто слышался местечковый говор белорусского или украинского розливов... Блюмкин быстро и успешно освоил московскую речь, уж куда лучше Коли Беккера, который хоть и происходил из разночинной семьи, окончил гимназию, но крымского, хоть и легкого акцента, конечно же, не изжил.

— Андрей, — сказала тогда Нина, которая, как настоящая коммунистка, никогда не мирилась с поражением. — Немедленно следуй за мной.

Коля поглядел на Блюмкина словно в поисках защиты.

— Андрей Берестов работает в моем отделе, — сказал Блюмкин, — и ты, Ниночка отлично об этом знаешь. Ты сама отдала зайчика серому волку, и я научу его жрать ягнят. Поняла?

Блюмкин налил в фужер оранжевой жидкости и посмотрел на свет.

— Прилично, — сказал он. — Будешь, Нина?

Нина ушла.

— Она была грозна и молчалива, — сказал Блюмкин, — но, ваша честь, от вас не утаю, вы, безусловно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Это я написал.

— Это ты украл, — засмеялся Коля.

Он сменил хозяина, И был рад освобождению от зависимости. И может быть, не посмел бы поднять бунт на борту, если бы не Фанни. Он договорился пойти с ней в театр сегодня и намеревался признаться в этом Яшке, потому что нуждался в деньгах, а у Блюмкина всегда можно было занять без отдачи.

Он ничего не успел сказать, как Блюмкин, Блюмкин, который способен был порой к прозорливым озарениям, заявил:

— Ты никогда не станешь великим человеком, Берестов. О тебе даже в самой полной энциклопедии не напишут. И знаешь почему? Молчишь? Боишься, что я скажу что-то для тебя неприятное? Я скажу правду. Ты должен кому-то подчиняться. Без подчинения ты теряешься. Сегодня утром ты подчинился Островской. Наверное, потому что она баба решительная и бессовестная. Она сообразила, что может заполучить тебя в кроватку. И заполучила. Конечно, спать со стиральной доской — не лучшая участь для молодого кавалергарда, но куда деваться? Комната в первом доме Советов много стоит. Не бойся, теперь ты чекист. И мы с твоей Островской всегда справимся. Ничего она тебе не сделает — в случае чего пойдем к Александровичу или к самому иезуиту. И в расход пустим товарища Островскую за нападение на юного сотрудника. Правда, тебя она к тому времени уже шлепнет.

Вечная тебе память!

Не переставая заливисто хохотать, Яшка протянул полный фужер Коле и сказал, что отныне он его заместитель, потому что ему нужен заместитель-коммунист. К эсерам не все одинаково относятся.

Выпили.

Потом Блюмкин спросил, чего желает душа товарища Берестова.

Душа товарища жаждала получить взаймы до получки четвертак. Такие у души были запросы.

— Надеюсь, ты в азартные игры не увлекаешься?

— Нет.

— И не пробовал?

— Пробовал, не понравилось.

— Значит, к счастью, проиграл, и тебя не потянуло. Значит, женщина?

— Женщина.

— И как джентльмен ты не посмел брать взаймы у Островской, а аванс ты потратил на кожаную куртку, не дождавшись, пока ее тебе выдадут со склада.

— А разве мне положено? — Коля был расстроен.

— Если я велю, то будет положено.

— Спасибо. — Коля принял деньги от начальника.

— Как зовут счастливую избранницу? — спросил Блюмкин.

— Фанни.

— Француженка? Молчишь? Тогда я догадываюсь: жидовочка? Сколько же их приперлось в столицу, переплывя черту оседлости, словно Рубикон. Секретарша в наркомате товарища Троцкого?

— Она в отпуске, — признался Коля. — Она была в санатории, в Крыму, после каторги.

— Коллега? И что же ты находишь в революционных щуках?

— Не знаю... но чувствую, что у нее все в прошлом.

— Чепуха! Революция как лишай, заразился — и на всю жизнь. Тоже большевичка?

— Она была в партии правых эсеров, но выбыла из нее. Она теперь беспартийная.

— Террористка?

— Она была на каторге.

— Фанни... Фанни... Не знаю.

— Фанни Каплан. Она в нашей гостинице живет.

— Ого! — Блюмкин присвистнул. — Это штучка! Она, по-моему, два смертных приговора в личном деле носит. Известная штучка! Фейга Каплан.

— Вообще-то она Дора.

— А я Микеланджело Буонаротти, слыхал о таком краснодеревщике у нас в Одессе?

— У нас Айвазовский был не хуже.

— Молодец, настоящий патриот. Будучи в Феодосии, я посетил его музеум. Там есть самая длинная картина в мире — жизнь человека как бушующее море.

— Я знаю.

— Возьми меня в театр.

— Не хочу.

— Боишься, что я Фаньку у тебя уведу?

— Я не боюсь, У нас ничего нет.

— И правильно. Ты не знаешь этих эсерок. Ты Коноплеву здесь не встречал?

— Нет, а что?

Эта баба сломала себе здоровый зуб, живой нерв, представляешь, чтобы ходить к дантисту, окно кабинета которого выходило на дом мужика-полицмейстера, которого велели убить. Такие есть женщины в русских селеньях. Брось ты эту Фанни. Как волка ни корми, он в лес смотрит.

— У нас ничего нет.

— Но если она попадет к нам в Чека, я заступаться не буду. Предупреждаю. Никогда и пальцем ради эсерки-террористки не пошевелю. Я противник террора, ты не заставишь меня убить человека, в этом отношении я сторонник Ленина. Он противник индивидуального террора.

— А есть еще и коллективный террор?

— А вот это наша партия приемлет.

— Так ты эсер или большевик?

— Революция — моя невеста. Как невеста скажет, так тому и быть. А тебе я не советую по театрам шляться с террористками. А то Менжинскому скажу.

###### \* \* \*

В Общедоступном Художественном театре, в новом, в стиле позднего модерна здании в Камергерском, давали «Анатему» Андреева. Пьеса была дурная, напыщенная и старомодная, хоть и написал ее Андреев совсем недавно. Психология революции коренным образом изменилась. Публика в зале была странная, казалось бы, в основном были люди переодетые, думающие о том, как они будут возвращаться домой в сумерках, и когда на них нападут бандиты, можно будет сказать: «Разве вы не видите, какой я бедный?»

За билеты Коля заплатил накануне, пятнадцатый ряд обошелся в двенадцать рублей.

Фанни робела и призналась в этом.

— Почему тебе пришло в голову позвать меня в театр? — спросила она вдруг, когда действие уже началось.

— Ты знаешь почему, — сказал Коля. — Я подумал, что ты давно не была в театре.

— Ты очень милый, Андрюша, — сказала Фанни. Она положила ладонь ему на колено. — Я тебе всегда буду благодарна. Это лучше, чем если бы ты купил мне манто.

— У меня нет денег тебе на манто.

Фанни вдруг улыбнулась.

— Когда-то очень давно, тысячу лет назад, еще в той жизни, я жила на квартире у одного адвоката, из сочувствующих. Он к тому же защищал наших в суде. И брал большие гонорары. Мне рассказывал об этом Витя Савинков, брат Бориса. Ты слышал о них?

— Слышал, конечно, слышал, — сказал Коля.

Эта милая, тихая и жутко одинокая женщина притягивала к себе Колю не только качествами женскими, скрытой животной страстностью, которую подавляла в себе, полагая это ненормальным и греховным, но и славой террористки, которая известна таким столпам революции, как Савинков или Ленин, за которой ухаживал, по ее же рассказам, брат Ленина Дмитрий, которую отыскал и привез в «Метрополь» Сергей Мстиславский, фигура в революции легендарная, хоть и не террорист. И эта женщина сидела рядом с ним в театре и даже дотронулась до него.

Коля привык к тому, что нравится женщинам, и даже научился снисходить к их настойчивости, И его вовсе не мучила совесть за то, что он сознательно пошел на близость с Островской, — он покупал себе свободу и, возможно, жизнь. Впрочем, в свое время он уже пытался использовать женщину в корыстных целях, когда соблазнил генеральскую дочку, дочь хозяйки квартиры, где снимал комнату. Еще в студенческий год, от которого остались полупогончики в его чемодане. Может, и не следовало возить с собой такой сувенир, но каждый человек имеет право на прошлое.

С Фанни все было иначе, даже иначе, чем с Маргаритой.

Он сам выбрал для себя эту женщину. А может, это сделала судьба, когда столкнула их на ялтинской набережной, когда он пытался защитить ее от злобного остзейца.

Как была фамилия полковника, который пришел ему на помощь? Врангель?

Он как-то спросил Фанни, не знает ли она полковника Врангеля. Она не знала. Как и Островская. А Блюмкин сразу вспомнил: «Был такой адмирал Врангель, он открыл остров в Полярном океане. Он так и называется — Земля Врангеля».

Коля спросил, когда это было, и Блюмкин признался, что не помнит, но уже много лет назад. Нет, это был другой Врангель. Неизвестный.

— Они проводили экс, — продолжала Фанни, — и почему-то вместе с деньгами им досталось манто. Соболиное манто, представляешь?

— Они квартиру ограбили?

— Ни в коем случае! Они взяли ломбард или нечто подобное. Может, даже логово ростовщика. Но братья Савинковы никогда не занимались грабежами. И если до тебя доносились такие слухи, то это клевета, которую распространяла охранка и большевики.

— Ну и что было дальше?

— Не хочется рассказывать. — Фанни была обижена за товарищей. И Коля рассердился на нее, Сам не знал почему.

— Ты с ним спала? — спросил он.

Получилось громче, чем следовало. Как раз в тот момент начал открываться занавес.

Гражданин, зашипел кто-то сзади — и Коля не осмелился обернуться — вы можете придержать свои грязные чувства при себе?

Фанни убрала руку с его колена.

Пьеса была высокопарной и не очень увлекательной. Коля раскаивался, что нахамил.

Он оборачивался к ней, и Фанни хмурила густые восточные брови, чувствуя его настойчивый взгляд.

В антракте Коля нашел правильные слова.

— Прости меня за вспышку ревности, — сказал он.

И это было признанием.

Неожиданно Фанни покраснела, румянец залил лицо — скулы и даже лоб, Отвернулась.

Коля понял, что на него больше не сердятся.

— Пошли в буфет, — сказал он. — У меня есть деньги.

— Нет, — сказала Фанни, — я совсем обнищала.

— Мы не у немцев, — сказал Коля, — а в России, здесь мужчины платят.

Фанни покорно пошла за ним в буфет. Народу там было немного. Они взяли по стакану жидкого чая и по прянику. А еще Коля заставил Фанни принять от него небольшое яблоко, мягкое от зимнего хранения.

— Тебе нужны витамины, — сказал он.

Чай был на сахарине, но горячий.

Коля заплатил за все десятку.

— Какой ужас — сказала Фанни.

— А что?

— Деньги надо экономить, — произнесла она голосом старшей сестры.

Коля знал, вернее, высчитал, что Фанни примерно тридцать лет. Но на самом деле догадаться о ее возрасте было невозможно. Очевидно, думал Коля, она и в пятьдесят будет моложавой женщиной без возраста.

— Кем ты будешь? — спросил он.

Этот вопрос поставил Фанни в тупик. Возможно, она и задумывалась о своем будущем, но мысли ее были настолько сокровенными, тайными, что она не смела высказать их вслух.

Так и не решившись ответить, она сказала:

— Не знаю, не думала.

— Пойдешь на партийную работу?

— А на что я гожусь? — Этот вопрос не требовал ответа.

— Тебе положена партийная пенсия, — сказал Коля, — как политкаторжанке.

— Я не обращалась за ней.

Больше они к этому вопросу не возвращались.

Не могла же Фанни сказать Коле, который ей нравился и притом был большевиком, близким по классовым воззрениям, п потому вряд ли поймет ее потайные мысли, что она хотела бы сидеть дома и растить детей. Что она очень стара для любой иной работы. В крайнем случае, если своих детей судьба ей не подарит, то она готова была ухаживать за чужими детьми, может быть, за племянниками.

В зале они взялись за руки.

Как гимназист с гимназисткой.

Ладошка Фанни была теплой, влажной и податливой. Коле хотелось поцеловать ее, но, конечно же, он удержался.

Он только сказал:

— У тебя чудесные волосы.

В этот момент герой шумно страдал на сцене, и потому Фанни переспросила:

— Что волосы?

— Чудесные.

Она удивилась.

Коля склонился к ее уху и прошептал:

— У тебя чудесные волосы.

— Перестань! Не мешай смотреть.

Но руку она не убрала и более того — чуть сжала несильными пальцами ладонь Коли.

Когда они шли домой, а вечер был уже почти теплым, обоим не хотелось расставаться. Коля поддерживал Фанни под локоть, чтобы она не угодила по своей близорукости в лужу или не ударилась о какой-нибудь кирпич. Он поймал себя на том, что ее беспомощность умиляет его и вызывает жгучее желание заботиться об этой слабой женщине, опекать ее и не давать в обиду.

Коля сам чуть не налетел на кучу пустых ящиков, почему-то не растащенных на дрова, потому что загляделся на странный, может, и некрасивый, но такой удивительный профиль бывшей террористки.

И уж конечно, он не видел, что шагах в ста сзади за ними от самого театра шел, почти не скрываясь, сутулый мужчина в гороховом пальто, оставшемся от службы в охранке — рядовых ее сотрудников последнее время стали привлекать в ЧК, там требовались их навыки и умение следить за подозреваемыми.

Утром его доклад о передвижениях граждан Берестова АС. и его спутницы лежал на столе у заведующего отделом по борьбе с международным шпионажем товарища Якова Блюмкина.

Яша желал знать все о слабостях и сильных сторонах своих сотрудников.

###### \* \* \*

Чуть было не произошла неприятная для Коли встреча. В четверг Фанни решила навестить старика Бронштейна, а Коля вызвался ее сопровождать. У самой Болотной площади Коля вспомнил, что у него кончились папиросы, и сказал Фанни, что добежит до Пятницкой, купит пачку, а Фанни сказала ему адрес и обещала ждать.

Купив папирос, Коля не спеша дошел до нужного дома и готов был войти в подъезд, но тут его внимание привлекло маленькое животное — котенок, однако всем своим обликом и соразмерностью частей тела похожий на взрослого кота. Да и котят таких маленьких не бывает. Котенок был чуть больше мышки размером.

Коля наклонился было, чтобы схватить малыша, но в этот момент мимо него прошел человек в поношенной студенческой шинели.

Занятый своими мыслями человек не обернулся и не заметил Колю, но Коля сразу узнал своего невольного тезку и бывшего друга — Андрея Берестова, чье имя по нелепому стечению обстоятельств в разгар революционных событий в Крыму он взял, чтобы спастись от матросов, охотившихся за офицерами с немецкими фамилиями.

Коля не хотел встречать Берестова, потому что встреча обязательно потребовала бы объяснений. Впрочем, в тот момент он об этом не размышлял, а сжался и инстинктивно замер. Рука его тем временем схватила котенка, который пищал и мяукал высоким, как у комара, голосом и даже пытался царапаться — то есть вел себя как взрослое животное.

Коля готов был отбросить котика в сторону, но боялся привлечь этим внимание Берестова, потому терпел, когда миниатюрные коготки чувствительно рвали кожу, Андрей скрылся в подъезде, к которому как раз и направлялся Беккер.

Пронесло...

— Ах, спасибо, молодой человек! — послышался рядом высокий голос.

Чрезмерно очкастый сутулый мужчина в длинном черном пальто стоял рядом с Беккером.

— Я уже отчаялся. Я думал, что этот стервец сбежал окончательно.

Очкарик вытащил сопротивляющегося котенка из руки Коли, тот и не подумал смириться и продолжал рваться на волю.

— Вам понравился мой малышка? — спросил очкарик. — Вы не поверите — месяц назад он был самым обыкновенным помоечным котищей, и перед ним трепетали даже псы, И вот ссохся.

— Ссохся?

Очкарик сунул котенка в боковой карман пальто, карман оттопырился и стал вздрагивать. Очкарик протянул тонкопалую кисть Коле и представился:

— Мельник можете называть меня Миллером, в зависимости от политических симпатий.

— У меня нет политических симпатий, — осторожно произнес Коля.

— Я ваш должник, — сказал Миллер-Мельник. — Кстати, у меня есть самый настоящий кофе. Вы не поверите. Мой коллега Седестрем прислал мне с нарочным из Стокгольма, Приятно, когда о тебе помнят коллеги.

В Коле проснулось любопытство, Все равно Фанни будет ждать его наверху. А настоящего кофе хотелось — давно он не пробовал...

— А вы на каком этаже живете? — спросил Коля. Еще не хватало прийти к этому кошачьему чудаку и встретить там Берестова.

— На четвертом.

— Отлично.

— Так пойдете?

— Пойду.

— Но вы не представились.

— Андрей. Андрей Берестов.

— Какое смешное совпадение. Один шанс из миллиона. Вы представляете подо мной, точно под моей комнатой, обитает Андрей Берестов. Я с ним знаком. Но к сожалению, он не биолог, а историк, даже этот... он копается в земле. Археолог!

Они вошли в грязный, но не хуже других московских подъездов вестибюль. Дом был небогат, для мелких чиновников.

— Вы не поверите, как мне повезло! — сказал Миллер-Мельник, когда открыл дверь в черный коридор. Он быстро захлопнул ее за спиной и выпустил котика из кармана.

Тот умчался во тьму.

— Держите меня за руку, — велел Мельник. — Вы можете себе представить, что в квартире всего три комнаты, И две из них занимает красный командир. Настоящий красный командир. У него есть деревянная кобура, и сапоги страшно скрипят. Он так боится грызунов — вы не представляете. Вы боитесь грызунов?

Мельник открыл дверь к себе в комнату, и в нос Коле ударил запах крысиного логова и кошачьей мочи.

Под ногами началось какое-то шевеление. Мельник круговыми движениями башмака загонял какую-то живность внутрь комнаты, хлопнула дверь. Коля жестоко раскаивался в том, что согласился на кофе. Трудно было представить себе человека, который может распивать кофе в такой атмосфере.

Мельник пробежал рядом с Колей и широким жестом оттянул в сторону плотную штору.

Сразу стало так светло, что на секунду Коля зажмурился.

Он огляделся.

Комната была велика, потолок высок.

Вдоль одной стены на высоту человеческого роста одна на другой стояли клетки. В них бегали, лежали, спали, дрались, жрали маленькие животные. Коля разглядел мышей размером с тараканов, крыс размером с мышей, котят — или махоньких кошек, собаку ростом с белку... это был игрушечный мир, но мир живых игрушек. Из какой-то старой сказки. То ли у Одоевского, то ли у Погорельского — а может, у Гофмана?

— Вы их здесь выводите? — спросил он.

— Должен сказать, — ответил Мельник, — что вы сейчас видите перед собой крупнейшего естествоиспытателя нашего времени. Беда моя в том, что я родился и живу в этом диком несчастном государстве, где никому нет дела до моих исключительных достижений.

Мельник был доволен собой.

— Вы можете уменьшать животных? — спросил Коля.

— Это может сделать каждый, — сказал Мельник, — но я знаю, как устроен атом. Вы знаете, как устроен атом?

Только тут Коля увидел большой стол, который занимал треть комнаты. Стол был накрыт брезентом. Коля рванул за край брезента — сам не мог бы объяснить, почему он так сделал.

— Стой! — закричал Мельник. — Стой, это же ценное оборудование, я такого больше не достану.

Под брезентом оказались микроскопы, ряды пробирок и приборы, незнакомые Коле.

— Еще один махинатор, — сказал Коля.

— Клянусь вам, это величайшее достижение в биологии. Я могу уже сегодня уменьшить любое животное.

— Зачем? — спросил Коля. — Какого черта! Кому нужно ваше открытие!

— Любое открытие нужно. Если оно великое нужно вдвойне. Представьте себе, сегодня в Москве или в Петрограде трудятся подобные мне гении. Один разрабатывает лучи смерти, второй — бомбу, питающуюся энергией атомного ядра.

— Я пошел, — сказал Коля. — Играйте в своих мышек.

Мельник выбежал за ним в темный коридор.

Коля открыл дверь на лестницу и выглянул нагружу.

Он угадал. Дверь этажом ниже как раз отворилась.

— До встречи, Давид Леонтьевич, — сказала Фанни, выходя на лестницу.

— Может, купите кошечку? У меня катастрофа с деньгами, — просил в спину Мельник.

— Нет у меня денег, — прошипел, обернувшись, Коля.

— Вы кофе не выпили, — обреченно произнес Миллер-Мельник.

Коля побежал по лестнице следом за Фанни.

Он догнал ее на улице.

По дороге домой Коля попросил Фанни рассказать, кто живет в той квартире.

Фанни назвала Давида Леонтьевича и сказала:

— Еще там милая молодая пара — Андрей и Лидочка, только я не знаю их фамилии.

###### \* \* \*

Коля рассказал Блюмкину об ученом чудаке.

Тот посмеялся вместе с ним:

— Котики из атомов? Чудо. Наша страна — замечательный сумасшедший дом. Маленькие, говоришь?

На том разговор и закончился.

Но при встрече с Феликсом Эдмундовичем Блюмкин не преминул рассказать о смешном ученом.

###### \* \* \*

Возвратившись в свой кабинет после долгого и осторожного разговора с Лениным, Дзержинский приказал никого к нему не пускать. Он был так серьезен и задумчив, что острослов Александрович сказал Петерсу: «Ермак думу думает».

Предложение, сделанное Лениным, не было для начальника ЧК неожиданностью. Они и сам понимал, что лодка не может свезти двух пассажиров. Как это было сказано у О’Генри?

«Боливар двоих не свезет?»

Завтра об этом догадаются сами левые эсеры, а еще раньше — соратники по нашей партии.

Дзержинскому казалось забавным, что из всех возможных исполнителей Ленин выбрал его. А ведь мог договориться с Троцким. Троцкий — вечно второй, он и помрет вторым. Троцкий с радостью кинется уничтожать конкурентов, которые в свою очередь не скрывают своего недоброжелательства.

Но иезуитский, холодный ум Дзержинского отдавал должное Ильичу. Ильич гениальный тактик. Хотя когда-то, и, возможно, скоро, этот тактический талант погубит Ленина, Сегодня одной тактики мало. Недаром вся страна, весь мир понимают — Ленин проиграл Брестский мир, это его поражение и позор. Он понимает это и сам на всех перекрестках кричит о том, что Брест — это похабный мир. Но это передышка, которая приведет к всемирной революции. Передышка тянется и тянется, всемирной революции не предвидится, а уже скоро половина России окажется под немецким сапогом. Потеряны Украина, Белоруссия, Польша, Финляндия, Прибалтика...

Предложением, а может, даже приказом Ленин, казалось бы, поставил Дзержинского в безвыходное положение. Он ведь знает, что Дзержинский — вождь противников Брестского договора внутри партии, вождь левых коммунистов, И именно в этом пункте союзник эсеров. Но как настоящий коммунист он должен понимать — эсеров надо ликвидировать. Союзников, но лишних в лодке. И вот теперь... решай, Феликс.

Дзержинский предвидел разговор с Лениным, поэтому уже давно разработал план — как погубить партию левых эсеров ее же руками. Но пока он не считал необходимым посвящать вождя революции в детали гениального и такого банального, в сущности, плана.

Дзержинский попросил секретаря вызвать к нему товарища Блюмкина.

— Ну и что нового? — спросил он.

Борода у Яшки подросла, он обзавелся английского покроя френчем — в ЦИКе Свердлов внедрял пиджак и галстуки и проигрывал чиновничью войну. Надвигалась новая война, и потому мода также тянулась к пулям.

— Он дает показания, — сказал Блюмкин, имея в виду несчастного Мирбаха, которого, сменяясь, допрашивали все сотрудники отдела правда, безрезультатно, потому что ничего полезного Мирбах сообщить не мог.

— Вышли на посла?

— Надеюсь выйти.

Я даю тебе времени месяц, — сказал Дзержинский. — Через месяц дело должно быть готово.

Отдел был создан специально для того, чтобы можно было скомпрометировать немецкое посольство, которое, как назло, вело себя сдержанно и не попадалось ни на спекуляциях, ни на связях с контрой, ни на разврате. Проклятый граф Мирбах держал немцев в жесткой узде. Дзержинскому сначала показалось, что, взяв однофамильца посла и объявив его шпионом, он посла погубит. Но посол с удивительным и отвратительным для Дзержинского равнодушием встречал все попытки связать его имя с арестованным.

— Будет готово — обещал Блюмкин, хотя еще сам не представлял, что будет готово к началу июля. Однако понимал, что именно тогда намечен Съезд Советов, где встретятся все оставшиеся партии.

— Понял, все будет готово, — повторил Блюмкин.

— Что еще нового? — спросил Дзержинский. — Экстраординарного?

Это было любимое слово шефа. Каждую беседу с любым своим сотрудником он завершал таким вопросом. Подчиненные порой копили новости или хотя бы любопытные сплетни именно в расчете на этот вопрос.

Для Дзержинского такое завершение беседы не было пустым звуком. Из пустяков складывалось знание, которое зиждется не только и не столько на высоких каменных башнях общеизвестных трагедий, а на шорохе мышиных передвижений. Именно такие передвижения говорят о том, что скоро сваи нерушимого для всех моста рухнут, подточенные махонькими зубами.

Яша отлично знал об обычае шефа ЧК.

— Любопытную историю рассказал мне один из моих сотрудников, — сказал он. — Есть такой чудак, живет на Болотной площади и уверяет, что может уменьшать мышей и даже собак в несколько раз. Вернее всего, жулик, но мой сотрудник уверяет, что видел сам уменьшенных зверюшек.

— Фамилия, — сказал Дзержинский.

— Миллер-Мельник — наверное, псевдоним. Болотная площадь...

— Я не о нем, — сказал Феликс Эдмундович. — Я о вашем сотруднике.

— Берестов, Андрей Берестов. У меня к нему никаких претензий.

— Никаких?

— Он коммунист, в отличие от меня член вашей партии, протеже Нины Островской.

— Знаю, знаю. Бывший адъютант адмирала Колчака.

— Не может быть! Он же совсем молодой, моего возраста.

— Чем-то он Колчака пленил.

— Ну вот, никому нельзя верить.

— Якову Блюмкину тем более, — вдруг улыбнулся Дзержинский, как кот, надежно прижавший лапой мышь и желающий поиграть с ней, прежде чем ее сожрет. — Могу ли я верить человеку, который скрывается в моем ведомстве под псевдонимом?

— Это партийная кличка, — поправил шефа Блюмкин.

— И который во всех анкетах пишет ложные сведения о своем рождении. Вы, товарищ Блюмкин, на два года моложе указанного вами возраста.

— От вас ничего не скроешь, Феликс Эдмундович, — с явным облегчением сказал Блюмкин, что не скрылось от внимательного слуха начальника ЧК.

— Для этого я сюда поставлен партией, — наставительно произнес Дзержинский. — А вот ты, Блюмкин, не знаешь, почему твой Берестов оказался на Болотной площади.

— Площадей много... — туманно ответил Блюмкин. Что-то он недоглядел. И это ему зачтется в минус.

— Он пошел туда со своей подружкой, с возлюбленной, которая весьма нас интересует.

Блюмкин молчал, чуть склонив набок голову.

— А его подружка, как нам известно, на Болотной площади некоторое время жила в одной квартире со знатной дамой, находящейся у нас под наблюдением.

— Не томите, откройте тайну! — взмолился Блюмкин.

— Возлюбленную Берестова зовут Фанни. Фанни Каплан. Это имя вам ничего не говорит?

— Первый раз слышу.

— А вот это грустно. Потому что Фанни Каплан — известная террористка, всю свою молодость она провела на каторге под двумя смертными приговорами. Сейчас, по слухам, урезонилась, отдыхала в Крыму в санатории для политкаторжан... но как мы с тобой знаем, волк всегда волк, как его ни корми. Так что мы прослеживаем ее передвижения, связи и явки.

— Берестова мне рекомендовал товарищ Дзержинский. — Блюмкин смотрел на стену.

— Пока что мы его не подозреваем, если, правда, она не успела склонить его в свою веру... И если у нее еще есть вера. Они познакомились, насколько нам известно, в первом доме Советов, потому что оба там живут. Но в любом случае твой Берестов теперь фигура повышенной опасности. Глаз с него не спускай!

— Он не лидер, он склонен подчиняться... мне.

— У меня появилась мысль о том, как можно будет его использовать. А насчет собачек и мышек... мы этим займемся. Если это не жулик, то он может пригодиться для революции.

— Как же?

Для революции все может пригодиться.

###### \* \* \*

Яшу Блюмкина губило желание показать себя. Это желание выражалось в опасном хвастовстве.

Он потащил с собой Колю в «Кафе поэтов. Блюмкина встретили там как своего, и Яше было приятно удивлять своего подчиненного связями, влиянием и даже славой, Народу в кафе было немало, сидели тесно, на небольшой эстраде гремел самоуверенный молодой человек с грубым мужественным лицом. Блюмкин провел Колю к столику, за которым сидел нежный белокурый красавец из „Снегурочки“ Островского и мрачный лохматый мужчина, который в отличие от прочих знакомцев Блюмкина целоваться с ним не стал. Блюмкин сразу стал представлять Колю своим поэтическим приятелям, он называл его своим заместителем и врагом всяческой контры, потом уселся за столик, на табуретку, услужливо принесенную каким-то мелким завсегдатаем, грозился, что сейчас будет читать собственную поэму. Это звучало так:

— Всю ночь не спал. Андреев расстреливал, а я в промежутках писал сонет. Хотите послушать?

— Блюмкин, потише! — загремел со сцены здоровяк. — А то я вас выведу как нарушителя спокойствия.

Тебя я тоже прикажу пустить в расход! — ответил Блюмкин. — Твое социальное происхождение меня не устраивает.

— Сейчас я покажу тебе — не устраивает!

Поэт сделал вид, что спускается со сцены, Блюмкин опередил его, кинулся навстречу и принялся обнимать противника. Потом стал кричать Коле:

— Андреев! Коля! Иди сюда, я тебя познакомлю с Володей Маяковским.

— Я вам не Володя, — сказал Маяковский, — может называть меня Владимиром Владимировичем.

Он миролюбиво протянул руку Коле.

А Коля тут понял, что Блюмкин не случайно называет его здесь Андреевым. Не Андреем, а Андреевым. Он не хочет, чтобы поэты запомнили его под настоящим именем, то есть под именем, которое он полагает настоящим. Хотя нет никакой уверенности в том, что псевдоним не раскрыт. Мир революции мал, Как только ты делаешь шаг вперед из обшей шеренги, оказывается, что о тебе вождям все уже известно, О Маяковском Коля слышал, но поэзия его не интересовала — это дело Марго Потаповой. Она бы сейчас описалась от радости. А из меня делают выдающегося чекиста. Что ж, можно согласиться на такой камуфляж.

Блюмкин принялся читать плохие стихи, даже Коле было ясно, что они плохие.

Льняной красавец по фамилии Есенин закрыл голубые очи и мерно раскачивался в такт стихам. Но когда Блюмкин завершил чтение, он ничего не сказал. Хоть Коля именно он него ждал поддержки Яше. Зато лохматый и худой сказал:

— Не ваше это дело, Яша, поэзия. Занимайтесь-ка лучше стрельбой.

— Ты дурак, Ося, — ответил Блюмкин. — Мои стихи вам всем придется оценить, как вы оценили уже гениальные пьесы моего старшего брата Натанчика. Именно стрельба, как ты выражаешься, и вдохновляет меня на лирику.

— Не рассыпайте бисер перед свинтусом, Мандельштам, — сказал Маяковский.

— Не верите? — Блюмкин выхватил из кобуры, что висела на ремне через плечо, тяжелый револьвер, с которым никогда не расставался, и брякнул им о стол. — Андреев подтвердит вам, что у меня в руках сейчас находится не кто иной, как Роберт фон Мирбах. Это вам что-нибудь говорит?

— Это немецкий посол? — неуверенно произнес Мандельштам.

— Чепуха. Это его племянник и немецкий шпион. Я его завтра поставлю к стенке, клянусь памятью дедушки, равнина Исхака! Мы вышибем из Москвы всех немцев и начнем победоносный марш на запад мя освобождения пролетариата Германии!

Блюмкин схватил револьвер и поцеловал его.

— Но если ты, Ося, пожелаешь, я его тебе отдам, и ты можешь его расстрелять сам.

— Но Россия подписала договор о мире с Германией.

— Мы разорвем этой мир! — воскликнул Есенин. — Я как боевик партии левых эсеров предупреждаю всех — грядет мировая революция.

— Сережа! — закричал Блюмкин. — Дай мне тебя поцеловать! Ты настоящий поэт и настоящий, настоящий боец!

Он кинулся целовать Есенина, а сухой джентльмен, сидевший рядом с Колей, заметил:

— У него всегда мокрые губищи! Как противно, когда он тебя облизывает.

Громко человек говорить не осмелился. Эти поэты, понял Коля, Блюмкина побаивались. И даже не столько его, хвастуна и хулигана, а организацию, что стояла за его спиной. Почему-то Комиссия пожелала сделать Блюмкина большим человеком и большим палачом. Значит, ему дозволено убивать. А в те дни число людей, которым дозволено убивать, росло с каждой минутой.

— Я буду вынужден сообщить куда следует, — сказал Мандельштам, — о ваших угрозах, Блюмкин.

— Ты только попробуй, только двинься!

Блюмкин потрясал револьвером перед лицом тщедушного Мандельштама, и Коля увидел, что тот зажмурился. Интересно, подумал он, это хороший поэт или так себе? Он знал тех поэтов, которых проходили в гимназии — Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Полонского.

Но современных поэтов не знал. Откуда их ему знать?

Мандельштам вскочил, опрокинул стул и принялся кричать на Яшу:

— Я вас не боюсь! Машите пистолетом сколько вам угодно! Всех не перестреляете.

Он повернулся и, проталкиваясь между потных людей, п шел к выходу.

Шум вокруг не уменьшился, мало кто заметил, что чекист машет пушкой. Может быть, это было не в новинку.

Блюмкин прицелился в спину Мандельштаму.

— Яшка! — закричал Есенин. — Побойся бога!

Блюмкин опустил револьвер и с искренним удивлением обернулся к поэту.

— Ты какого бога имеешь в виду?

Все вокруг облегченно засмеялись.

Вскоре Блюмкин закручинился и позвал Колю домой.

Никто Яшу не задерживал.

Вечер был холодным, налетали заряды дождя. Блюмкин повторял:

— Этот Мандельштам имеет доступ в верха. Он меня погубит! Ты не знаешь, Коля, сколько у меня врагов.

От очередной вспышки дождя они укрылись в подворотне.

— Скажи, а Беккер — еврейская фамилия?

— Немецкая, это означает «булочник. Но Беккеры так давно переселились в Россию, что даже немецкого языка не знают.

— А на идиш Беккер тоже «булочник. Наверно, все-таки еврейская. И не следовало бы тебе, чекист Андреев, отказываться от предков.

— Не неси чепухи, Яша, — сказал Коля. Как ему показалось, решительно. — Моя фамилия Берестов.

— А моя — Наполеон, И учти, ты пошел работать в организацию, которая знает о тебе куда больше, чем твоя мама. И когда-нибудь мы поговорим с тобой об ограблении и убийстве Сергея Серафимовича Берестова. Надо же — убить человека и взять имя его сына, Я тебя иногда боюсь, мой мальчик.

Блюмкин вышел из подворотни и приказал:

— Оставайся здесь и не смей за мной следить! Пристрелю, как собаку. И революция будет только рада, что избавилась от такого мерзавца.

Он быстро пошел по улице, отворачиваясь от дождевых струй и скользя по лужам.

Револьвер он не прятал, он держал его в повисшей руке.

Коля замер в подворотне. Он был рад хоть тому, что смог остаться один.

Знают ли они в самом деле что-нибудь о Берестове? Или это подозрение, и слова Блюмкина лишь провокация?

Коля переждал дождь и побрел в «Метрополь».

Ему никого не хотелось видеть.

Еще утром он был почти счастливым человеком, Он был влюблен в странную и привлекательную женщину и в то же время не отказывался от немолодой и полезной любовницы, у него было неплохое место в государственной структуре, причем самой влиятельной и всеведущей... но это обернулось против него. Сидел бы, не высовывался, не обратили бы на него внимание сыщики, его же коллеги. Теперь же в любой момент его могут арестовать...

Подойдя к дому Советов, он машинально поглядел на окно Фанни Каплан.

Ее силуэт был виден в нем. Фанни открыла окно, чтобы лучше увидеть Колю, когда тот придет.

В иной день он был бы счастлив тому, что Фанни ждет его.

Сейчас он не желал видеть и ее.

Завидев его, Фанни подняла руку. Она не была уверена, он ли это. Было темно, а с ее близорукостью даже в очках мало что разглядишь. Она надеялась на чувство, которое ее не обманет.

Понимая все это, Коля не стал отвечать на жест.

И оказался прав: у входа в дом Советов под тусклым фонарем курила Нина Островская.

— Живой! — произнесла она с облегчением.

И ее резкий голос уличного оратора разнесся по площади, может, даже добрался до Большого театра, но уж наверняка был услышан Фанни, которая даже наклонилась вперед, чтобы увидеть, кому голос принадлежит. Хотя знала кому.

— Не кричи, — сказал Коля. — Я был на выезде. Брали одного... поэта.

— Врешь, — сказала Нина, — я звонила в Чека. Никаких выездов. Ты с Блюмкиным где-то распутничал.

— Нина, только не здесь!

Коля понимал, что Фанни слышит все до последнего слова.

Он так спешил войти в гостиницу, что толкнул Нину. Она схватилась за косяк открытой двери.

— Ты меня бьешь?

Наверху хлопнуло окно. Фанни все слышала и все поняла.

— Прости. — Коля прошел мимо нее. Красногвардеец, стоявший на страже за стойкой швейцара, проснулся и вскочил.

— Спокойно, — сказал ему Коля.

Он пошел к лестнице.

— Стой! — крикнула вслед ему Нина. Ты обязан объясниться.

— Ничего я не обязан.

Нина бежала за ним по лестнице.

Коля отворил дверь в свою каморку, но не успел закрыть ее за собой.

Нина навалилась на дверь и оказалась рядом с ним в темной тесноте.

— Ты не смеешь, — бормотала она, растерявшись сама от того, что стоит, прижавшись к Коле, и злоба ее вдруг обрушилась, как плохо построенный кирпичный дом, рассыпавшись кирпичами по полу.

— Ты не смеешь, — повторила она. — Я тебя в порошок сотру...

— Уйди, — сказал Коля. — Я не хочу с тобой разговаривать.

Он уже не боялся ее.

— В конце концов, — громко прошептал он, словно темнота требовала понизить голос, — в конце концов, я служу партии не меньше, чем ты. Ты ничего не сможешь мне сделать...

— Я могу все! Нина тоже перешла на шепот. — Ты улетишь обратно в свою Феодосию, и тобой займутся органы. Твоим прошлым. Ты забыл, что именно я тебя создала.

— Это даже смешно! — ответил Коля.

Он понял, что хочет сделать ей больно, чтобы она заплакала, чтобы она почувствовала свое ничтожество перед сильным мужчиной. Здесь, ночью, все ее партийные штучки ничего не стоят.

— Ты баба, ты просто баба! — Он схватил ее за плечи и притянул к себе. Его пальцы вонзились ей в лопатки.

Нина охнула.

— Ты просто самка, сука, — шептал Коля, заваливая Нину на свою кровать.

А та вдруг замолчала и стала покорной и мягкой.

Он грубо поцеловал ее, так, чтобы завтра все увидели, что ее губа распухла... я сделаю так, чтобы твои губы распухли! Я сделаю так, что твоя щека распухнет.

Он ударил ее по щеке раскрытой ладонью.

Ее голова дернулась.

Из окна лился слабый свет позднего майского вечера.

Глаза Нины были раскрыты и смотрели на Колю так настойчиво и даже яростно, что он отвернулся, чтобы их не видеть.

Он раздевал ее неловко, потому что она ему не помогала, и от этого даже задрать длинную суконную юбку было непросто.

— Ну! — вырвалось у Коли. — Ты что? Помоги же.

Криком он ничего не добился, но в этой борьбе устал, и желание, столь неожиданное и острое, как-то заглохло, хотя, конечно же, он не мог остановиться и отказаться от насилия, иначе ему не вернуть власть над Островской, которая тоже разрывается между страхами страхом потерять обретенную так поздно и незаслуженную любовь, словно любовь к проститутке, и страхом потерять себя — революционерку, руководительницу, ветерана — все эти безмозглые слова тем не менее существовали в ее сознании и, возможно, были важнее, чем вспышки страсти к Коле, — она могла начисто забыть о нем днем, в заботах и мучиться от желания, оставшись одна. Недолгое время Коля был постоянством как постоянна жена, суетящаяся на кухне приходящего со службы чиновника, и тут стал уплывать, исчезать, так откровенно и цинично. Островской приходилось ревновать мужчин, которые ей никаким образом не принадлежали, как можно ревновать кинозвезду к балерине — оба существуют лишь на картинках и в воображении. А тут на нее свалилась ревность к мужчине, который обладал ею, был нежен и в любовь которого она, без всяких к тому оснований предпочла поверить, хотя для этого пришлось отказаться от любых надежд и вообще мыслей о будущем.

Когда Коле удалось наконец добиться ее губ, жестко до боли, сдавив ее подбородок, чтобы губы не прятались от поцелуя, она сдалась окончательно и стала быстро и жарко обцеловывать его лицо, невнятно умолять Колю чтобы он шел к ней скорее, что она не может больше терпеть... и впервые в жизни Нина поняла, что скрывается под словом «кончила», которое она слышала от товарок даже на каторге и в ссылке, потому что они там, независимо от партийной принадлежности, обсуждали эти вещи и даже погружались в женские греховные романы, и Нине приходилось делать вид, что она все понимает, проходила эти уроки еще в школе... но только в ту ночь, когда Коля пришел домой ночью, и эта тварь Каплан ждала его, дежурила у окошка Нина испытала это жгучее до вопля, счастье... она хлынула навстречу злому мужчине, который почувствовав ее пожар, воспалился сам и загонял ее в краткий восторг любви и сам разделял его, но при том не терял своей ненависти к ней.

И это была любовь Нины Островской.

Они лежали еще несколько минут безмолвно.

Потом Коля достал папиросы. Зажег себе и Нине.

Они лежали, курили, стряхивали пепел на пыльный пол.

Докурили.

Нина села на кровати, стала поправлять юбку и блузку, взяла со стула кожаную куртку, в которой поджидала Колю на площади, погасила папиросу в горшке с сухой пальмой на подоконнике.

Коля лежал на спине, он даже не сделал попытки прикрыть стыд.

— Я должна сказать тебе со всей ответственностью — произнесла Островская, — что я не допущу твоей близости с этой террористкой, я уничтожу ее. Ты знаешь, что это в моих силах. Я могу не пожалеть и тебя.

Коля не ответил. Он понимал, насколько серьезна его возлюбленная.

Она не из тех людей, кто отказывается от идеи для вещи, Или любовника.

Островская зажгла свет, Коля отметил про себя, что она точно знает, где у него выключатель.

— Дай мне слово, — сказала она, — что будешь вести себя достойно.

— Что это означает? — устало спросил Коля.

Он продолжал сидеть на кровати, не дав себе труда привести в порядок одежду.

— Я не люблю повторять, — сказала Нина.

Не дождавшись ответа, она вышла из комнаты и плотно, резким движением прикрыла дверь. Но не хлопнула ею. Она уже владела собой. Коля лежал на кровати.

В душе было гадко и пусто.

Он был рабом. Выпоротым, униженным рабом. И хозяева его не были людьми благородными и достойными того, чтобы повелевать им, Николаем Беккером, умным и талантливым человеком, красивым, стройным, высокого роста, достойным высокой участи...

Он понял, что ему пора уезжать.

Уехать сразу, ночью, сегодня или завтра на рассвете, чтобы ни одна душа не догадалась, куда он подался. На юге собирается армия, готовая защитить Россию от большевиков. И возродить ее. Там среди офицеров белой гвардии найдется Беккеру достойное место. Там, именно там он наверняка встретит адмирала Колчака, человека, который ценит Колю и знает ему истинную цену.

Коля сел на кровати. Старые пружины громко взвизгнули. Почему он не слышал их голосов, когда насиловал свою возлюбленную? Насиловал? Что за чепуха. Именно этого она хотела. Подчиниться настоящему воину. Она счастлива... Хоть завтра губу разнесет!

Коля не удержал улыбки.

Теперь спать, спать... чтобы быть готовым к бегству на юг, Коля приподнялся, чтобы выключить свет, Он повернул выключатель и как бы дал этим сигнал двери осторожно и медленно раствориться.

— Я сплю, — тихо сказал Коля, понимая, что вернулась Островская.

— Извини, — говорила Фанни. — Спокойной ночи... Прости.

Но она не уходила. Так и осталась стоять в дверях.

— Это ты Фанни? — сказал Коля. — А я тебя спутал.

— Я знаю, я все знаю. Тебе было плохо из-за меня.

— Входи и закрой за собой дверь, — велел Коля.

Фанни подчинилась.

— Я завтра уеду, — неожиданно сказала Фанни. — Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Я не могу... я люблю тебя, Я уеду.

Она заплакала.

Коля подошел к ней — всего два шага их разделяли.

Он обнял ее как мог нежно. Он стал целовать ее теплые, пахнущие как детская игрушка волосы, Фанни положила голову ему на грудь и повторяла лишь:

— Я уеду, ты не бойся...

А живое воображение Коли Беккера между тем рисовало Нину Островскую, которая крадется по коридору к его комнате, в руке наган, подарок ее подруги Евгении Бош или командира Шахрая. Сейчас ее силуэт покажется в щели не до конца закрытой двери...

Коля непроизвольно оттолкнул Фанни.

— Иди, милая, — сказал он тихо. — Все будет хорошо, никуда не нужно уезжать. Мы будем вместе, Хорошо бы она не догадалась, что я только что был близок с другой женщиной.

Впрочем, она почти наверняка выследила Нину, иначе почему она заявилась сразу после ее ухода. Может, это манера большевичек — не ревновать, мужчины должны быть общими... Тогда Нина ведет себя не по-партийному.

Фанни ушла, тихо, наверное, на цыпочках. Плакала ли она еще или перестала, Коля не знал.

###### \* \* \*

28 мая Москва содрогнулась от страшных взрывов.

Начались они в два часа дня и гремели до самого вечера.

Горели склады в Гавриковом переулке, склады Казанского вокзала.

Потом стало ясно, что сгорела и товарная станция Казанской железной дороги.

Коля с Блюмкиным выезжали туда на машине Александровича. Там уже был Дзержинский.

Дым над Москвой поднялся такой, что во всей ее восточной части наступили сумерки.

Пожарных машин было мало, Дзержинский заставил своих сотрудников тушить вагоны на запасных путях, но вскоре сам отменил это приказание — тушить в этом потопе огня было невозможно, и так уже погибли сотни человек не только на станции и на складах, но и в окружающих домах, многие из которых были разрушены взрывами и огнем.

Вместо этого Дзержинский погнал сотрудников ловить мародеров — несмотря на пожар и взрывы, сотни людей лезли в вагоны, тащили оттуда все, что придется, и пытались скрыться в дыму.

— Стреляйте, коротко приказал Дзержинский, — Не жалейте мародеров.

— Пойдешь со мной, — воскликнул Блюмкин. Он был возбужден, измазан сажей, волосы растрепались, даже борода загнулась и вроде бы съехала набок.

Они побежали по путям, но не в гущу огня, а между складами и переулками, где и скрывались люди.

Бешеный ветер залетал от путей, и понятно было, что огонь еще не нажрался, ему есть чем питаться.

Люди с ящиками тюками, даже с досками и какими-то железками выскакивали как черти из ада, и мчались к домам, торопясь спрятать добычу, чтобы вернуться вновь.

— Стой! — кричал Блюмкин.

Он принялся налить из револьвера по бабам, двум бабам, которые вдвоем волокли длинный ящик.

Бабам повезло: Блюмкин, несмотря на свою любовь к оружию и нежелание расстаться с револьвером даже ночью, когда он засовывал его под подушку, стрелять патологически не умел. Перед ним поставь паровоз в трех шагах, и он умудрится промазать. Потому же он был опасен для друзей — не попади он в слона, мог случайно угодить в дружественную мышку.

Стреляя по грабительницам, Блюмкин страшно и грозно вопил, перекрывая шум близкого пожара, а бабы сначала в азарте не сообразили, чего хочет черный бородач в кожаной куртке, но одна пуля угодила в ящик, и тогда они поняли — подобрали юбки и с визгом кинулись за угол.

Блюмкин все нажимал на курок, но револьвер замолчал, потому что кончились патроны. Он стал шарить левой рукой по карманам, где-то там у него россыпью лежали патроны.

При том он кричал, теперь уж Коле:

— Да стреляй ты! Уйдут! Скорее, Андреев!

В последние дни в отделе все привыкли к новой кличке Беккера. Забыли, что он — Берестов. Коля был рад этому, во-первых, потому что псевдоним был официальным как бы служебным, а не его, тайным изобретением. Он сразу перестал быть вором и самозванцем. И Фанни уже не сможет случайно в разговоре с Лидочкой или настоящим Андреем сказать, что знакома — о, совпадение! — с другим Берестовым, тоже родом из Симферополя. Коля сразу сказал ей, что отныне он Андреев, Николай Андреев, это имя ему дали на партийной службе. Как дисциплинированная революционерка Каплан тут же примирилась с решением партии и стала называть его Колей, Николаем.

Беккеру это было привычно и приятно. Словно с именем к нему вернулась и легальность.

— Стреляй, — кричал Блюмкин.

— Все равно сгорело бы, — ответил он наконец.

— Пошли! Это же достояние республики!

Два солдата остановились неподалеку, прислушивались к разговору.

— Пошли отсюда, — сказал Коля.

Но Блюмкин уже зарядил револьвер и крутил головой в поисках новых жертв.

Один из солдат ловко, незаметным движением, сбросил с плеча винтовку и как бы невзначай направил ее на Блюмкина.

Чутье у того на опасность было фантастическое.

Стрелять он не стал, а быстро и как-то деловито пошел в сторону.

Солдат выстрелил. Фонтанчик пыли поднялся у самой ноги Блюмкина.

И тот не выдержал.

Он пригнулся и, виляя, как опытный дезертир под обстрелом, кинулся к пожарным каретам.

Солдат перевел винтовку на Колю.

— Я ухожу, — сказал Коля. — Все понятно.

Второй солдат засмеялся.

Он был похож на Борзого. Казалось бы, забыл почти древнюю историю, а всплыло злое грубое лицо.

Коля уходил и всей спиной, лопатками чувствовал, как солдат делится ему в спину.

И если он выстрелит, то не промахнется.

Выстрела не последовало.

Блюмкин стоял рядом с Александровичем и прочим начальством и живо обсуждал с ними важные проблемы.

На Колю он не смотрел. Не замечал его.

Подъехал высокий грузовик, из него стали спрыгивать красные солдаты, с ними приехал сам Вацетис, латышский красный генерал. Александрович велел им рассыпаться цепью и гнать мародеров от складов.

— А вы, Андреев, чего стоите? — спросил Александрович.

Он был левым эсером, дружил с Дзержинским, а может быть, они изображали дружбу в интересах революции.

Коля пошел за латышами.

Латыши шли спокойно, переговаривались на своем языке, иногда кто-то из них стрелял. Но Коле было непонятно, хотели ли они убивать или только пугали.

Впереди стояла стена дыма до самого неба.

Внизу ее подчеркивала полоса огня.

Люди, пробегавшие у складов, были черными чертиками, суетливыми и будто вырезанными из бумаги марионетками.

Изредка слышались выстрелы латышей, но их заглушал рев пламени.

Коле не хотелось приближаться к черной стене, и он повернул направо за несколькими латышами, которые углубились в переулок.

Видно, слух о том, что приехали солдаты и стреляют в воров, разнесся по пожару, потому что местные жители и прочие люди стали убегать, завидев издали латышей.

Все же догнали целую семью — отец, женщина и трое детишек, все они волокли мешки с крупой. Отец — даже два, дети тащили мешки по земле. Латыши стали кричать, чтобы люди бросили поклажу, но, видно, отец решил, что по детям стрелять не будут.

Он был прав.

Солдат прицелился и выстрелил два раза в отца, но поранил мешки. Из них начали бить струи крупы. Солдатам было смешно. Другой солдат догнал детишек, прикрикнул на них, и те оставили мешки на мостовой. Солдаты аккуратно подобрали мешки и оттащили их на тротуар, к стене дома. Оказывается, Вацетис сказал им, что приедут машины и заберут отнятое у грабителей добро.

Пока латыши занимались делом, Коля пошел дальше.

И тут увидел давешних солдат. Они добыли где-то пулемет «максим» и катили его по улице. Ленты висели у них через плечо, и концы их тяжело покачивались в такт шагам.

Коля обернулся. Он был один.

Он хотел позвать латышей, но солдаты увидели его раньше, и тот, который был похож на Борзого, засмеялся и развернул пулемет в сторону Коли. Он играл в войну.

Ему было очень весело. Второй присоединился к нему и стал вставлять ленту.

Пулемет был без щитка, и, когда солдат поднял голову, Коля окончательно убедился, что видит Борзого.

— Не уйдешь! — крикнул Борзой. А может, эти слова почудились Коле.

Он него до пулемета было недалеко, но все-таки не меньше сотни шагов.

Время заморозилось.

Коля смотрел на пулемет. Солдаты были неподвижные.

И вдруг из рыльца пулемета выскочил огонек, Будто кто-то сигналил Коле фонариком — часто, но скрытно.

А звук долетел через секунду.

Пули отбили штукатурку над головой Коли.

Он видел лицо Борзого, который что-то весело кричал.

Коля понял, что сейчас он сдвинет прицел и убьет его.

Револьвер был у него в руке — он вынул его, когда пошел за латышами.

Коля быстро вскинул его и выстрелил в лицо Борзому. Еще раз... И тут же, почти не целясь, перевел мушку на второго солдата. И успел увидеть, как на лице Борзого посреди лба появилось красное пятно, видное даже в сумерках. Борзой поднял руку, словно хотел вытереть кровь, и голова его исчезла, упала на землю.

Пулемет замолк.

Мимо Коли протопали латыши, они сгрудились возле пулемета.

Оба пулеметчика лежали неподвижно.

Когда Коля подошел, они расступились.

Командир отряда Вацетис тоже подошел к пулемету. Кто их? — спросил он, И сам уже догадался, потому что протянул ладонь Коле и, пожимая его руку, сказал:

— Вы славно стреляли. Офицер?

Коля испугался вопроса. И поспешил ответить:

— Я большевик. Я сотрудник ЧК.

— Фамилия? Имя?

— Николай Андреев.

— Спасибо. Возможно, вы спасли жизни наших товарищей.

Убитый солдат совсем не был похож на Борзого. Даже странно, что можно было принять его за Борзого.

Латыши подходили и равнодушно рассматривали мертвецов.

Мертвый солдат, принятый Колей за Борзого, смотрел в небо. Коля опустился на корточки и положил ладонь на теплые веки, чтобы закрыть глаза.

— Раньше не убивал? — спросил латыш.

— Не убивал, — солгал Коля.

Это была нечаянная ложь, потому что в тот момент он начисто забыл о смерти шофера, убитого им в прошлом году под Ялтой.

Когда через несколько дней Дзержинский собрал совещание в своем кабинете, обсуждался пожар в Гавриковом и действия чекистов, председатель ЧК сказал:

— По докладу товарища Вацетиса я хочу выразить благодарность сотруднику контрразведотдела Николаю Андрееву за мужество, энергию и точную стрельбу. Я надеюсь, что в будущих боях за нашу революцию товарищ Андреев, уничтоживший в жестоком бою пулеметный расчет противника, покажет себя достойным именного оружия.

Все чекисты принялись хлопать в ладоши.

Правда, Блюмкина в тот день не было — он простудился и остался дома, в квартире, которую ему выделили как одному из руководителей Чрезвычайной Комиссии. Раньше там жил видный октябрист, и Блюмкин радовался тому, что ему досталась славная библиотека, в том числе целый шкаф поэзии, до которой Блюмкин был охотником.

Дзержинский вручил Коле кожаную желтую кобуру с револьвером.

— Ты открой, посмотри, — сказал Коле Вацетис, который сидел за столом рядом с Председателем.

Коля подчинился.

Сбоку на рукояти была привинчена серебряная пластинка с надписью:

Николаю Андрееву за проявленную доблесть в борьбе с контрреволюцией от Председателя ЧК Ф. Э. Дзержинского 28 мая 1918 года Блюмкин, когда увидел револьвер, сказал:

— Смотри, как бы ты не загремел в расстрельную команду. Там требуются стрелки в цель.

###### \* \* \*

Жизнь становилась все труднее, даже с деньгами было нелегко достать приличной еды. К тому же случилась беда — пропал Метелкин. Непотопляемый, подпольно всемогущий Метелкин, который умел, в частности, обменивать доллары на черном рынке. Доллары еще оставались, но отыскать желающего и не угодить при том в ЧК было почти невозможно. А когда Андрей все же решился и, взяв двадцать долларов, отправился на Сухаревку, в тот ее угол, где толпились подозрительного вида личности, которые меняли деньги и скупали у благородных бабушек фамильное золото, то именно в тот момент, когда покупатель рассматривал купюру на свет, чтобы убедиться в том, что доллары не фальшивые, началась облава. В облаву Андрей не попал, убежал, но так как покупатель убежал в другую сторону, денег Андрей не принес.

Жили они в квартире на Болотной мирно, даже дружно. Самым состоятельным среди них был Давид Леонтьевич — чего-то он зашил в подкладку черного пиджака. Старику доставляло удовольствие ходить на рынок или по оскудевшим лавкам. Он сам потом жарил картошку на настоящем подсолнечном масле, а тут купил большую зеленоватую щуку и принялся готовить рыбу-фиш, но получилась просто вареная рыба, пахнущая болотом. Давид Леонтьевич был огорчен, но все хвалили и были ему благодарны.

Особенно радовалась Мария Дмитриевна, которая, оказывается, свежей рыбы не пробовала с осени, остальные-то приехали с юга, там рыба еще была недорогой и обычной пищей на бедном столе.

Разумеется, Лидочка с Андреем не могли столоваться за счет старика. Да и понимали они, что оказались придатком, хвостиком к Марии Дмитриевне, которую Бронштейн глубоко почитал и, можно сказать, был в нее влюблен, хотя двадцатилетним Андрею и Лидочке понять, как может влюбиться семидесятилетний старик, было невозможно и почти смешно. Впрочем, Давид Леонтьевич заботился о соседке трогательно, а по вечерам читал ей вслух книги про любовь, А Мария Дмитриевна, хоть и утверждала, что раньше на кухню и не заходила, потому что у нее был славный повар и чудесная прислуга, безропотно и даже весело штопала Бронштейну носки, стирала рубашки, гладила, Правда, она быстро уставала, и тогда за дело принималась Лидочка. В конце концов, в семье, повторяла она, человеком больше, человеком меньше — не столь важно, Их ведь и оставалось всего четверо.

Раза два заходила Фанни.

Давид Леонтьевич будто особым телепатическим чутьем угадывал ее появление, доставал из своей ухоронки булочку или конфету. Он ее даже порой называл внучкой, хотя во внучки она ему вряд ли годилась. Фанни уже было тридцать лет, это было очевидно для женского взгляда.

Фанни, по ее словам, устроилась работать в каком-то учреждении, жила в общежитии и встретила одного человека...

Об остальном знала только Лидочка.

Фанни клялась, что ее отношения с Колей Андреевым чисто платонические, они даже не целовались. И понятно почему: ведь Коля еще мальчик, ему всего двадцать с небольшим, Поэтому никакой речи о близости и быть не может.

Фанни лукавила, она мечтала о близости, но Лидочка предпочитала выслушивать монологи Фанни. Она рассказывала, что знала о Коле. Он, оказывается, родом из Феодосии, там служил во время войны, потом вступил в партию и приехал в Москву вместе с Островской. Вот Островской от Фанни доставалось. Она, совсем уж старая баба, под сорок, претендует на чувства Коли, пользуясь своим высоким положением...

Фанни страдала, и ее чувства явно приходили в противоречие с политикой. Ей самой ее эсеровское прошлое казалось дурным сном, хотя большевиков она не выносила, отчасти из-за того, что большевичкой была Островская, но более от эгоистичной и предательской политики — Брестский мир должен быть разорван! Не для того шли на виселицы и каторгу лучшие сыны и дочери русского народа, чтобы большевики сидели в Кремле подобно царской своре и занимались в основном уничтожением своих бывших и даже нынешних союзников.

Лидочка брала уроки акварели у Туржанского и приспособилась работать под звук низкого, глухого, с южным акцентом голоса Фанни.

Фанни оказалась милой несчастной занудой без всякого жизненного опыта. С ранней юности она жила в мужском исковерканном мире террористов, спала на чужих койках, отвечала на вопросы жандармов и следователей, выжидала жертву, шагала в кандалах — казалось бы, повидала всю Россию, встретилась с сотнями людей, а на самом деле никакой России она не видела и среди сотен людей ни одного близкого человека не встретила, уверовав в то, что люди — это лишь исполнители высокого предназначения Идеи. Идея отвечала требованиям ее необразованного, но нахватавшегося чужих слов разума: надо покончить с несправедливостью, уничтожить — иного они не понимают — царей и их сатрапов вплоть до последнего исправника, и тогда освобожденный народ сам заберет дорогу к счастью, За тридцать лет жизни Фанни уже многократно убеждалась в том, что ее усилия народу не требуются, и в момент истины этот самый представитель народа изберет сторону исправника, по крайней мере донесет на революционерку, что прячется у него в сарае после попытки освободить народ от полицмейстера. Но это, конечно же, не меняло ее воззрений. Ведь даже малые дети капризничают и не желают пить полезный, но невкусный рыбий жир. И слова Ильича, хоть и соперника в борьбе за это счастье, о том, что мы силой «загоним народ к счастью», были понятны и убедительны.

Когда же так поздно Фанни наконец-то по-настоящему влюбилась, она поняла, что даже в самых обычных вещах наивна и необразованна, Пока Коля также был влюблен в нее, он не обращал внимание на ее потрясающую неграмотность, на то, что она не читала самых обычных книг и не имеет представления о том, кто такой Микеланджело.

Что она не умеет приготовить борщ и выбрать на рынке мясо, не способна вышивать и вязать. Хотя когда ей было шестнадцать, она написала стихотворение. Она его забыла, но помнила рифмы: «Борьба — всегда, грязные лапы — сатрапы, путь — не забудь».

Что же будет дальше?

Фанни не думала об этом, или, вернее, ей казалось, что она об этом не думает, хотя бы потому что близости с Колей у нее не было, и она не знала, будет ли с ним близка. Но раз у нее вырвалось: «Конечно, я ему не пара. Он учился в университете, он из хорошей семьи», — причем в слова «хорошая семья» Фанни вкладывала вполне буржуазное обывательское понимание.

###### \* \* \*

Как-то Андрей сидел на кухне, пил чай с Давидом Леонтьевичем и старался растянуть кусочек рафинада на две чашки вприкуску. Давид Леонтьевич рассуждал о том, что женщине положено делать славный подарок ко дню ангела. Вот он и решил подарить Марии Дмитриевне браслет. Присмотрел в лавке Миродаридзе серебряный браслет с бирюзой. Этот Миродаридзе не сегодня-завтра лопнет. И он сам не понимает ценности браслета, потому что купил его на толкучке за два фунта картошки.

Но для того, чтобы осуществить свой замысел, Давид Леонтьевич намеревался пойти в Столешников, где он продаст золотой червонец. Там и собираются нужные люди.

— Давид Леонтьевич, я хочу участвовать в вашем начинании, — сказал Андрей. — У меня есть немного долларов, но я не знаю, как их обменять. Метелкин из музея пропал, а на Сухаревке меня ограбили.

— Сколько у тебя долларов? — спросил дед Давид. Он сразу стал деловит и серьезен.

В нем жил игрок, который провел всю жизнь в поле, среди крестьян, где игроки не приветствовались, и потому таил свои страсти. Но тут, в Москве, перед ним раскрывались великие возможности, и если бы не большевики, он бы мог стать большим человеком.

Может, поэтому еще Давид Леонтьевич не очень стремился к тому, чтобы отыскать своего сына. Сын был, по всему, большевистским вельможей, то есть противником деда Давида. Ему же оказалось куда удобнее и милее существовать на Болотной площади в обществе милой его сердцу Марии Дмитриевны. Давид Леонтьевич подозревал не без оснований, что, как только он воссоединится с сыном, эта жизнь завершится, и он, старый Бронштейн, станет отцом большевика и сам почти большевиком. Так что он даже не пря знавался Марии Дмитриевне о поисках сына и делал вид, что тот трудится в Петрограде, и когда переедет в Москву, тут Давид Леонтьевич его и отыщет.

Мария Дмитриевна не пыталась заставлять Бронштейна признаваться и не настаивала, чтобы он искал сына. Тем более что у нее самой было куда больше оснований сидеть в квартире и носа не высовывать, Судя по всему, ее сын оказался на юге, среди казаков, где готовил восстание против сына Давида Леонтьевича. И чем дольше родители будут находиться в неведении касательно судеб и местонахождения сыновей, тем больше шансов уцелеть в том сумасшедшем доме, в который превращается несчастная Россия.

— Сто долларов? — удивился Давид Леонтьевич. — Это бешеные деньги, Кого ты убил, мой мальчик?

— Это наследство, — сказал Андрей.

— А какими бумажками?

— По двадцать.

— Показать сможешь?

— Разумеется, я принесу, завтра принесу.

— А то бывают старые, их уже вынули из употребления, но понимаете, Молодой человек, некоторые недобросовестные люди их всучают. А это что? Это уголовщина.

Андрей принес доллары Бронштейну, и тот долго нюхал их, вертел в пальцах, смотрел на свет, разглядывал подпись казначея, доллары были большими, больше керенок, но поменьше царских красненьких.

— Мы с тобой будем ждать, пока наступит выгодный курс, — сказал Давид Леонтьевич.

— Это не так важно, — сказал Андрей. — Цены все равно так быстро растут...

Он решил разменять сразу сотню, чтобы был запас денег. К тому же нужна была одежда. И Андрею так хотелось купить красок и бумаги для Лидочки. Не сегодня-завтра принадлежности для рисования совсем исчезнут.

Давид Леонтьевич вечером, когда Андрей ждал его, домой не вернулся.

Андрей сказал Лидочке о том, куда пошел старик.

Лидочка объяснила все расстроенной Марии Дмитриевне.

Темнело. Ясно было, что случилась беда.

Андрей, которому не хотелось думать, что он мог стать причиной несчастья с Давидом Леонтьевичем, предположил, что у старика могло стать плохо с сердцем и его забрали в больницу.

— Чепуха! — возмутилась Мария Дмитриевна. — Мы с ним обсуждали проблемы здоровья.

К счастью, сердце Давида Леонтьевича работает как часы. Для семидесятилетнего мужчины он просто орел.

— Надо ехать, — сказал Андрей. — Надо его искать.

— Подожди до утра, — воспротивилась Лидочка. — Тебя сейчас в лучшем случае ограбят, в худшем — попадешь в тюрьму.

— А в еще худшем, — добавила Мария Дмитриевна, — тебя просто убьют пьяные матросы.

Но может быть, он в больнице...

— В тюрьме, в больнице, в морге, — заявила Мария Дмитриевна, — вы ему, Андрей, не поможете. Как говорил Базаров, жертва — это сапоги всмятку. Пойдете утром.

Конечно, все согласились с Марией Дмитриевной. Да и ясно было, что Лидочка его ночью не отпустит.

Утром Андрей поехал на извозчике на Столешников. Там толкались темные личности, и когда Андрей принялся спрашивать, не было ли вчера какого-нибудь происшествия, ему тут же рассказали, что вчера была облава, нескольких человек взяли.

— А где их искать? — спросил Андрей респектабельного гражданина, похожего на Николая Первого, правда, не в ботфортах, а в валенках не по сезону. Видно, валютные спекуляции не принесли ему богатства.

— Может, на том свете, — сказал мужчина, — а может, в ЧК. Только не суйтесь в милицию, они ничего не знают, но вас на всякий случай посадят.

И все же у Андрея не оставалось другого выхода, как пойти на поиски деда Давида в страшную организацию, о которой рассказывали разное, но ничего хорошего, Хотя, может быть, Андрею еще не пришлось столкнуться с теми людьми, интересы которых эта Комиссия защищала.

Андрей быстро поднялся в гору и дошел до Рождественки, там перед Рождественским монастырем и как раз между двух церквей буквой «П» расположилась четырехэтажная гостиница «Лондонская», которую заняла Комиссия, ожидая, пока для нее очистят более солидное здание — страховое общество «Россия» на Лубянской площади.

Андрей остановился перед церковной оградой и стал смотреть на гостиницу, чтобы понять, куда ему следует идти.

Разные, в основном молодые, уверенные в себе, деловитые люди в кожанках, как у самокатчиков или пилотов, в фуражках без кокард более всего входили в центральную дверь. Туда же один за другим подъехали по округлому пандусу три автомобиля.

Андрей поглубже вдохнул и решился — перешел узкую Рождественку и по сбитым ступеням поднялся к входу.

Перед ним как раз шагал мужчина во френче и с большим портфелем.

Андрей пристроился за ним и избежал необходимости толкать тяжелую дверь.

Но там, внутри, он увидел барьер по пояс, и в нем узкий проход, по обе стороны которого стояли молодцы в кожанках.

— Здравствуйте, — сказал Андрей, — можно справку получить?

Страж показал пальцем через плечо — там обнаружилось окошко, какое бывает в заводской кассе, полукруглое, с подоконником, в него можно только сунуть голову.

— Вчера вечером, — Андрей склонился к окошку и увидел, что ниже его сидит молодая женщина, коротко остриженная и облаченная в куртку — словно униформа там была какая-то, — я имею основания полагать...

— Короче! — рявкнула девушка, словно Андрей был наверняка врагом революции. — Фамилия!

— Бронштейн, Давид Леонтьевич, семидесяти лет, — сказал Андрей послушно.

— За что сидит? — Девушка раскрыла амбарную книгу и повела пальцем снизу вверх, от самых последних жертв Комиссии к ранним, вчерашним. Страница была велика, а читала девушка медленно, Прошло минут пять, прежде чем она радостно произнесла:

— Бронштейн. Как же! Есть у нас такой.

— А когда его отпустят?

— А с чего ты решил, что его отпустят? У нас редко отпускают.

— Почему? — глупо спросил Андрей.

— Потому что у нас не ошибаются, — ответила девица. — У нас если взяли, то все — амба!

— Но ведь он ни в чем не виноват! Он просто попал в облаву. Я могу за него поручиться!

— А вот это лишнее, парень, — сказала девица. — Такие, как ты, защитники у нас кончают, Кто он тебе? Ты тоже будешь из Бронштейнов?

— Сосед по дому. По квартире. Он очень хороший человек, у него сын в правительстве работает.

— Смешно, — сказала девица.

— Скажите хотя бы, в чем его обвиняют?

— Тебе очень нужно?

— Пожалуйста!

Девушка была обыкновенная такие хамки всегда сидят в секретаршах и регистраторшах, но ее можно было уговорить. Андрей был ей сверстником и ближе, чем собственное начальство, тем более что, судя по ее речи, девица была не из народа, а из так называемого среднего слоя.

Девица подняла телефонную трубку и попросила телефонистку соединить ее с товарищем Блюмкиным.

— Нет его? А когда будет? После обеда?

Девушка повесила трубку на рычажок и без недавней злобы сказала Андрею:

— Товарищ Блюмкин будет после обеда. Он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками. Если ты желаешь, я могу тебя направить к его сотруднику, к Андрееву. Но Андреев ничего не решает, а Блюмкин все решает, даже больше решает, чем ему разрешают!

Девушке понравилось стихотворение, что у нее случайно получилось, Она принялась смеяться.

— А почему иностранные разведки?

А ты не знаешь, за что его загребли?

— Честное слово, не знаю.

— Подожди, я уточню.

Она попросила соединить ее с Андреевым, и с ним она разговаривала без всякого пиетета.

— Коля? — спросила она. — Андреев? Скажи, вчера тут старика привезли, у меня по книге проходит. Бронштейн Давид Леонтьевич. Что там у него? Зачем? А затем, что к нему пришел племянник, хочет узнать. Какой племянник? да ты спускайся, Коля, только пропуск на него выпиши. Как тебя зовут?

— Берестов, — сказал Андрей. — Берестов Андрей Сергеевич.

— Берестов, — повторила девушка. — Андрей Сергеевич. Как так некогда? Ты же сам сказал. Ясно. Я то же самое ему сказала.

Кончив разговор, девушка сказала Андрею:

— Андреев сейчас занят, ему не до вашего старика. Но раз он в контрразведке, дело его дрянь. Связь с иностранцами.

— А может быть, что это деньги? Обмен долларов?

— Все может быть, — согласилась девушка. — И я тебе еще что скажу. Лучше ты после двух не приходи. Если хочешь своему еврейскому дядечке помочь, пришли свою сестру.

— Но у меня нет сестры.

— Дурак. Жену пришли или соседку только чтобы была молодая и красивая. Ты сам ничего от Блюмкина не добьешься, он мальчиков не любит — во всех отношениях. А к женщинам неравнодушен. Он плохого не сделает, а если она ему понравится, пускай использует свою силу.

Андрей искренне поблагодарил девушку, которую, оказывается, звали Феней.

###### \* \* \*

Пойти решила Лидочка.

Андрей не стал заходить в дом ЧК, а остался на Кузнецком мосту, зашел там в книжною лавку и принялся копаться в старых журналах, Лидочка принесла Фене пакетик ирисок из запасов дедушки Давида.

Феня даже отказываться не стала.

— Ты ему, Андрею, кем приходишься?

— Женой.

— Жалко, — вздохнула Феня. — Как попадется красивый парень, оказывается, он уже какой-нибудь фифой захвачен, как Москва Наполеоном.

У Фени было очень белое лицо синие яростные глаза и коротко, под горшок, остриженные прямые черные волосы. Рост был маленький, но губы полные, будто она приготовила губы для поцелуя.

Она вызвала товарища Блюмкина, и когда тот сказал, что сейчас сам спустится с пропуском для Лидии Берестовой, Феня успела дать последние инструкции:

— Ты ему не подыгрывай, не кокетничай, веди себя построже. Он любит строгих женщин. И моя ошибка в свое время заключалась в том, что я слишком быстро легла с ним на служебный диван.

Фенечка засмеялась, но не очень весело.

Тут сверху сбежал по лестнице человек, который одновременно олицетворял собой эту организацию — он был весь в хрустящей коже, от ворота до подошв сверкающих сапог, он был деловит и быстр, как все в том доме, но в то же время являл собой разительный контраст с остальными чекистами, хотя бы густой и пышной черной бородой и буйной шевелюрой, а также оголтелым взглядом черных вишен глазищ.

— Меня ждут? — спросил он издали, хотя спрашивать и не нужно было, в вестибюле стояла лишь Лидочка.

Лидочка сделала шаг вперед, Блюмкин, громко представляясь, протянул короткопалую руку. И по-польски куртуазно поцеловал ее пальцы, но не склонился к руке, а потянул ее вверх к колючей бороде, будто составленной из проволочек.

Он тут же оценил Лидочку — с макушки до щиколоток.

— Курсистка? — неожиданно спросил он.

Голос оказался высоким, не совсем соответствующим полнеющему громоздкому мужчине.

— Я работаю в Ботаническом институте, — сказала Лидочка.

Она еще не начала там работать, только отнесла туда акварели, потому что Мария Дмитриевна рекомендовала ее профессору Граббе, составлявшему атлас растений Южной России. Ему нужен был художник, профессор был консерватором и горячим поклонником английской манеры акварельной передачи растений и птиц и был уверен, что фотография, даже цветная, не способна передать нежный и трепетный образ фиалки или подснежника.

— Ботаника! — сказал Блюмкин. — В свое время в университете я начинал изучать ботанику, но революционная деятельность отвлекла меня от науки. Фенечка, возьми бумажку — я забираю красавицу к себе на допрос.

И сказал он это с такой преувеличенной серьезностью и театральной угрозой, что испугаться такого шута было невозможно.

Лидочка проследовала за Блюмкиным на третий этаж. Коридор узкий, но высокий, как ущелье, в котором текла извилистая река, был устлан вытертой дорожкой, на дверях сохранились гостиничные номера, и Блюмкин, остановившись наконец перед дверью номера 251, сказал:

— Дух дешевых номеров мы изгоним отсюда не скоро. Здесь царили грехи распутство.

Вы знаете, что сюда водили девиц?

— Нет, не знаю, — ответила Лидочка.

— Вы делаете гербарии? — Блюмкин пропустил Лидочку вперед. Она оказалась в небольшом квадратном кабинете, За окном была видна церковь. В комнате стоял большой стол с витыми ножками, зеленым сукном и массивным чернильным прибором.

Блюмкин решительно обогнул стол, бухнулся в кожаное кресло и указал Лидочке, которая нерешительно остановилась у двери, на венский стул с другой стороны стола.

— А теперь, — сказал Блюмкин, превращаясь на глазах в строгого следователя и подвигая по столу к Лидочке лист бумаги и отточенный карандаш, — заполните этот листок. Это чистая формальность, каждый мой гость должен представляться мне вот так.

Лидочка заполнила отпечатанный в типографии лист, где надо было указать фамилию, место жительства, место и дату рождения — раньше Лидочке не приходилось заполнять такую анкету. Теперь же везде положено было заполнять такие листки.

Власть желала все о тебе знать.

Блюмкин подвинул заполненную анкету к себе и стал читать ее по пунктам, шевеля губами, как малограмотный человек.

— Ясно, — сказал он, — А теперь я желал бы знать, Лидочка, кем вам приходится некий Давид Леонтьевич Бронштейн. Только честно и подробно.

— Это очень хороший добрый человек, — сказала Лидочка. — Честное слове, Яков Григорьевич.

— И давно вы знаете этого хорошего человека?

— Мы с ним ехали вместе в поезде из Киева и столько всего пережили.

— Ну, вы ехали, чтобы заняться ботаникой, — мягко предположил Блюмкин. — Ваш муж — калединский офицер, не так ли?

— Мой муж — археолог, — сказала Лидочка. Этот Блюмкин был не таким веселым, как показалось ей вначале. — Он работает в Историческом музее и еще учится в университете.

— Что-то много мя одного офицера.

Блюмкин снова заглянул в анкету Лидочки.

— Ваш муж, — произнес он. И замолчал. Потом медленно произнес: — Берестов Андрей Сергеевич? Это так?

— Конечно.

— И давно вы видели его в последний раз?

— Сегодня утром, — сказала Лидочка. — Час назад.

— Вы в этом уверены?

— Ну конечно же!

— Странно, очень странно. Зачем вашему мужу скрываться под фамилией нашего сотрудника? Зачем?

— Он не скрывается. Он с рождения Андрей Берестов.

— Ну, это мы проверим. Как следует проверим. И должен признаться, милая Лидочка, эта история мне нравится все меньше. Сначала мы задерживаем американского агента Антанты с большой суммой американских денег, затем приходите вы, а ваш муж скрывается под чужой фамилией.

— Что вы говорите? Это же чистой воды чепуха!

— Про чистую воду мы еще выясним.

Блюмкин поднял трубку и сказал в нее кому-то, кто, видно, ждал на том конце провода.

— Приведите ко мне Бронштейна, Давида Бронштейна из внутренней тюрьмы. Мне есть о чем его расспросить. И скажите Бочкину, пускай пришлет бойца, чтобы отвел в камеру предварительного задержания одну птичку. Потом вели зайти ко мне Андрееву.

Лидочка вскочила:

— Вы хотите меня... задержать?

Слово «арестовать» не выговорилось.

— Только до выяснения обстоятельств, — сказал Блюмкин, — Если вы ни в чем не виноваты, то вам не следует бояться. Мы только все проверим и отпустим вас домой.

###### \* \* \*

Андрей ждал Лидочку больше часа. Потом им овладело беспокойство.

Он вернулся на Рождественку.

Вошел в главную дверь, Он хотел попросить Феню, чтобы она узнала, где Лидочка.

Но вместо Фени в окошке торчала голова обезьяноподобного мужика в пенсне.

— Вам чего? — Он увидел огорченное лицо Андрея, который склонился к окошку.

— Мне Феню, — сказал Андрей.

— Какую Феню?

— Она здесь сидела.

— А ты кто такой?

— Мы с ней договорились в коммунхоз сходить, — быстро ответил Андрей. — Я ее двоюродный брат, из Конотопа приехал, мы с ней комнату хлопочем.

Почему-то эта ложь показалась обезьяньей роже убедительной. Видно, и для него комната была реальностью, за которую надо бороться.

— Сменилась она. Не дождалась тебя, студент. Иди домой, она тебя в общежитии ждет.

— Спасибо, — Андрей быстро пошел к выходу, вышел на улицу и побрел к Кузнецкому мосту. Он не успел еще придумать, что делать дальше. Может, надо было спрашивать не Феню, а постараться узнать, что случилось с Лидочкой. Но он уже знал, что на вопросы в ЧК отвечают скупо.

И тут ему повезло.

На углу Кузнецкого он увидел Феню, которая оказалась существом миниатюрным, стройным, даже кожаная куртка не могла скрыть ее фигурки. Феня стояла перед витриной, на которой красовались груды колбас и окороков из папье-маше.

Андрей кинулся к ней.

Феня обернулась, узнала его и сказала:

— И кому это мешало?

У нее были чистые, очень блестящие глаза, голова была велика по сравнению с тоненьким телом. Она была похожа на цветок пиона. Только в кожаной куртке и синей юбке почти до щиколоток, из-под которой виднелись узкие носки зашнурованных ботинок.

— Феня, — произнес, задыхаясь от волнения, Андрей. — Прости, но мне так повезло, что я тебя догнал.

— А что? С женой что случилось?

— Она так и не вернулась.

Так и двух часов не прошло. Не беспокойся, Блюмкин ее не обидит, Если она сама того не пожелает.

— Не говори так.

— А чего я должна жалеть ее? — спросила Феня. — Меня никто никогда не жалел.

— Какой Блюмкин? — спросил Андрей. — Почему Блюмкин?

А он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками, забыл, что ли?

Я же еще давеча говорила, что только он решает.

— Да, конечно... Феня!

— Двадцать два года как Феня, — ответила девушка из ЧК, — Но возвращаться на службу не буду. Потому что это подозрительно, Ты что думаешь, у нас своим верят?

А я жить хочу. И ваши шпионские игры мне ни к чему. Понимаешь, ты мне конфетку, а я тебе голову на тарелочке?

— Мне только узнать, почему она не выходит?

— Пока не выпустят, она не выйдет, — заявила Феня.

— А как узнать?

— Не знаю!

— Может, вам нужны деньги? — спросил Андрей вслед Фене.

Феня обернулась. Ее лицо исказилось от вспышки бешенства.

— А ну пошел отсюда! — закричала она так, что прохожие стали оборачиваться. И близко ко мне не подходи. И к ЧК не подходи, Я тебя сразу сдам Петерсу — он тебя в пять минут оформит к Духонину, в штаб. Понял, студент! А я еще подумала — хороший мальчик, советы тебе давала... а ну вали отсюдова!

###### \* \* \*

Андрей потерял еще полчаса у входа в ЧК. Хорошо еще, никто не обратил на него внимания. Он был готов уже ринуться внутрь и умолять их там, чтобы Лидочку отпустили. Ведь не может быть, чтобы они арестовывали совсем ни в чем не виноватых людей!

И тут его осенила мысль, которая спасла от этого глупого шага: ему пришлось бы признаться, возможно, в том, что именно он дал доллары Бронштейну. А это признание вряд ли спасло бы деда, но наверняка погубило бы Андрея.

Он стоял в растерянности и растущем страхе и перебирал мысленно немногочисленных знакомых в Москве, к кому можно обратиться за помощью, Метелкин — пропал.

Авдеевы не могут и не захотят вмешиваться.

Фанни!

Она же революционерка, она одна из них!

Ну как же он раньше не подумал!

Андрей знал, что Фанни живет в первом доме Советов — в «Метрополе».

Он тут же побежал туда. Благо, бежать недалеко.

И все же когда он добрался до гостиницы, то совсем выдохся.

Фанни, которая, на счастье, оказалась у себя, сразу вышла к Андрею.

Они говорили на улице, на пустыре напротив Большого театра.

Уже темнело, но фонарей не зажигали — свет экономили даже в центре.

— Это нехорошо, — сказала Фанни, когда Андрей рассказал ей об исчезновении Давида Леонтьевича и Лидочки. — Что могло случиться?

Почему-то Андрей думал, что Фанни будет возмущаться, может, даже заплачет, побежит куда-то наводить справедливость.

Ничего подобного. Она была совершенно спокойна, будто речь шла о пролитом молоке.

Андрею даже стало неприятно, что Фанни совсем не чувствует опасности, которой подвергаются ее знакомые.

— У меня нет знакомых в руководстве Чрезвычайки, — сказала Фанни тихо, словно рассуждала вслух. — Хотя там есть наши люди. Я имею в виду левых эсеров. Беда в том...

Мимо прогремел старый трамвай и заглушил слова Фанни, Загорелся фонарь над самой головой, и тяжелые густые волосы Фанни заблестели под ним, как атлас.

— Прости...

— Беда в том, — повторила Фанни, — что они не станут вмешиваться в дела Дзержинского. Ситуация сложная, Прошьян и Попов опасаются провокаций со стороны Дзержинского. Он только делает вид, что он наш союзник, а предпочтет Ленина.

— Но ведь нам не нужна политика. Я хочу только узнать, где мои друзья, где Лидочка, почему их не выпускают. Кто такой Блюмкин, наконец!

— Блюмкина я знаю, — сказала Фанни. — Я его не люблю. Он фанфарон и хвастун, но в душе трус. А трусы опасны, потому что ради спасения своей шкуры способны на любую измену.

— Блюмкин — начальник отдела, который арестовал деда Давида. Мне сказали это в ЧК, когда я туда утром ходил.

— А зачем туда пошла и Лида?

— Это непросто и я себя теперь за это казню. Там была девушка, в окошке, она пропуска дает. Она сказала, что спрашивать должна Лида. Блюмкин ей все скажет, потому что она молодая...

— И красивая. — Фанни в первый раз улыбнулась. — Это похоже на Яшу Блюмкина.

Девушка была права, не казни себя. Но, видно, что-то серьезное есть у них на деда Давида...

— И я теперь понимаю, что это может быть, То есть я с самого начала подозревал, но сам себе не хотел сознаваться. Виноват во всем я сам.

— Не бей себя в грудь — сказала Фанни. — Это еще никому не помогало. Что ты сделал?

— Я дал Давиду Леонтьевичу сто долларов, чтобы он их обменял. У нас совсем кончались деньги...

— И еврейская закваска дала себя знать! Он отправился делать гешефт, — сказала Фанни.

— Он согласился сделать это для меня, Он часто ходил в Столешников, там есть что-то вроде биржи...

— И попал в облаву?

— И они нашли у него доллары.

— Тогда понятно, почему он у Блюмкина. Блюмкину дали борьбу с иностранным шпионажем. А что может быть выгоднее дела, когда ты арестовал приезжего старика и сделаешь из него славный заговор!

— Фанни, может, мне сдаться им и объяснить, что деньги мои?

— И увеличить заговор еще на одного врага Советской власти. Давай, котенок, пробуй... — Фанни согнала с лица усмешку, словно провела по глазам ладонью. — Прости, но ты говоришь глупость. А я попытаюсь что-то сделать. Я поговорю с Колей Андреевым. Он мой... знакомый. Он работает в отделе у Блюмкина. Я его попрошу.

— Когда? Ты же понимаешь, что мы не можем ждать!

— А вот истерики не надо — сказала Фанни. — Нервы не помогают. Я поговорю с товарищем Андреевым с Колей. Тогда и будем решать.

— А где его найти?

— Его не надо находить. Он живет тут же, в доме Советов, Он придет домой, и я с ним поговорю.

— Я подожду здесь.

— Глупее ничего быть не может. Тебя прибьют бандиты или пристрелит патруль.

Ночью все равно ничего не происходит. И Блюмкин спит без задних ног. Завтра с утра я к вам приду.

— Лучше я приду, можно?

— У тебя нет никакого опыта, Андрей. Возможно, нам не стоит появляться вместе.

Андрей не посмел возразить, хотя ему совсем не понравилась эта мысль, его встревожила сама возможность совершать нечто недозволенное. Ведь он же ничего не сделал... Андрей был по натуре своей вполне добропорядочным обывателем, в нем не было авантюрной жилки, мирно дремлющей и всегда готовой пробудиться в Лидочке.

Но судьба не желала считаться с намерениями и желаниями Андрея, будто она была склонна жестоко посмеиваться над его попыткой отойти в сторону и пропустить мчащийся мимо с ревом и грохотом поезд истории. Чтобы не попасть под колеса, ему приходилось пускаться в дикий бег по рельсам впереди паровоза либо бросаться с насыпи в кипящую бездну.

— Ты когда придешь?

— Не будь наивным, мой друг, — сказала наставительно Фанни. — Я приду, как только что-то узнаю.

###### \* \* \*

Конечно же, Мария Дмитриевна не спала.

Она осунулась за часы ожидания. Глаза были красными, словно старуха плакала.

Андрей даже не ожидал, что она будет так остро переживать исчезновение Давида Леонтьевича.

Она сразу поставила самовар, Андрей умылся с дороги и за самым настоящим чаем, принесенным еще на той неделе дедом Давидом, подробно рассказал ей о событиях дня. Мария Дмитриевна кивала, соглашаясь со словами и поступками Андрея, и тому было не легко признаться в истинной причине ареста деда Давида. Но в конце концов он пересилил себя и сказал Марии Дмитриевне о долларах. И та была так расстроена, что даже поднялась из-за стола и отошла к дверям, будто готова была просить Андрея покинуть комнату, но сдержалась и только сказала:

— Как неразумно, как по-мальчишески. Зачем же вы дозволили корысти завладеть собой? И втянули Давида Леонтьевича...

Почему-то Андрею захотелось назло этой даме крикнуть: «Вы бы посмотрели, с каким наслаждением он схватил эти доллары! Я же его не заставлял». Но, конечно же, Андрей промолчал. Он опустил голову и смотрел, как у ножки стола возятся две махонькие мышки. Такие малютки, с каждой неделей все мельче, сбегали от Миллера-Мельника, который почти не кормил своих питомцев.

— Каково там Лидочке, — произнесла между тем Мария Дмитриевна. — Девочка из хорошей семьи совсем не приспособлена к тому, чтобы проводить ночи в подвалах Чека... Какой ужас!

Она взглянула на Андрея и добавила:

— Я так надеюсь на Фанни. У нее наверняка есть связи. Они все бывшие террористы.

Мария Дмитриевна не позволила Андрею бежать с утра на Рождественку, апеллируя к его здравому смыслу. Куда полезнее ждать Фанни здесь.

###### \* \* \*

Фанни пришла на Болотную площадь куда раньше, чем ее ждали. Оказывается, она поговорила со своим другом Андреевым еще ночью, когда он вернулся со службы.

Коля сам заглянул к ней, потому что у него кончался чай и сахар, а политкаторжанам выдавали усиленный паек.

К тому же он хотел поделиться с Фанни своей бедой.

Он только что разговаривал с Блюмкиным, который арестовал старика Бронштейна.

Тот попался на облаве с большой, гигантской, фантастической пачкой американских долларов, которые старался обменять на рубли. Американской разведке надо было содержать свою агентурную сеть.

Во всех охранках, и двести лет тому назад, и сегодня, принято в собственном кругу даже для внутреннего пользования, не говоря уж об окружающих слушателях, сильно преувеличивать число арестованных, масштаб преступления и объем конфискованного оружия, наркотиков или денег. Эта обычная ложь поднимает значение органов в собственных глазах, что самое важное, а потом уж в глазах начальства и — в последнюю очередь — в глазах народа, что уже не так важно.

Так что сто долларов, изъятые у Давида Леонтьевича, превратились в толстые пачки, хотя бы потому, что сотней долларов агентурную сеть не накормишь, а Блюмкину срочно надо было отличиться, потому что никаких сенсаций его отдел не мог родить.

Когда же в кабинет Блюмкина привели старого валютчика с его сотней, Блюмкин включил свою буйную фантазию, чтобы выковать заговор и раскрытую шпионскую сеть.

И тут ему крупно повезло. Заявилась девица Лидия Берестова, сама, добровольно.

Агент американской разведки. Теперь следовало не спешить. Взять, повязать их всех...

Не следует думать, что Блюмкин был столь наивен, что сам верил в пачку долларов и агентуру. Но он понимал, как можно разыграть карту. Сначала необходима сеть.

Затем добровольное признание главы заговора. Возможно, не старик состоит в этой должности. Может, следует отыскать кандидатуру помоложе, может быть, офицера или иностранца. А уж потом кого-то придется застрелить при попытке к бегству, чтобы даже при желании (хотя вряд ли оно возникнет) понять, был заговор или нет, в этой сумятице было бы невозможно.

Поздним вечером Блюмкин вызвал к себе Колю и рассказал о своей идее. Даже сказал ему, что с утра пошлет команду в гнездо заговора, на Болотную площадь, Он бы сделал это сразу, но оказалось, что ночью все машины и все группы вооруженных чекистов были задействованы на ликвидацию особняков, в которых засели анархисты.

Руководству ЧК было не до блюмкинского заговора.

Пока Блюмкин старался найти группу, чтобы произвести набег на Болотную, Коля проглядывал личные дела, вернее, листки допросов первых арестованных. Первый — Давид Леонтьевич Бронштейн — был ему неизвестен. А второй оказалась Лидочка.

Коля сделал усилие, чтобы Блюмкин не заметил ужаса, который его охватил.

Лидочка!

И конечно же, тот самый дом на Болотной площади, куда ходила Фанни!

Они же ехали в поезде из Киева. Как он мог не вспомнить: дед Давид, который ищет сына, и чета Берестовых.

— Что ты думаешь? — спросил Блюмкин.

Он не выспался, потому что провел ночь в одной веселой поэтической компании. Там гуляли имажинисты, он подрался с Мариенгофом, битва кончилась победой чекиста, но теперь страшно болела голова, и Блюмкин ненавидел весь мир.

Коля понимал это и никак не мог придумать, что сделать.

— Думаю, что за этим может ничего не скрываться, — сказал Коля. — Старый еврей вытащил из сапога доллары и решил спекульнуть. А девушка и на самом деле его соседка...

— Как ты подозрительно прост, Андреев. Может, это твои дружки?

Интуиция у Блюмкина была сказочная, она не раз позволила ему выпутываться из смертельных переделок.

— Делай как знаешь! — Коля отодвинул от себя исписанные листы.

— Это наше с тобой общее дело, — возразил Блюмкин. — Там должны быть документы.

И мы поедем туда с обыском. И это надо сделать прежде, чем они сообразят, что произошло.

— Если это шпионы, — возразил Коля, — они давно уже сообразили. И там нечего искать.

— Тогда возьмем людей.

— Где ты их будешь брать? Они уже в Киеве.

— Чепуха. — Блюмкин был не уверен в своей правоте, к тому же больше всего ему хотелось вытянуться на диване, на славном кожаном адвокатском диване, стоявшем в кабинете. Этот диван был свидетелем и страстных, и страшных сцен. — Тогда первым делом с утра. Поедешь на грузовике. А сейчас иди вниз и любой ценой закажи грузовик, чтобы мы отправились туда на рассвете.

Блюмкин встал, ожидая, пока Коля уйдет, а потом в три шага дошел до дивана и рухнул во весь рост.

Через минуту он уже храпел.

Он хотел сказать, засыпая, что чекисты работают без выходных и даже по ночам не спят в своих кабинетах, как Робеспьеры. Но ему лишь приснилось, что он произнес эти революционные фразы.

Коля же, спустившись вниз, в транспортный отдел, спросил там сонного дежурного, есть ли машины на завтра. И тот ответил — приходи завтра. Откуда я знаю. В этом бардаке никто не разберется.

Коля не стал заказывать машину. Какой в том смысл. Но если будут проверять, дежурный подтвердит, что Андреев сюда приходил.

Оставаться в Комиссии не было смысла. Ничем он Лидочке не поможет. Завтра у Блюмкина будет другое настроение. Он выспится и сможет разговаривать по-человечески.

Но вот обыска допускать в квартире нельзя, Мало ли что там хранит этот идиот Берестов или старорежимная старуха. Как только завтра отыщут револьвер или два патрона, считай, что заговор готов, и тогда Лидочку не выцарапаешь никакими силами.

Самому идти туда не стоит. Вся история с переменой имен и дружескими детскими отношениями со смертью Сергея Берестова и вообще ялтинские годы должны остаться в прошлом. Это может погубить самого Колю...

Значит, оставалась Фанни. Она должна была помочь. С ее опытом и равнодушием к опасности только она и сможет помочь.

Так что Коля поспешил в первый дом Советов.

И надо же было так случиться, что Фанни сама ждала его прихода.

И когда они заговорили и когда выяснилось, что Блюмкин арестовал спутников Фанни, то Коля мог, не открывая своей связи с Берестовыми, выказать себя защитником обездоленных и стал давать Фанни добрые советы, честно признав, что Блюмкин спешит выковать заговор и, как только добудет грузовик и охрану, кинется на Болотную.

И вот что они решили.

Коля остается в гостинице «Метрополь», потому что у него жар и неожиданная ангина. А Фанни, как только рассветет, мчится на Болотную, чтобы успеть раньше Блюмкина, Так что Фанни заявилась на Болотную в шестом часу утра. Она была тщательно причесана, одета как одеваются бедные лавочницы, — все продумала. Фанни чувствовала себя бодрой и молодой, словно возвратились прежние времена. Надо было спасать явочную квартиру, а это она умела делать.

Как только ее впустили в дом, она велела Андрею и Марии Дмитриевне немедленно, чтобы через пять минут их здесь не было, уйти из квартиры, взяв только самое необходимое и в первую очередь все, что могло бы помочь следствию в создании версии о шпионском гнезде.

Оказывается, Мария Дмитриевна и Андрей предусмотрели именно такую возможность, У обоих были сложены сумки — небольшие, чтобы не вызывать подозрения на улице.

Они сидели на стульях посреди гостиной и проверяли себя:

— Фотографии взяли? деньги взяли? Письма взяли...

Фанни велела им уходить к Пятницкой и там ждать в сквере у церкви. Ждать терпеливо. Может быть, час, может, два. Ничего предсказать пока нельзя. Можно поесть там в трактире. Но без сообщения от Фанни не уходить. Она узнает, что предпринимает Блюмкин.

Сама Фанни вышла из подъезда раньше и пошла по набережной. Там, метрах в ста от подъезда, она остановилась. Утро было прохладное, ветреное, но облака казались тонкими, сквозь них начало просвечивать солнце.

Через час приехал грузовик с солдатами.

Блюмкин, размахивая револьвером, первым выскочил из кабинки. За ним — Коля.

Блюмкин стал отдавать приказания солдатам, а Коля, отойдя чуть в сторону, принялся оглядывать окрестности.

Через минуту его взгляд достиг черноволосой фигурки с откинутым на воротник голубым платком.

Коля кивнул.

Все сделано.

И он спокойно пошел следом за Блюмкиным, который загонял в подъезд бойцов, но сам не спешил войти в его черную дыру.

Коля взял инициативу на себя.

Он первым взбежал на второй этаж и ждал, пока слесарь, мобилизованный в ЧК именно для таких дел, вскроет замок.

Блюмкин был зол.

Квартира оказалась пустой. Обыск ничего не дал. Пока он позволил себе шесть часов поспать на черном кожаном диване, кто-то спугнул птичек.

— Не вини себя, — сказал Коля. — Они ушли отсюда уже вчера вечером. Потрогай чайник и самовар.

Блюмкин потрогал ладонью самовар. Он был холодным.

###### \* \* \*

Фанни пришла в садик к церкви на Пятницкой, там сидел только Андрей.

— А где бабушка?

— Она сказала, что поедет к родственникам.

— Легкомысленно. Мы так не поступали.

— Она думает, что никто не знает ее родственников.

— Она недооценивает профессиональный сыск, — сказала Фанни. Это была фраза из полицейского лексикона.

Они сидели рядышком на скамейке и никак не могли придумать, чем помочь Лидочке и старику. Пока что Блюмкин не отказался от идеи заговора и, как сказала Фанни: «За их жизнь я и двугривенного не дам».

— Что мне делать? — спросил Андрей.

— В квартиру пока не возвращайся, они наверняка оставили там засаду.

— Я пойду на работу, в музей?

— Они могли допрашивать Лиду, и она сказала им, где ты работаешь. Это же не тайна, Садись на пригородный поезд и поезжай в Малаховку.

— В Малаховку?

— Если хочешь в Тайнинку. Посиди там в леске до вечера, а вечером увидимся у Большого. В восемь вечера.

— Я раньше приду.

— Чем дольше ты будешь сидеть на одном месте, тем скорее тебя засекут.

— Ты надеешься?

— Я никогда не теряю надежды, — сказала Фанни. — Если не получится уговорить Блюмкина, тогда я пойду к Дзержинскому. Он меня помнит, Мы с ним вместе были на пересылке.

Она сказала это так, как молодой английский лорд говорит невесте:

— С моим шафером мы учились в Оксфорде.

###### \* \* \*

Тем временем бедно, но аккуратно одетая старая женщина с такой прямой и гордой осанкой, словно молодость провела в балете, подошла к проходной наркомата военных и морских дел.

Она сказала красноармейцу у входа, что, намерена поговорить с товарищем наркомом Троцким по важному делу. По личному делу.

— Как вас представить? — спросил стоявший там командир, юный, но профессиональный молодой человек, слепленный из того материала, который природа тратит на адъютантов.

Такие молодые люди даже на службе революции делают различие между просто просителями и просителями с большой буквы.

А бедно одетая дама вообще в категорию просителей не вписывалась.

— Народный комиссар здесь?

— Он еще не прибыл. Но здесь находится его заместитель товарищ Склянский.

— Мне нужен именно Троцкий.

— Простите, я не расслышал вашего отчества и фамилии.

— Скажите народному комиссару, что его желает видеть баронесса Врангель. Мария Дмитриевна Врангель.

— Разрешите проводить вас в приемную, — предложил адъютант.

И госпожа баронесса Врангель благосклонно согласилась подождать, тем более что страшно не выспалась, устала и переволновалась.

Нарком республики по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий ворвался в наркомат в двенадцатом часу. До того было совещание в ЦИКе, на котором с печалью изучались новые изобретения германской армии. Так что он был зол, ибо Ленин позволил себе упрекнуть его, верного союзника, в идиотской, на его взгляд, позиции в Брест-Литовске. «Тогда мы, батенька, по вашей милости с формулой „ни мира ни войны“ и потерпели поражение».

Это было несправедливо.

Но приходилось мириться с реальным положением вещей: мировая революция или хотя бы революция в Германии не начиналась. Немцы захватили юг России, в том числе и родные места народного комиссара, и как там родные, живы ли — одному богу известно.

Троцкого встретил его адъютант.

— Вас ждет баронесса Врангель, — сказал он, не сдерживая легкой усмешки. — Первая баронесса после вашего назначения.

— Оставьте ваш юмор при себе, — огрызнулся Троцкий.

Но при виде вставшей при его появлении в приемной дамы он взял себя в руки. В то же время он не мог позволить себе на глазах у секретаря чем-то показать преференцию по отношению к баронессе.

Замечено, что русские большевики, и чем дальше, тем более, уничтожая аристократию, внешне ненавидя ее, все же робели перед князьями и графами. Даже расстреливая и вешая их, робели. И не исключено, что, проживи Сталин подольше и достигни он крайних степеней маразма, в СССР могли бы ввести титулы. Но это из породы домыслов...

— Вы ко мне? — спросил Троцкий.

— Вы народный комиссар военных и морских дел Лен Давидович Троцкий? — спросила Мария Дмитриевна.

— Вы угадали.

Все вокруг, кроме Троцкого, улыбались, им казалось забавным, что кто-то не узнал вождя. Второго человека в Советском государстве.

— Тогда мне нужно поговорить с вами наедине.

Троцкий колебался.

Ему хотелось спросить у охраны, обыскивали ли эту женщину? Правые эсеры могли устроить покушение на него.

Словно угадав, баронесса передала свою большую дорожную сумку адъютанту. «Поставьте ее где-нибудь, здесь ничего ценного».

Но потом Троцкий взял себя в руки, несколько театральным жестом поправил курчавую шевелюру и пригласил баронессу в кабинет.

Адъютант хотел последовать за ними, но баронесса обернулась от двери и промолвила:

— Это лишнее. Молодой человек подождет.

И ей все подчинились.

Кабинет Троцкого был велик, над широким столом висела во всю стену карта России.

— Садитесь, — сказал народный комиссар.

Мария Дмитриевна, прямо держа спину, села и с неожиданной строгостью спросила Троцкого:

— Где ваш отец?

— Мой отец? Вернее всего, на Украине.

— Его зовут Бронштейн Давид Леонтьевич?

— Именно так.

Сердце Троцкого охватило дурное предчувствие.

— Он полный человек с седыми волосами, как у вас, бороду стрижет, руки большие, мозолистые...

— Что с отцом? — почти крикнул Троцкий.

— Он в Москве, — ответила Мария Дмитриевна. — Надеюсь, что жив и даже не болен.

— Вы взволнованы? — догадался Троцкий. — Принести вам воды?

— Нет, спасибо.

— Я не знал, что отец в Москве. Он мне ничего не сообщил.

— Он давно в Москве.

— Я ничего не понимаю.

— Он приехал сюда еще в начале весны, когда вы были в отъезде, и думал, что вы находитесь в Петрограде. Но когда он доехал до Москвы, был ограблен, и он жил со своими друзьями здесь.

— Почему же он не пошел ко мне? Он ведь ехал...

— Не сердитесь. Давид Леонтьевич пытался вас найти. Но как я понимаю, это было сделать непросто. Он не догадался, что вы здесь находитесь под кличкой.

— Это не кличка. Это партийный псевдоним.

— Как знаете, товарищ Троцкий. — Мария Дмитриевна подчеркнула интонацией свое отношение к большевистским псевдонимам. — Ваш отец наводил справки о вас как о Бронштейне. Но ваша кличка так к вам приклеилась, что добраться до вас было нелегко. Как вы знаете, Бронштейн — довольно распространенная еврейская фамилия, и среди ваших коллег по перевороту оказалось несколько разного рода Бронштейнов.

К тому же с вашим отцом не желали разговаривать в учреждениях, куда он приходил в поисках своего сына Бронштейна, Лейбы Бронштейна. Лейбы, если не ошибаюсь? Ну кто вас знает как Лейбу Бронштейна? Вы же большевистский комиссар товарищ Лев Троцкий.

— Обойдемся без демонстраций, — оборвал баронессу Троцкий. — Я осведомлен о том, как меня звали и как зовут. Я понял, что мой папаша, непривычный к московской жизни, к тому же попавший сюда в момент потрясений и переезда из Петрограда в Москву, мог меня не найти, допускаю. Как допускаю, что он не спешил меня найти...

— Может быть, — согласилась с наркомом баронесса Врангель. — Может быть, насмотревшись на деяния ваших друзей, на то, во что вы превращаете Россию, он был разочарован.

— Он говорил вам об этом?

— Он много разговаривал со мной.

— И вы его убеждали в том, что мы — я и мои товарищи — пособники Антихриста?

— Ах как просто! — возмутилась Мария Дмитриевна. — Вернее, упрощенно. Мы много говорили, пользуясь взаимной симпатией. Давид Леонтьевич в высшей степени порядочный и разумный человек. Но я стараюсь оставаться в стороне от политики.

Она обжигает и убивает. Эту мою позицию разделял ваш отец.

— Где он сейчас?

— Он в опасности, Поэтому я сочла возможным прийти к вам, хотя, как вы можете понять, это может представлять опасность ля баронессы.

— Вы из семьи открывателя арктического исследователя мореплавателя Врангеля?

— Наша семья принадлежит к боковой ветви рода.

— Отец послал вас ко мне?

— Самое любопытное заключается в том, что он до сих пор не уверен, что его сын — народный комиссар Троцкий. Как раз два дня назад мы с ним обсуждали такую возможность и пришли к выводу, что эта версия наиболее вероятна. Он бы наверняка посетил вас не сегодня-завтра. Но не смог...

— Продолжайте.

— Его забрала Чека.

Как? Почему?

— Он возглавляет американскую шпионскую сеть и заговор против Советской республики.

— Что за чепуха!

— А в этом заговоре состоим мы — жильцы той же квартиры, где он живет. Потому что он вовлек нас в заговор. Мы вынуждены скрыться из дома, хотя милейшая молодая женщина, которая смело отправилась в Чека узнать, что происходит, и помочь вашему отцу, была тоже арестована как шпионка.

— Откуда вы все знаете?

— Даже у нас есть связи в ваших органах.

— Надеюсь, что вы ничего не выдумали.

— Я похожа на сумасшедшую старуху, которая добровольно бежит в гнездо самых злобных большевиков, из которого она может и не выйти живой, только для того, чтобы спасти какого-то еврейского старика?

— Может, вы даже знаете, кто там ведет это дело?

— Некий Блюмкин.

— Впрочем, это не важно.

Троцкий ладонью ударил по звонку на столе. Звонок мелодично заверещал.

В кабинет заглянул давешний адъютант.

— Чаю для гражданки Врангель, — приказал Троцкий, — и срочно соедините меня с товарищем Дзержинским.

###### \* \* \*

Дзержинского в ЧК не оказалось. Он выехал подавлять сопротивление анархистов.

С его заместителями Троцкий разговаривать не пожелал, а велел подать машину.

— Лидия Берестова, — сказала вслед Троцкому баронесса. — Лидия Кирилловна. И если она останется там, ваш отец этого никогда вам не простит.

Троцкий был тронут. Будучи человеком сентиментальным, он был открыт для чувств других людей, когда обстоятельства позволяли ему разделить эти чувства.

— Я ваш вечный должник Мария Дмитриевна, — искренне произнес он и подумал, до чего хороша эта пожилая женщина, в нее и сейчас можно влюбиться. И понятно, если его отец испытывает к этой баронессе теплые или даже нежные чувства. Еще чего не хватало, вдруг испугался он.

— У него чудесные внуки, — сказал Троцкий, будто хотел этим упрекнуть баронессу.

— Вам подадут авто.

И быстро вышел, как и положено великому человеку революции, — его ждали великие дела.

А Мария Дмитриевна отказалась от автомобиля, допила чай и пошла пешком на Пятницкую и там, у канала увидела Андрея.

— Где вы были? — спросил Андрей.

— У одного видного большевика, — улыбнулась Мария Дмитриевна.

— Зачем? Это же так опасно?

Мария Дмитриевна покачала головой.

— Нет, не очень опасно.

— А что? Есть надежда?

— Подождем, — сказала Мария Дмитриевна.

Солнце грело совсем по-летнему, Мария Дмитриёвна сидела на лавочке, закинув голову к солнцу, закрыв глаза и чувствуя горячий свет солнца сквозь прикрытые веки.

Она поступила правильно, думала она. Ее мальчики одобрили бы ее безрассудный, на первый взгляд, поступок. Ведь этот Троцкий — известный бандит и садист. Но ведь и у бандитов есть сыновьи чувства. Причем евреи куда более ценят своих родителей — чем русские.

— Но скажите, есть надежда? — Андрей готов был снова бежать на Рождественку — нет ничего хуже пустого ожидания.

— Все будет хорошо. — Больше Мария Дмитриевна ничего Андрею не сказала.

А в это время Троцкий, который ворвался в здание ЧК, как Александр Македонский во дворец к Дарию, был вынужден затормозить у стражи, для которой нарком ты или рядовой — не важно, Пятиминутное ожидание, пока искали кого-нибудь из начальства, вывело Троцкого окончательно из себя, и чекисту Лацису, из исполнительных латышей, пришлось выслушать ряд нелицеприятных заявлений о порядках в Комиссии.

Правда, Лациса Троцкий не испугал, тот подумал — вот попадешься мне в лапы, тогда посмотрим, кто и как умеет кричать. В какой-то степени это Лацису удалось.

Пройдет несколько лет, и он примет участие в изгнании Троцкого из республики Советов.

Они поднялись в кабинет к Блюмкину.

В те первые месяцы Советской власти еще не было строгой системы, еще не сложилась советская бюрократическая машина, и даже машина подавления работала пока любительски, жестоко, но непоследовательно.

Блюмкин только что пришел, был сонным и злым, предстоял трудный день допросов и обысков. Надо было шить большое дело. И тут к нему пришел Лацис — неприятный холодный бонза из верхушки Комиссии, который временами заменял Дзержинского, а с ним примчался лохматый дядька с диким взглядом, лицом, сдавленным между большим лбом и острым подбородком, так что нос крючковато выдавался вперед. Усы и черная эспаньолка, маленькая, будто приклеенная, придавала типу театральный облик.

Увидев сидевшего за вальяжным столом Блюмкина, пришедший товарищ почему-то быстрым движением снял пенсне и принялся протирать стекла большими пальцами, Блюмкин поднялся. Что за напасть. Визитеры сердиты. Кто на него накапал?

— Блюмкин. — Лацис не любил этого парня, хоть тот и был протеже самого Председателя. У него был нюх на авантюристов, к тому же внешнее наблюдение уже не раз докладывало, что Блюмкин не чурается подозрительных связей, — Ты задерживал Давида Бронштейна?

— Да, он у меня проходит по делу.

— Что задело? — спросил Лацис — прямой, как палка, белесый и скучный.

— Не могу при посторонних! — сыграл в преданность идее Блюмкин.

— Отставить! — остановил его Лацис. — Говори.

— Дело пахнет шпионским заговором. После долгой оперативной работы раскрыли сеть агентов. Они обменивали пачки долларов на наши деньги для оплаты агентуры. Часть заговорщиков взяли, остальные пока в бегах. Возьмем к вечеру. Дело серьезное.

— А сеть, — громко сказал курчавый с эспаньолкой, — состоит из юной девушки Лиды Берестовой, которая пришла к вам просить за старика.

Лацис с удивлением посмотрел на него.

— Для отвода глаз. — Блюмкин уже не был так уверен в том, что ему удастся стать генералом на этом громком деле. — Для отвода глаз она пришла сюда и попалась.

Они еще надеялись... но найдены связи с американским посольством. Бронштейн во многом сознался.

— Сколько было долларов? — спросил Троцкий, которого Лацис не стал представлять Блюмкину.

— Крупная сумма.

— Сколько? — вдруг рявкнул Лацис, который уже отлично понял, что Блюмкин кует заговор на пустом месте. А Лацис ни в чем не терпел дилетантства и авантюр.

— Разве дело в сумме? — не сдавался Блюмкин. — Вы бы посмотрели на этих типов...

— Вот это мне и нужно, — сказал Лацис. — Где эти типы?

— Во внутренней тюрьме, — сказал Блюмкин.

— Чтобы через пять минут они были здесь! Сам беги, ножками.

— Слушаюсь, товарищ Лацис.

Блюмкин потопал сапогами по коридору. Коля как раз шел к нему, но прижался к стене, увидев, что красный, злой Блюмкин тяжело бежит навстречу.

Блюмкин даже не заметил Колю, а тот повернул обратно, к себе. Так будет лучше.

В кабинете Блюмкина Лацис предложил Троцкому сесть в кресло Блюмкина, но тот отказался. Он подошел к окну и стал смотреть на церковь. По крайней мере отец жив. Иначе Блюмкин не побежал бы за ним.

«Отец, отец... что за характер! Весь в меня, Теперь еще придется оправдываться — и за себя, и за всю партию». Троцкий даже улыбнулся.

— Кем вам приходится гражданин Бронштейн? — спросил за спиной Лацис.

— Отцом, — ответил Троцкий. — Он приехал с юга и искал меня. Он не догадался, что меня здесь никто не знает как Бронштейна.

Понятно, — сказал Лацис, — Вы можете ехать, у вас, наверное, дела, Лев Давидович.

А то освобождение заговорщиков потребует некоторого времени и некоторых формальностей...

— Надеюсь, вы не разделяете подозрений этого молодого человека? — спросил Троцкий.

— Бывают и у нас дураки.

— Если у него отдел по борьбе с иностранцами — заметил Троцкий, — значит, это кому-то нужно.

— Я не вмешиваюсь в высокую политику, — сказал Лацис. Я — ищейка.

— Боюсь, что мы с вами еще услышим эту фамилию, — сказал Троцкий. — На вашем месте я бы проверил, как он сюда попал и для чего его здесь держат.

Сначала вошел Бронштейн, за ним Лидочка, последним — Блюмкин. В дверях остановился чекист, который охранял заключенных, Видно, он не оставил их своими заботами, получив странный приказ Блюмкина.

— Отец! — Троцкий бросился к Давиду Леонтьевичу.

Тот стоял и молча глядел на сына.

Троцкий увидел, что один глаз старика заплыл, на щеке — кровоподтек.

— Кто это сделал? Скажи, какая сволочь это сделала?

— Лучше бы я не приезжал, — сказал дед Давид. — Лучше бы я пожил при немцах.

— Я сегодня же поставлю вопрос на заседании ЦИК, — сказал Троцкий Лацису. — Вашу контору следует прочистить от всякой примазавшейся к ней сволочи.

— Будьте уверены. Товарищ Блюмкин у нас больше не работает, — сказал Лацис.

— А меня били по спине и животу, — сказала Лидочка, — они сказали, что не хотят мне рожу портить...

— Тебя этот бил? спросил Троцкий и, не дожидаясь ответа, дал Блюмкину хлесткую пощечину. Голова Блюмкина дернулась, и он выскочил в коридор.

— Нет, — сказала Лидочка, — у них есть для этого страшные люди, Ужасные люди. Вы не представляете.

Давид Леонтьевич обнял Лидочку и сказал сыну:

— Эта девочка не испугалась и пошла в самое логово бандитов, чтобы выручить меня.

Запомни это, Лейба.

— К счастью, она была не одна, — ответил Троцкий. Он обернулся к Лацису:

— Надеюсь, я могу верить вашему слову, что эти методы будут искоренены из работы Чрезвычайной Комиссии. Это типичная контрреволюция, эти провокации выгодны нашим противникам.

— Я понимаю и совершенно с вами согласен, — ответил Лацис. — Я прошу всех пройти ко мне в кабинет, чтобы составить и подписать бумаги об освобождении граждан.

Понимаете, должен быть порядок. Во всем.

— Когда забирали, кто соблюдал порядок? — спросил Давид Леонтьевич. — Когда молотили хуже, чем при царе, кто соблюдал?

Они вышли в коридор и направились к кабинету Лациса.

Блюмкина в пределах видимости не было. Он отправился в медчасть, чтобы получить справку о болезни.

###### \* \* \*

В те дни, в середине июня 1918 года, в Омске образовалось временное сибирское правительство. Оно опиралось на чехословаков, которые тогда взбунтовались против большевиков.

Чехи, которые сыграли такую важную роль в русской гражданской войне, попали в Россию не по доброй воле.

Рассыпалась, умирала и никак не могла окончательно помереть громадная лоскутная Австро-Венгерская империя. И практически все народы, кроме австрийцев, в нее входившие, мечтали о независимости. А так как армия империи была в значительной степени составлена из мобилизованных инородцев, то многие принялись сдаваться в плен к русским. И в лагерях для военнопленных скопились сотни тысяч солдат и офицеров, которые требовали, чтобы их снова пустили в окопы, но с другой стороны.

Они желали сражаться за независимость своей родины. Чехи — Чехии словаки — Словакии, венгры — Венгрии, поляки (из южных воеводств) — Польши.

Царское правительство решило использовать пленных, вооружало их, сводило в полки и дивизии, посылало к ним для контроля и обучения русских офицеров, но немногие из новых союзников успели принять участие в боях. После революции эти полусформированные полки стали для большевиков опасны. Идея новых правителей России помириться с Германией и Австро-Венгрией была им отвратительна, Они ее воспринимали как предательство. Поэтому первый и второй польские корпуса начали воевать с наступающими германскими частями в Белоруссии и на Украине, а чехи, которых насчитывалось примерно 60000 человек, дисциплинированных, вооруженных, имевших своих командиров, потребовали, сговорившись с французами, чтобы их отправили на дальний Восток, а там союзники переправят их морем на фронт против Австро-Венгрии.

Большевики этих чехов и поляков боялись.

И начали суетиться.

Будь они спокойнее и опытней в военных делах, они бы сделали все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от чехов и поляков мирным путем. Но отношения с братьями-славянами портились день ото дня, и большевики пришли к выводу, что те готовят восстание, Поляков, собравшихся в Екатеринбурге, окружили и перебили — лишь некоторым удалось убежать в Мурманск и Архангельск, а то и на юг — в Одессу. Но чехов было куда больше, и они были отлично организованы. Эшелоны с ними медленно двигались на восток, растянувшись на сотни километров от Волги до Омска.

Ехали чехословаки не в вакууме. В каждом городе на каждой станции они общались с местной властью и местными политиками, И они понимали, что большевики — их враги.

Их следует опасаться и верить им никак нельзя, В Челябинске, где их затормозили и не пускали под разными предлогами дальше, они сговорились с тамошними демократами и разогнали Совет.

Известие об этом всполошило Москву.

Был отдан приказ всем Советам по Сибирскому пути разоружать чехов. А тем временем 25 мая чехи, вступившие в открытый конфликт с советской властью, заняли Мариинск, и 8 июня вал большой город Новониколаевск, известный ныне как Новосибирск.

Московский приказ опоздал.

За несколько следующих дней чехословаки захватили все станции к западу. Вплоть до городов на Волге — Самары и Сызрани.

Восстание чехословаков распространялось неотвратимо, железные дороги оказались теми артериями, по которым текли микробы болезни.

На юге белые части остались без командира. 17 апреля случайным снарядом под Екатеринодаром убило генерала Корнилова. Принявший командование Антон Деникин отступил в район Ставрополя. Красные отряды под командованием жестокого садиста Сиверса залили кровью казачьи области. Немцы вошли в Донбасс, они торопилась захватить угольный бассейн.

А в Москве у германского посла графа Мирбаха угнали из гаража его роскошный посольский автомобиль. И его не нашли!

В тот же день глупо погиб знаменитый актер и бузотер Мамонт-Дальский. Он попал под трамвай, и ему отрезало ноги. Современник писал: «Это был гений и беспутство, олицетворение Кина, к тому же к концу своей мятежной жизни он бросил сцену и объявился убежденным анархистом.

Тот же современник писал в дневнике: «Гастрономические впечатления: икра зернистая черная — 38 рублей фунт, красная — 10 руб., десяток огурцов — 10 руб., коробка сардин — 16 руб.».

Судя по всему, черная икра еще не стала исключительным лакомством.

Особенно если «костюм пиджачный обходился в 800 руб., а шляпа — в 60 рублей. Вот и живи на 625 р. в месяц!» — пишет чиновник, который и при большевиках чиновник.

Что еще происходило в те дни? На Адриатическом море французская подводная лодка взорвала австрийский дредноут «Св. Иштван». На заседании ЦИК 15 июня представители меньшевиков и правых эсеров исключены из ЦИК.

Тот же современник восклицал: «Теперь там остались одни большевики. При каком царе Горохе царствовала только одна партия?» 20 июня началась страшная жара.

В городе ходили слухи об убийстве Николая II. В Петрограде убили большевика Володарского, а Трибунал вынес смертный приговор командующему Балтийским флотом А. Щастному за то, что он намеревался устроить заговор и скинуть большевиков.

Обвинение было стандартным. Щастного расстреляли.

Часть Черноморского флота возвратилась в Севастополь из Новороссийска, остальные по приказу Москвы взорваны.

Большевики готовились к Съезду Советов и ликвидации верных пока союзников — левых эсеров.

Блюмкина не выгнали с работы. В ликвидации левых эсеров ему была отведена важная роль.

## Глава 4

6 июля 1918 г.

Утром 6 июля недавно снятый с должности заведующего отделом борьбы с иностранными разведкам Яков Григорьевич Блюмкин, двадцати лет от роду, по партийной принадлежности — левый эсер, пришел в общий отдел и взял у Любочки чистый бланк. Потом пошел к себе в кабинет, который никто у него не отнял, и сам напечатал двумя пальцами такой текст:

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена, Якова Блюмкина, и представителя революционного трибунала Николая.

Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу.

Секретарь комиссии (Ксенофонтов)

Председатель комиссии (Дзержинский)

Полюбовавшись на убедительно выглядевший документ, Блюмкин достал какую-то хозяйственную бумагу и скопировал подпись Ксенофонтова. Получилось мало похоже, но это не играло роли, потому что подпись Ксенофонтова никому за пределами Рождественки не была известна.

С мандатом в черной папке Блюмкин поднялся к Председателю.

Дзержинский прочел мандат, поправил опечатку и размашисто подписался.

Потом недобро улыбнулся и сказал:

— Славно ты поделал подпись, Блюмкин. Талант у тебя по этой части.

— Стараемся, — ответил Блюмкин.

— Желаю удачи. Жду со щитом. Ошибиться нам с тобой нельзя. Сегодня на Съезде Советов мы должны ликвидировать фракцию твоих товарищей по партии. Боливар двоих не свезет.

Дзержинский имел в виду рассказ американца О’Генри, о существовании которого, как и автора, Блюмкин не подозревал. Но со словами Феликса Эдмундовича он сразу согласился.

— Твоя акция — бикфордов шнур революции, — закончил Дзержинский. — Иди. Не торопись, пускай работает Андреев. У него твердая рука.

Дзержинский хотел было закончить свое напутствие латинской фразой «Идущие на смерть приветствуют тебя, но передумал. — Блюмкин не знает латыни, ее в хедере не изучают. А латынь семинарскую Председатель подзабыл.

Дальнейшее Блюмкин на следствии описал так:

«Из Комиссии я поехал домой, в гостиницу „Элит“ на Неглинном проезде, переоделся и поехал в первый дом Советов. Здесь уже ждал меня Николай Андреев. Там мы получили снаряд, последние указания и револьверы, Я спрятал револьвер в портфель, бомба находилась у Андреева также в портфеле, заваленная бумагами. Из „Метрополя» мы вышли около 2-х часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, дав ему револьвер, обратился к нему как член Комиссии тоном приказания: «Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрелы, шум, будьте спокойны».

Денежный переулок, что идет от Арбата параллельно Садовому кольцу в сторону Пречистенки, в обычное время тих и малолюден. Обширный претенциозный особняк, построенный в начале века, который выделили в Москве германскому посольству, принадлежал до революции сахарозаводчику Бергу. Берг скончался, и вдова с многочисленными детьми, которую, разумеется, выселили, была искренне рада, что ее особняк попадет в хорошие руки: немецкое посольство для сохранения дома и оставшейся в нем мебели, гобеленов и ковров было спасением, «Наш дворец, — записал в дневнике советник посольства барон фон Ботмер, — вполне заслуживающий такого названия, кроме нескольких залов и многочисленных помещений для прислуги, насчитывает еще не менее 30 комнат».

Денежный переулок был пуст, серый бастион особняка скрывался в тени, отделенный от тротуара высокой железной оградой. Но сама проезжая часть, как и небольшие дома на другой стороне, были ослепительно освещены июльским солнцем.

Длинный автомобиль с опущенным верхом затормозил перед подъездом посольства, возле которого таился в тени почти невидный с переулка милиционер. Яша Блюмкин посмотрел на золотые наручные часы, трофей одесских времен.

— Два с четвертью, — сообщил он почему-то Коле.

Коля кивнул.

Коля не чувствовал страха, хотя должен был понимать, что ему осталось жить на свете несколько минут. Его состояние было скорее тупым, как у гимназиста на экзамене, когда вытащен необоримый билет, вот-вот учитель позовет к доске, а ты смотришь в окно и думаешь, улетит сейчас воробей или замрет на ветке.

Он последовал за Блюмкиным в подъезд, мимо сонного милиционера в вестибюль, в котором было жарко, потому что солнце било через стеклянный потолок. На стульях в ряд, спинами к стене, сидели немногочисленные посетители. Или просители.

Скучный немец в сером костюме со старомодным моноклем на цепочке спросил господ товарищей, зачем они пожаловали в неурочное время, как раз недавно начался обеденный перерыв. Глаза у немца были подозрительные, визитеры ему не понравились.

Смуглый, массивный черноволосый тип в кожаной, несмотря на жару, куртке сказал:

— Нам надо видеть посла фон Мирбаха по срочному государственному делу.

— По окончании обеда к вам выйдет сотрудник посольства.

Скучный немец навострился уйти из вестибюля, сделав на прощание широкий жест лапкой: ждите-с!

Но от Блюмкина так просто не уйдешь.

Чекист в три шага догнал Немца, схватил его за локоть и рванул к себе.

Когда тот невольно развернулся, Блюмкин брызнул ему в лицо слюной:

— Мы ждать не будем. Если ты не вытащишь своего посла, мы все это посольство к чертовой матери разнесем. Видишь, машина под окнами стоит? Так я же Чрезвычайный комиссар Советской России! Я имею право всех перестрелять без суда и следствия.

Блюмкин продолжал нести грозную чепуху, распаляя в первую очередь самого себя.

Немец повернулся в дверях и резко произнес:

— Прошу ожидать!

Блюмкин почему-то не посмел шагнуть за ним в следующую комнату — обшитую малиновыми шпалерами.

Больше воевать было не с кем.

Коля стоял с портфелем в руке. Портфель казался очень тяжелым, он оттягивал руку, хотя в нем, помимо ненужных бумаг, лежал лишь наган и граната-лимонка.

— Ну, я им покажу! — сказал Блюмкин и уселся на стул для посетителей.

Коля остался стоять.

— Ну ты чего маячишь! — рассердился па него Блюмкин.

За полчаса, которые пришлось просидеть в вестибюле, они не сказали друг другу ни слова.

От жары и наведенной ею сонливости Коля потерял смысл действия. Хотел, чтобы все поскорее кончилось и его не задело. Смущал только вчерашний разговор с Феликсом Эдмундовичем. Тот не называл имен, времени и места действия, но напутствия были понятны и без этого.

— Яшу надо будет подстраховать, — говорил Председатель. — Во-первых, он может в неожиданный момент потерять рассудок или впасть в припадок ярости. А мы, чекисты, должны всегда сохранять холодной голову.

Он откашлялся и исправил поучение:

— Сохранять холодной голову и главное — холодное сердце! Нет ничего опаснее горячего сердца. Назовем это ложной романтикой.

Дзержинский допил стакан чая с лимоном, которого не стал предлагать подчиненному.

— Но главное, учтите, Андреев, что Яков Григорьевич патологически плохо стреляет.

Он единственный наш сотрудник, который может десять раз из десяти промазать мимо паровоза. Но стрелять должен он. Это его работа. Мне сейчас не отыскать другого известного левого эсера, который согласится на акт и сможет его исполнить. Но когда он промахнется, стрелять будете вы. Для надежности вы бросите бомбу.

Ошибки быть не должно. Иначе последнюю пулю — себе в голову.

Дзержинский не улыбался.

Будто хотел сказать — живым я тебя обратно не жду.

Но на прощание по-товарищески пожал Коле руку.

И закончил речь мирно:

— Вы — наш партийный контроль в этой операции. Левые эсеры должны совершить это преступление. Постарайтесь уж, голубчик, чтобы оно свершилось.

Коля проснулся, когда в вестибюль вошли два немца. Один — давешний, второй — склонный к полноте, с добрым, даже веселым красным лицом и губами, лоснящимися после только что завершенного обеда.

Коля перехватил в руку портфель, который почивал у него на коленях, Блюмкин уже вскочил, как провинившийся гимназист.

Круглолицый коротко поклонился, изобразил добрую улыбку и прёдставился:

— Советник посольства доктор Рицлер.

— Лейтенант Миллер, — произнес второй.

— Чем мы можем служить вашему ведомству?

— Мы приехали говорись с послом Германии графом фон Мирбахом, — сказал Блюмкин.

— Посол занят, Я как советник уполномочен вести любые переговоры.

— Речь идет о его племяннике, — настаивал Блюмкин.

Он протянул Рицлеру письмо.

Тот прочел его быстро, видно, русский изучал как следует.

Затем сделал жест в сторону красной гостиной.

Блюмкин колебался. Отказаться от беседы с советником и уехать, не выполнив приказа?

Затем медленно, откинув шевелюру, как театральный трагик, он двинулся вперед.

В красной гостиной стоял длинный стол. Немцы уселись по одну сторону, Коля с Блюмкиным — напротив.

Коля сразу посмотрел на окна. Окна были открыты. Значит, это не мышеловка, Убежать можно. За окном виднелись домики на той стороне переулка.

— Что же вы можете сообщить нам нового о Роберте Мирбахе? — спросил Рицлер. По этим словам нетрудно было догадаться, что какие-то переговоры об австрийском военнопленном он уже вел.

— Я повторяю, что буду вести переговоры только с послом. Это пожелание моего непосредственного руководители. Вы не спросили мнения посла. Может, он все же хочет со мной поговорить?

«Не соглашайся, — мысленно умолял Коля советника Рицлера. — Неужели ты еще не догадался, что мы пришли убить Мирбаха? Если он к нам не выйдет, то не будет убийства, и я, Николай Беккер, останусь жив, Я не хочу никого убивать!»

Рицлер пожал плечами и, переглянувшись с Миллером, поднялся.

Блюмкин не сдержал торжествующей усмешки.

Ну почему я не сказал Дзержинскому, что не хочу? Он бы меня освободил. Коля понимал при этом, что Дзержинский никогда бы его не освободил.

Он теперь — человек Дзержинского, и никто его не освободит от этой чести и проклятия. Вместе со злым гением Дзержинского он, Беккер-Берестов-Андреев вознесется и погибнет и вместе с ним рухнет.

И тут же в гостиную вошел посол Мирбах.

А длинные, как колонна, часы в углу принялись громко отсчитывать последние секунды его жизни.

Седой пробор, проведенный опасной бритвой вдоль головы, усы короткие и чуть согнутые, как плечики для платья, костюм сидит, как генеральский мундир... посол занял место во главе стола.

— Чем могу служить?

Яша подобрался, как полк перед прыжком, и страшно побледнел. В нем всегда уживались трусость и приступы отчаянной смелости, даже безрассудства. «Во мне живет дух берсеркера», — сказал он как-то Коле. Коля знал, что берсеркеры — оголтелые викинги.

— Господин посол, ваше превосходительство, — Блюмкин говорил быстро, словно читал по бумажке затверженный урок, — я явился к вам по делу лично вам незнакомого члена венгерской ветви вашей семьи Роберта Мирбаха, который арестован нами по подозрению в шпионаже.

— К сожалению, — ответил посол, — я не имею ничего общего с этим офицером, и это дело для меня совершенно чуждо. А так как я собираюсь в Большой театр на заседание Съезда Советов, то надеюсь, что этот вопрос исчерпан.

Посол намеревался подняться, но Блюмкин заговорил вновь:

— Дело вашего племянника будет рассматриваться трибуналом через десять дней.

Неужели судьба родственника, которому грозит смертная казнь, оставляет вас равнодушным?

Коля испугался, что посол сейчас уйдет, а он не успеет достать наган, спрятанный под бумагами в портфеле. Он расстегнул замок портфеля, и на громкий щелчок замка все обернулись.

— У меня здесь документы, — сказал Коля виновато. — Я сейчас покажу.

— Вряд ли это нас заинтересует, — заметил советник Рицлер, который всей шкурой чуял неладное и молил бога, чтобы посол ушел поскорее. — Я предлагаю передать эти документы по обычным каналам, через господина Карахана в Наркомате иностранных дел.

— Нет, это очень интересно! — закричал Коля, чтобы поторопить, подтолкнуть Блюмкина. Он вдруг понял, что Блюмкин уже готов уйти.

Блюмкин кинул бешеный взгляд на Колю, и тот понял, что Блюмкин вытащил из кармана револьвер и сейчас выстрелит.

Коля стал вынимать свой наган из портфеля, а вывалилась граната. Она гулко упала на пол, но нё взорвалась, а покатилась к двери.

Блюмкин налил из револьвера в лица немцев, а те, растерявшись, оставались сидеть в мягких креслах, делая лишь неуверенные попытки выпростаться из их объятий.

Блюмкин расстрелял в упор всю обойму и, как потом стало ясно, умудрился не попасть ни в одного из немецких дипломатов, А Коля не стрелял, он видел замеленное движение Мирбаха.

Этот высокий уверенный в себе человек свалил кресло и кинулся к двери в вестибюль. Он бежал, согнувшись, сжавшись, будто ждал удара пули в спину и знал, что она его настигнет.

Колей овладело мгновенное спокойствие, как перед выстрелом в тире. Он видел серую спину старого человека, который через несколько шагов скроется в вестибюле, И ему надо было попасть в десятку — в основание шеи посла.

Коля выстрелил лишь раз, посол, как от сильного удара в спину, полетел нырком вперед, и в этот момент взорвалась граната. Коля так и не знал, вытащил ли он из нее запал или взрыв произошел сам по себе.

Взрывной волной Колю отбросило назад, он ударился бедром о край стола, было больно, но Коля помнил, что в трех шагах открытое окно. И он кинулся туда.

Комнату заволокло пылью и дымом. Волной поднимались крики изнутри здания.

Коля, хороший гимнаст, подтянулся и перепрыгнул через железную ограду.

Он влез в машину и закричал:

— Гони!

Но матрос, сидевший за рулем, не двинулся с места.

Двигатель работал.

— Стой, не уезжай! — это кричал Блюмкин, Он перебирался через ограду, зацепился за нее штаниной и неловко свалился на тротуар. Видно, он повредил ногу, потому что не переставал вопить и стонать.

Шофер открыл я него дверцу машины!

Блюмкин подтянулся и упал вдоль заднего сиденья. Коля отодвинулся к дальней дверце.

Коля видел все, что происходило вокруг, но его не покидало ощущение, что все это не имеет к нему отношения, С той стороны улицы какой-то мужчина, высунувшись в открытое окно, кричит милиционеру у подъезда: «Стреляй же! Уйдут!» И милиционер тянет с плеча ремень винтовки. А в подъезде уже появился силуэт германского военного с револьвером, и револьвер успел пыхнуть огнем, прежде чем автомобиль Г 27—60 рванул к Пречистенке, где в особняке стоял отряд ЧК под командованием левого эсера Попова.

— Я сломал ногу, — повторял Блюмкин. Ему было очень больно, и он просил шофера ехать не так быстро, а потом спохватился и спросил Колю:

— Где портфель? Ты где его посеял?

Только тут Коля сообразил, что портфель он оставил на столе. Когда вытаскивал из него револьвер и бомбу.

— Ты понимаешь, что наделал! — Блюмкин, казалось, забыл о боли. — Там же письмо из ЧК и мой мандат. Через полчаса весь мир узнает о том, что посла убил я! Я изменил судьбу нашей республики, а может, и всего мира! Но меня уберут!

Понимаешь, мной можно пожертвовать.

— Ты не убивал Мирбаха, — сказал Коля. — Ты ни в кого не попал и отлично об этом знаешь.

— Ах, помолчи, кто догадается о твоем существовании? Ты лишь бледная моя тень.

Мирбаха убил Блюмкин! Понимаешь, козявка! И если ты этого не поймешь, то исчезнешь с лица земли. Уж в тебя-то я не промахнусь.

Почему-то Блюмкин показал Коле кулак.

Револьвера у него не было — револьвер он оставил в посольстве, И тут автомобиль затормозил у особняка. Там было людно. Боевой отряд ЧК был поднят по тревоге. Ждали Дзержинского, который обещал приехать сразу со Съезда.

Попов не знал, что на Съезде готовится разгром эсеров. Его участь также была решена — эсеровский отряд, хоть и верный Дзержинскому, должен быть уничтожен, потому что его следует объявить ядром эсеровского мятежа. Именно поэтому шофер автомобиля Г 27—60, переодетый матросом командир латышской роты, имел приказ сразу же после акта в немецком посольстве доставить убийц именно к Попову. Это будет лучшим доказательством того, что покушение было организовано и выполнено союзниками большевиков.

Попов об этом еще не подозревал. Как и о событиях в Большом театре.

И когда Блюмкин, которого внесли в особняк и положили в комнате, отведенной под лазарет, бойцы-чекисты, позвал Попова и сообщил тому, что по секретному приказу ЦК партии левых эсеров он убил немецкого посла и разорвал этим позорный мир, тот был растерян, так как никаких распоряжений или новостей не получал. Но понял, что на отряд надвигается опасность, и велел поставить в окнах пулеметы.

Чекист Беленький, который видел, как Блюмкин подъехал к Попову, сразу кинулся искать Дзержинского. Он не был в курсе дел и потому решил, что спасает революцию.

Беленький поторопил события, Дзержинскому хотелось сначала разделаться с эсерами.

Беленький застал Дзержинского в германском посольстве, куда уже съехались советские вожди, Сначала там появился вездесущий суетливый Карл Радек, вскоре появились Дзержинский, которому немцы показали мандат Блюмкина с собственной подписью. Вот этого Блюмкин не должен был делать! Дзержинский был взбешен. Он заявил, что подпись фальшивая, но никто ему не поверил. Дзержинский поклялся отомстить Блюмкину, стереть с лица земли этого растяпу. Какой же это, к черту, заговор левых эсеров!

Разгром левых эсеров должен был быть завершен. Но вождям следовало как-то смягчить содержание послания, которое отправят сейчас в Берлин немецкие дипломаты.

Поэтому в посольство поехала верхушка партии — Ленин, Свердлов и Чичерин.

Троцкий остался руководить делами на Съезде Советов. К тому же он подчеркнул, что никакой жалости ни к послу, ни к миру с Германией не испытывает. Война так война! Но Ленин был в отличном расположении духа. В машине он даже шутил, как бы не перепутать немецкие слова „симпатия“ и соболезнование». Он полагал, что немцы на разрыв мира не пойдут: у них самих дела шли гадко, а войск для дальнейших завоеваний не осталось, к тому же мечты о хлебе, угле и прочей добыче оказались пустыми — вывезти добычу не удавалось.

Дзержинский все еще был в посольстве. Он сказал Ленину:

— Моя подпись на мандате скопирована. Фигура Блюмкина выяснилась: он эсеровский провокатор. Я распорядился немедленно отыскать его и арестовать.

— Кто был с ним? — спросил Свердлов. — Немцы говорят, что посла убил второй человек.

— Не представляю, — сказал Дзержинский. — Он не из моей Комиссии.

Советник Рицлер пригласил визитеров в приемную.

Именно там Ленин на неплохом немецком языке принес извинения за случившееся и выразил надежду, что трагические события на неконтролируемой советскими властями посольской территории, охрану которой несет немецкая сторона, не повлияют на отношения между дружественными державами.

С этими словами он поднялся, за ним ушли и члены правительства, Ленин снял своими словами ответственность с правительства за события.

Дзержинский оставил в посольстве своего помощника Стучку с приказом — под любым предлогом унести папку с подписью Председателя. Что Стучка благополучно и сделал.

Мандат Блюмкина исчез. Ни на суде, ни в архивах он не фигурировал.

Дальнейшие события того дня постепенно переместились в Большой театр.

Но до этого Дзержинский отправился в отряд Попова, чтобы арестовать Блюмкина и второго убийцу, неизвестного Андреева.

Тем временем Ленин, не поверивший ни одному слову Дзержинского, снял его с поста Председателя ВЧК, а на его место был назначен верный Лацис. Дзержинский, которого Попов, узнавший о событиях, в Большом театре задержал, еще не знал о том, что Ленин подозревает, что именно Дзержинский стоит за заговором, направленном на срыв Брестского мира.

Ленин с товарищами тем временем обсуждали детали разгрома левых эсеров. Ленин был в радостном приподнятом настроении. История была как синяя птица Метерлинка, которая попала ему в руки. Ему удалось подтолкнуть Дзержинского к акту, свалить его на эсеров, и теперь надо было действовать быстро и подавить эсеровский мятеж раньше, чем эсеры догадаются его начать, Через час, уже в пятом часу, Ленин оборвал дискуссию.

— Дело такое ясное, — сказал он, — а вот мы обсуждали его больше часа. Впрочем, — лукаво усмехнулся вождь, — эсеры еще более любят поговорить, чем мы, У них наверняка сейчас дискуссия в самом разгаре. Это поможет нам, пока Подвойский раскачается.

Давно у Ильича не было такого легкого, воздушного настроения, когда все получается и все двери распахиваются перед тобой, как от дуновения ветра. И за дверями возникал милый сердцу, чистый немецкий пейзаж, отороченный зеленой дубравой и устланный желтыми ровными полями.

Какое счастье упасть на траву, вдыхать ее аромат, видеть кузнечика, ползущего по былинке, и слышать перезвон колокольчиков далекого баварского стада.

В те минуты вожди левых эсеров, не понимая, что же происходит, на нескольких автомобилях помчались по притихшей Москве к дому, где ждал ощетинившийся пулеметами отряд Попова, где в лазарете лежал Блюмкин.

Но сама фракция оставалась в Большом театре. Триста пятьдесят депутатов все еще не знали об акции Блюмкина. С ними оставался Мстиславский.

В зале было тревожно. И хоть заседание было назначено на четыре, президиум оставался пуст, стенографистки томились у сцены. Ленин так и не приехал.

В особняке Попона лидеры эсеров после долгих споров решили, что партия возьмет на себя ответственность за убийство. Иной выход был чреват разочарованием рядовых ее членов в вождях. Эсеры никогда не осуждали убийство и террор. Мир с Германией, изобретение большевиков, был позорен. Спиридонова кинула камень своего голоса на весы. И тут до высокого совещания долетело известие: Большой театр окружен латышами и броневиками. Большевики объявили убийство Мирбаха сигналом к мятежу левых эсеров и постановили взять их всех под стражу. И для начала в Большом театре были заперты все четыреста делегатов съезда.

Узнав об этом, импульсивная, ненадежная, крикливая и в конечном счете искупившая все своей мученической кончиной в ленинских лагерях председатель партии Спиридонова ринулась к Большому театру и потребовала, чтобы ее арестовали вместе с делегатами съезда.

Большевики с готовностью пошли Спиридоновой навстречу.

И с тех пор до казни Спиридонова лишь меняла тюрьмы и лагеря.

Убийство Мирбаха Ленин, неизвестно, знавший ли о нем заранее или только подозревавший, что оно случится, использовал на триста процентов.

По всей стране прокатилась волна арестов эсеров. Их отряды были разоружены, а так как мятеж был подавлен в первые же дни и сами мятежники о нем и не подозревали, лишь в некоторых городах эсеры сопротивлялись. Их расстреливали.

После убийства Мирбаха большевики правили страной без союзников, оппозиции и соперников. Вплоть до конца 80-х годов.

Жена будущего члена Политбюро, а в те дни одного из вождей партии Отто Куусинена, вспоминала:

«На самом деле эсеры не были виновны. Когда я однажды вернулась домой, Отто был у себя в кабинете с высоким бородатым молодым человеком, которого представили мне как товарища Сафира. Когда он ушел, Отто сказал мне, что я только что видела убийцу графа Мирбаха, настоящее имя которого Блюмкин. Когда я заметила, что Мирбах был убит левыми эсерами, Отто громко рассмеялся. Несомненно, убийство было только поводом для того, чтобы убрать левых эсеров с пути, поскольку они были самыми серьезными оппонентами Ленина».

Когда мятеж был подавлен, в Германию приехал нарком торговли Лев Борисович Красин, один из наиболее талантливых и порядочных людей в Советской России. По словам сотрудника посольства, Красин «с глубоким отвращением сообщил, что такого глубокого и жестокого цинизма он в Ленине даже не подозревал». А в день убийства Мирбаха Ленин, по словам Красина, «с улыбочкой, заметьте, с улыбочкой, заявил: „Мы произведем среди товарищей эсеров внутренний заем... и таким образом и невинность соблюдем, и капитал приобретем“.

Но одну ошибку Ленин все же совершил.

И роковую.

После завершения разгрома левых эсеров он счел опасность, исходившую от левых коммунистов, в первую очередь от Дзержинского, Пятакова и Бухарина, сошедшей на нет. Левым коммунистам, врагам Брестского мира, отныне не с кем было объединяться. А без помощи эсеров они были бессильны.

Но речь шла не просто о левых коммунистах, а об оппозиции Ленину, в которой объединились демократы вроде Красина и террористы, подобные Дзержинскому.

Ленин использовал в своих интересах и в интересах своей власти и власти своей партии убийство Мирбаха. Опыт государственных заговоров, в которых так славно можно использовать мятежных эсеров, копился среди радикальной оппозиции. Для нее Ленин не был иконой, а казался лишь надоевшим доктринером и диктатором. На это место были желающие.

###### \* \* \*

В Москве гремели пушки — большевики расстреливали редкие очаги сопротивления эсеров.

Коля Беккер ушел из отряда Попона сразу после приезда туда Дзержинского. Он не получал никаких указаний на этот счет, но атмосфера в отряде была ему не по душе.

Он не хотел лишних вопросов, и, слава богу, Блюмкин, одержимый манией величия, никому не говорил, что убил посла не он, а красивый молодой человек, большевик, родом из Крыма, обладатель нескольких имен.

Никто Колю не задерживал — уйти из штаба эсеров было просто.

Он сел на трамвай и поехал в центр, он хотел рассказать обо всем Нине — человеку нужно исповедаться. Но ее не было, зато Фанни оказалась дома.

— Что случилось? — спросила она. — От тебя пахнет порохом.

— Ну я нюх у тебя!

Фанни, конечно, не ожидала, что Коля заглянет днем, и накрутила мокрые волосы на гильзы от охотничьего ружья — бог знает, откуда она их раздобыла.

Она смутилась и стала выпутывать гильзы из густых упругих волос, халат расстегнулся, и Коля впервые увидел ее небольшую белую грудь с розовым маленьким соском.

Фанни не заметила непорядка в своей одежде, она была встревожена слухами и новостями, перелетавшими через площадь от Большого театра. Интуиция велела ей уходить, пока не дошла очередь и до нее, но она вдруг испугалась, что если уйдет в подполье, то потеряет Колю, разминется с ним. И чтобы не сидеть без дела и не прислушиваться к раскатам шагов судьбы, она принесла от коменданта большой чайник кипятка и вымыла голову.

Коля ворвался, как удар ледяного ветра.

Все было плохо.

Поэтому Фанни не заметила его взгляда. А сказала:

— Запах пороха в меня въелся. Я его, как видишь, отмываю. Ты пришел, чтобы...

Она оборвала фразу, потому что не посмела сказать, что он пришел попрощаться.

Но его ответ был неожиданным.

— Я убил немецкого посла, — сказал он.

Слова для него самого прозвучали впервые.

Фанни сразу поверила ему, но не поняла, зачем большевику убивать немецкого посла.

— У вашего правительства с немцами мир, — сказала она, словно поймав Колю на ошибке, а может, на лжи.

— Это все так сложно... — сказал Коля. — Наверное, меня ищут. Меня наверняка ищут.

Фанни вырвала из волос последние гильзы и приказала:

— Отвернись.

Коля отвернулся.

Он слышал то, чего слух не должен был уловить, — как опустился на одеяло халатик, как Фанни начала надевать, застегивать лиф.

И тогда он резко обернулся.

Фанни увидела в его глазах нечто, испугавшее ее.

— Коля, — попросила она. Именно попросила. — Отвернись, хорошо?

Он сделал шаг к ней.

Фанни стояла обнаженная до пояса, в простых белых панталонах до колен, в упавшей руке она держала лифчик.

— Ты забываешься, — сказала Фанни, когда он протянул руки, чтобы ее обнять.

— Пожалуйста, — умолял ее Коля. — Ты должна понять... мне никто не нужен, кроме тебя.

Она отступала, но отступать было некуда — сзади была лишь кровать.

— Тебя ищут? — сказала она. — Это правда, что тебя ищут?

Он ничего не ответил, он не мог ответить, потому что возбуждение, охватившее его, не было похотью. В нем противоестественно (а впрочем, что мы знаем о естественности чувств!) соединилась нежность к Фанни, желание обнять это нежное беззащитное тело, и желание спрятаться от ужаса, владевшего Колей, в чем он сам не отдавал себе отчета.

— Я люблю тебя, — сказал Коля. — Ты знаешь. Только не отказывай мне, не смей...

Она уперлась ему в грудь локтями, стараясь разорвать кольцо жадных рук, но сопротивление Фанни было половинчатым, обреченным на поражение с первой же секунды.

И когда он упал вместе с ней на широкую гостиничную кровать, она вдруг сказала:

— Надо штору закрыть.

Коля ее не слушал. Он стремился к ней, чтобы во всем мире остались только они.

Фанни была неопытной, неумелой любовницей. Немногие ее связи возникали в обстоятельствах неестественных для любви, да и не было в них любви. От них осталось чувство стыда и ощущение нечистоты того, что с ней делали мужчины — ночью на явочной квартире, за занавеской в избе, где квартировал товарищ по ссылке, а раз от страха перед становым приставом в селе под Чухломой.

Счастье, подаренное ей Колей было настолько неожиданным и сладостным, что она внутреннее сжалась и замерла, понимая, что это все сейчас прервется, как сон от визгливого будильника. Но на самом деле ей становилось все радостней, и она нетерпеливо вдруг, не владея собой, стала кричать Коле, чтобы он не отпускал ее, и тогда она захлебнется и утонет в бездонном наслаждении.

— Я убил, — шептал Коля, и, конечно же, Фанни не слышала его шепота, — Я убил, убил, убил...

Не слыша его, но нутром подхватывая слова и вкладывая в них иной смысл, Фанни вскрикивала:

— Убей меня, убей меня...

###### \* \* \*

На следующий день в час тридцать Ленин издал приказ арестовывать левых эсеров, где бы они ни прятались. Особенное внимание он приказал обратить на вокзалы, в первую очередь — на Курский вокзал.

Вацетису он велел:

— Организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить никого из бегущих.

Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения непричастности к мятежу. Направить лучшие силы по квартирам, где живут или прячутся эсеры.

В два часа сорок минут Вацетис доложил вождю, что приказ выполнен.

Несколько десятков латышей собрались возле здания ВЧК на Рождественке. Ленин стоял среди солдат, которые мирно курили, обсуждали события дня.

— Почему не вижу арестованных контрреволюционеров? — спросил Ленин, обращаясь ко всем и ни к кому в частности.

Хотите посмотреть? — спросил один из латышей.

Он взял Ленина под локоть и повел за угол на Варсонофьевский переулок. Там было шумно и людно — солдаты лучших сил революции тащили из секретных складов ВЧК мешки и бочки с продуктами и вином. В ряд выстроились извозчики, в сторонке торчали башни броневиков. Солдаты узнали, что чекисты прячут продукты, конфискованные у врагов революции. Охрану смяли, объявив ее эсеровской.

Дзержинский, освобожденный из плена, уехал домой спать, он почти не спал последние дни.

Ленин сердился, потому что операция сорвалась. Лациса сняли и на место председателя вернули Дзержинского, которому Ленин не доверял и чьей инквизиторской честности, особой и корыстной, он опасался. Дзержинский был скрупулезно честен, но при том жаден и жил взаймы, потому что большую часть полученных денег отправлял своему брату, имение которого сожгли крестьяне. У брата была большая семья, дворянину в деревенских западных краях было опасно.

К этому счастливому для большевиков, но омраченному грабежами дню относится и первая встреча Ильича с Мельником-Миллером.

С Рождественки Ленин поехал на Пятницкую, где тогда жила Инесса Арманд, его любовница и искренний друг.

Когда роллс-ройс вождя пересекал Болотную площадь, под него кинулся человек худого телосложения, сутулый и с диким взглядом.

— Стой, — кричал он. — Дальше ни шагу!

Опытный шофер Ленина Гирс сумел затормозить так, что радиатор чуть коснулся бока дикаря.

— Спасибо! — бросил тот и опустился на корточки.

Он стал ползать, по мостовой и собирать с камней булыжников каких-то жуков.

Гирс погудел, чтобы пугнуть чудака. Он показался ему неопасным, Но надо было глядеть в оба, потому что к товарищу Арманд Ленин ездил без охраны.

Ленину стало любопытно, Его еще не покинуло хорошее настроение. Он умел увидеть относительную ценность явлений и событий. Разгром эсеров и уничтожение конкурентов в борьбе за власть в Российской Республике превышало разочарование в преданности идеалам революционных солдат. Ленин отлично понимал, что у солдат, просидевших годы в вонючих окопах, никаких идеалов не осталось — идеалы могут выжить лишь в гостиных и академических кабинетах. Жаль только, что инквизиторы революции, солдаты Дзержинского, ненадежны, как и ненадежен сам Председатель ВЧК.

Дзержинского придется каким-то образом убрать. Он становится опасен. Для него революция — это он в революции, потому что, как и положено выкормышу польских иезуитов, он претендует на высшее и истинное толкование воли божества. И если он, Ленин Владимир Ильич, еще год назад был его божеством, то теперь Дзержинский уже свалил его с пьедестала и примеряет пьедестал под себя.

Но схватка с Дзержинским еще предстоит. Если знаешь, кто твой враг, то считай, что ты его по крайней мере наполовину разоружил.

Ленин легко соскочил на булыжную мостовую и пошел поглядеть, что там делает чудак в шляпе.

Тот поднялся, держа в руке большую стеклянную банку, которую прикрыл ладонью.

— Странное место для поиска насекомых, — сказал Ленин.

— Если бы это были насекомые, я бы не переживал, — ответил лохматый человек с диким взглядом подвижника. — Но это куда более ценные представители фауны. Не желаете ли взглянуть?

Ленин взял банку.

И он сразу же сообразил, что увидел нечто совершенно невероятное: это были животные. Кошки, уменьшенные до размеров майского жука. Они бегали по дну банки и выгибали спинки, поднимали хвостики и задирали к небу головки, будто отчаянно мяукали. Только ни звука из банки не доносилось.

— Что это означает? — спросил Ленин. — Что это за фокусы?

Он нашел самое простое из возможных объяснений, потому что знал, что в подавляющем большинстве случаев именно простые объяснения оказываются верными.

— Если вы не знаете, — ответил обиженно Миллер-Мельник, — то не стройте из себя умника. В последнее время развелось безумное число специалистов. Если это фокусы, то вы — коверный, а скорее всего рыжий клоун.

Ленин решил не обижаться и не реагировать на грубость, потому что перед ним стоял чудак, и притом чудак неординарный.

— Тогда объясните — потребовал Ленин.

— Это плоды моих открытий и опытов, — ответил Мельник-Миллер. — Вряд ли вы слышали обо мне, потому что моя основная лаборатория осталась в Риге, захваченной по милости большевиков тевтонами.

— Рига была оставлена русской армией в шестнадцатом году, — поправил Мельника-Миллера Ленин. — И большевики здесь совершенно ни при чем.

— Вы просто не в курсе дел, — возразил Мельник-Миллер. — Это нелюди! Не далее как на прошлой неделе два бандита из так называемой Чека ворвались ко мне в квартиру, если комнату под лестницей можно назвать квартирой, и возжелали конфисковать все мои труды.

— И что же, товарищ? — В глазах Ленина блеснула озорная искра. — Как вижу, им не удалось выполнить свое задание.

— А на что существует электричество! — воскликнул вызывающе Миллер-Мельник.

— На что?

— На то, чтобы такие типы забывали дорогу в мою лабораторию.

— Конкретнее! И представьтесь наконец!

В голосе Ленина прозвучал металл. Собеседник, услышав этот голос, обычно опускал глаза и замолкал.

— Миллер-Мельник, или наоборот. Я сам порой не помню, какая часть моей фамилии шествует первой.

— У вас лаборатория?

— Вот именно. Но я как беженец остался совсем один. Вы не представляете, как мне бывает трудно. Даже с питанием моих питомцев. Приходится скармливать их друг дружке.

Ленин поморщился.

— А что случилось с чекистами? — спросил он.

— Я вытащил их бесчувственные тела на лестницу. Когда они ночью пришли в себя, они ничего не помнили.

— И не вернулись?

— Куда им возвращаться?

— Начальство подскажет.

— Значит, не подсказало.

— Итак, — сказал Ленин, — попрошу вас пригласить нас к себе в лабораторию. Это далеко отсюда?

— Нет, вон в том доме.

— Отлично.

— У меня не убрано.

— Меня не интересует ваша кровать или остатки завтрака, — поморщился Ленин, — Мне важно оружие гипноза, которым вы занимаетесь.

— Да не занимаюсь я гипнозом, я же биолог!

— Пошли, пошли! — Ленин подтолкнул Мельника-Миллера в спину.

Гирс медленно ехал сзади.

Они вошли в подъезд.

— Четвертый этаж, — сказал ученый. — Только у меня не убрано.

Они поднялись наверх по давно не метенной лестнице.\ Мельник-Миллер принялся звонить в дверь.

— Ключи я всегда забываю, — сказал он. — А когда я увидел, что они сбежали, то буквально ринулся за ними. Я знаю, куда они бегают! Я все знаю об их вредных привычках.

Но он не объяснил, что за вредные привычки у его кошечек и почему он ловил их на мостовой, почти у обводного канала.

Потому что дверь распахнулась и Мария Дмитриевна грозно воскликнула:

— Григорий Константинович, это невыносимо! Я вашего таракана вчера вытащила из молока. Вы же знаете, насколько редок и труднодоступен теперь этот продукт. Я собиралась...

Тут она увидела невысокого рыжеватого господина с эспаньолкой, в серой кепке и поношенном пиджаке, и продолжала, обращаясь к нему:

— Я как раз собиралась кипятить молоко и вижу, в нем что-то плавает. Оказывается — его уродец! Такой вот, как в вашей банке. Вы намерены их купить? Для цирка, правильно я вас понимаю?

— Не совсем так, — сказал Ленин, — Не совсем так. Но я заинтересовался опытами вашего соседа... или родственника?

— Еще не хватало, — возмутилась баронесса, — обладать подобными родственниками.

Мельник-Миллер направился по коридору к своей комнате. Ленин с банкой в руке — за ним. Из кухни навстречу им шла Лидочка. Она несла чайник, забежала домой с курсов, чтобы перекусить.

Она поздоровалась с Лениным, и он показался ей знакомым. Потом, уже дойди до комнаты, она сообразила, что этот человек похож на Ленина, которого изображали на портретах и открытках, — это был один из самых популярных вождей республики, немного уступавший по популярности самому Троцкому.

Ленин проследовал за Мельником-Миллером в его комнату.

В комнате царил, по выражению баронессы Врангель, «более чем бэдлам».

Потребовалось бы возбужденное перо писателя фантастического свойства, чтобы описать это нагромождение приборов, стеклянных и металлических сосудов и трубок, а главное — аквариумов и клеток, в которых копошилась всякая живность. Запахи, царившие здесь, были неприятны и многообразны. Для борьбы с ними Андрей с помощью старика Бронштейна прибил по периметру двери матерчатый валик, набитый ватой, но и это не всегда помогало, К тому же крысы, уменьшившиеся в размерах до тараканов, умело прогрызали ходы и дыры, а потом разбегались по квартире, и далеко не всех удавалось поймать и возвратить на место.

— Удивительно живете, товарищ Мельник-Миллер, сказал Ленин и принялся пробираться вдоль клеток и аквариумов, рассматривать приборы и заглядывать в банки, в которых плавали заспиртованные уродцы.

— Очень велик процент отходов, — пояснил Мельник-Миллер, — не всегда качественная пища и химикалии. Вы не представляете, как трудно все доставать.

— Представляю, — коротко ответил Ленин.

За дверью был слышен голос Марии Дмитриевны.

— Надеюсь, наконец он все это продаст. Давно пора.

— Я не намерен ничего продавать, — сказал Миллер-Мельник. — Это великое открытие, которое прославит меня на весь мир.

— Вы имеете в виду электрический гипноз? — спросил Ленин.

Его практический ум не заинтересовался звериной мелочью — возможно ли уменьшение кошек и мышей либо нет, его сейчас не интересовало. Но сила электричества и возможности использовать его как оружие была насущна и архинужна!

— Гипноз — чепуха! — крикнул Миллер-Мельник. — Но я не могу больше работать в таких условиях. Меркулов обещал мне целый дом. Где он? Почему молчит Академия наук?

Ленин приоткрыл дверь в коридор и увидел стоявшую неподалеку баронессу. Мария Дмитриевна не подслушивала. Она почитала своим правом знать обо всем, что происходило в квартире. Тем более после того, как Давид Леонтьевич стал часто уходить и даже ночевать вне квартиры, оставив ее полностью на попечение баронессы, Но семья сына Левушки, дела которого отец не одобрял, но все же любил как самого умного сына на свете, семья сына требовала заботы.

— Гражданка, — сказал Ленин, — вы не будете так любезны подойти к нам поближе?

Мария Дмитриевна осторожно сделала два шага в его сторону и остановилась.

Интуиция подсказывала ей — остерегайся этого невзрачного мужичка, который не снимает кепки в помещении.

— Вы сможете продемонстрировать действие электрического гипноза на этой гражданке? — обратился Ленин к Миллеру-Мельнику.

— Только попытайся! — предупредила Миллера-Мельника баронесса. — Я поговорю с Троцким, и вашей ноги здесь не будет.

— Знаю, — поспешил с ответом оробевший Мельник-Миллер. Мы все знаем.

И в самом деле, в квартире все знали о подвиге Марии Дмитриевны, которая возвратила сыну блудного отца.

— Я жду, — сказал Ленин, — И теряю терпение.

— Вот на нем и пробуй свой гипноз, — сказала баронесса.

— А как же он тогда увидит его действие? — спросил Миллер-Мельник.

— Ты ему потом расскажешь.

— Прекратите пустую болтовню, — рассердился Ленин. — Иначе я сейчас уйду, и вы не получите никаких, повторяю — никаких средств на продолжение опытов. Более того, я, голубчик, позабочусь, чтобы ваши опыты перешли к другому, более лояльному ученому.

— Вот видишь, — сказала баронесса.

Миллер-Мельник и на самом деле испугался Ленина и не нашел ничего лучше, как послушаться баронессу. Он ее вообще всегда слушался.

Мельник-Миллер опустил сизый рубильник на щите за спиной и, не отпуская его, вытянул вперед худющую руку с растопыренными костлявыми пальцами.

И вдруг из кончиков пальцев веером вылетели синие молнии, которые устремились к Ленину. Тот не успел отскочить, и одна из молний поразила его в щеку.

Схватившись за щеку, Ленин зажмурился и покачнулся.

— Гриша! воскликнула баронесса. — Что вы наделали!

— Вы же сами просили, — удивился Мельник-Миллер.

Ленин медленно, стараясь удержаться за угол стола и чуть его не опрокинув, опустился на пол.

Он сидел, запрокинув голову, и блаженная улыбка заставила по-кошачьи шевелиться его усики.

— И что вы намерены делать? — спросила баронесса.

— Он не умрет, — ответил Мельник-Миллер. — Он обо всем забудет.

— Надо помочь ему уйти, — сказала баронесса.

Она крикнула вдоль коридора:

— Лидочка! Поспешите на помощь нашему бестолковому гению. Он загипнотизировал своего гостя.

— Это не гость, он сам пришел!

Лидочка уже бежала по коридору.

— Ой! — воскликнула она. — Это же Ленин!

— Тогда тем более нам надо как можно скорее от него избавиться. Берите его под руку с той стороны, а я с этой! Гриша, откройте входную дверь. Надеюсь, что там нет гвардейцев с красными пушками.

Гвардейцев не было, потому что шофер Гирс не беспокоился, С Ильичом сегодня ничего не должно было случиться.

И потому он крайне удивился, увидев, как из подъезда две женщины — старая и молоденькая — выводят под руки спящего Ильича.

— Что с ним?

— Ровным счетом ничего страшного, — сказала Мария Дмитриевна. — Наверное, солнечный удар.

Гирс посмотрел на небо. Со стороны Кремля быстро надвигалась сизая грозовая туча, и в ней проскакивали молнии. Гром грохотал непрерывно, словно отдаленный водопад.

Гирс посадил Ильича на заднее сиденье, и тот сразу завалился набок, свернувшись калачиком.

— Может, кто-то из вас поедет со мной? — сказал он без уверенности.

— Ничего страшного, — повторила баронесса Врангель.

Они с Лидочкой смотрели вслед осторожно катившему прочь автомобилю.

— Ох и доиграется наш Гриша со своими опытами, — сказала Мария Дмитриевна. — И без того к нашей квартире повышенное внимание. Одна я с моими сыновьями-генералами чего стою! А тут еще электрический гипноз.

Вечером зашел на чай паи Теодор.

Лидочка рассказала ему о происшествии с вождем, и Теодор заволновался:

— Чего же ты молчала! Судя по всему, изобретение вашего Мельника-Миллера произошло куда раньше, чем дозволено логикой науки. А это чревато отклонением в истории. Как бы здесь, рядом с вами, не зародился ложный вариант. Ложный вариант, ложный рукав, ложное русло реки Хронос.

Не допив чай, пан Теодор пошел знакомиться с Гришей.

Он просидел у ученого больше часа и вышел оттуда убежденный в том, что очередное нарушение может возникнуть именно в захламленной комнате Мельника-Миллера.

— Время, когда одинокий гений мог потрясти мир, завершается, — сказал он, прощаясь с Берестовыми. — Изобретение Гриши ужасно, сила его гения бесконтрольна.

Он сам этого не сознает. Не спускайте с него глаз.

Лидочке было трудно увидеть угрозу человечеству в чудаковатом человеке с его котятками и мышками, скорее надоедливыми и докучливыми, чем опасными.

— Если бы он выводил гигантов, — возразил Андрей, — мы бы с тобой встревожились.

— Именно так, — согласился Теодор. — Гигантская крыса пожирает жителей Петрограда! Это фантастический роман. Но для гигантской крысы ни у него, ни у его коллег еще не доросли возможности. Тогда как крыса, уменьшенная в сто раз, не менее страшна.

— Почему же? — спросила Лидочка.

— Знаешь, что мне сказал этот чудак? — произнес пан Теодор. — Он сказал, что мечтает уменьшить в сто раз человека. Но не берется за этот опыт, пока не отыщет надежных иностранных химикалиев и точных приборов. Он должен отработать технологию на простых организмах, А потом возьмется за людей.

— Это уже сказка.

— А это сказка? — Пан Теодор вытащил из кармана маленькую стеклянную баночку, завязанную марлей. В ней сидела мышка размером с ноготь и глазела на людей. — Мне пришлось ее украсть. Надеюсь, он не пересчитывает перед сном своих монстров.

— Они у него то и дело убегают, — сказала Лидочка.

— И может, даже размножаются, — сказал Теодор.

Кстати, — заметила Лидочка, — а он умеет гипнотизировать. Электричеством. Он загипнотизировал самого Председателя Совнаркома.

— Этого еще не хватало! — воскликнул пан Теодор. — А ну рассказывай по порядку...

###### \* \* \*

— Вся эта русская революция, — говорил пан Теодор, — гигантская флюктуация, изгиб истории, который разрушит последовательность цивилизаций, но флюктуация слишком велика, чтобы мы могли ее исправить, к тому же силой своего притяжения она рождает постоянно новые уродливые парадоксы, ответвления от кошмара, рождающие фарс.

— Вернее всего, история с господином Мельником-Миллером не более как фарс, на который нам не следует обращать внимания.

Но после беседы с Гришей Теодор исчез на несколько дней, как говорил, побывал в Пензе, Самаре и даже Челябинске, там, где восстали части чехословацкого корпуса, которых везли поездами на Дальний Восток.

Первоначально он должен был проследовать дальше, к Владивостоку, но после совета со своими товарищами, с неизвестными Лидочке и Андрею, но реальными и могущественными бессмертными хранителями вечности, он срочно возвратился в Москву, потому что должен был наблюдать за Миллером-Мельником.

Он встретился с Лидочкой на берегу канала, чтобы его не видели в квартире.

— Это фарс. И мы признали, что это фарс, но он может погубить всю Землю, если случится самое опасное — если изобретение вашего Гриши изменит судьбу России.

— Как? — спросила Лидочка.

С утра была гроза, но она не принесла прохлады, воздух был влажным и тяжелым, даже плечи уставали от его давления.

— Лучше всего, как предлагают некоторые из моих друзей, сейчас же, пока не поздно, сжечь дом.

— А мы? — удивилась Лидочка.

— Может, не сжечь, может, отравить газом, может убить Миллера. Но мы не имеем права убивать.

— И никогда не убиваете?

— Очень редко, — ответил паи Теодор. Он смотрел прямо в глаза Лидочке, а она не могла, никогда не могла увидеть блеска его глаз в глубоких глазницах под густыми черными с проседью бровями. Вместо глаз могли быть просто бездонные ямы.

Пан Теодор ждал, скажет ли что-нибудь еще Лидочка, и когда не дождался то, продолжал:

— Удивительно то, что в Рижском политехническом институте никто не слышал о Миллере-Мельнике и его опытах по уменьшению животных. Наши люди обследовали все частные клиники и лаборатории, искали чудаков, которые пожелали вложить свои немалые средства в это дикое предприятие. Нет! Мы просмотрели все адресные книги Риги и других латышских губерний и городов. Безрезультатно! Такого человека в Латвии не было. Ни в Латгалии, ни в Курляндии.

— Он сказал неправду? Он обманывал вас?

— Он не похож на лжеца. Но чудак он или хитрец? А знаешь ли ты, какова стоимость приборов, которыми набита комната в той квартире? Это сотни тысяч рублей, причем многие из приборов сделанные специально для опытов Мельника-Миллера, просто неизвестны современной науке.

— Он въехал сюда раньше, чем Мария Дмитриевна.

— Кто-то перевез все его добро и покупает химические реактивы, еду. Кто-то, в конце концов, добыл ему эту комнату в центре Москвы и до поры до времени скрывал ее от бдительных очей ВЧК — А потом перестал скрывать? — сказала Лидочка.

Вороны собирались в гигантские крикливые стаи и двигались к Кремлю. Солнце на несколько секунд пробилось сквозь тучи и облило Москву каким-то искусственным, словно электрическим, светом.

— Значит, кому-то нужно, чтобы о Миллере-Мельнике узнали в Кремле, — произнес паи Теодор.

— Кому это может быть нужно? — удивилась Лидочка.

— Именно то, что такое решение лежит за пределами здравого смысла, вызывает в нас уверенность, что мы знаем, кто это.

— Кто же?

— Ты сейчас думаешь о том, почему Андрей задерживается в университете, ты беспокоишься, потому что опасно ходить по Москве интеллигентному молодому человеку. Ты с трудом слушаешь меня. Так что давай перенесем разговор на следующий раз. Он слишком серьезен, чтобы говорить между делом.

— Только скажите, кто этот человек, — сказала Лидочка.

— Я не стал бы называть его человеком...

— А вас можно так называть?

— Если ты, Лидочка, человек, то и я человек, и Сергей Серафимович.

— Так кто же он?

— Если на свете есть добрые силы, а мне хотелось бы считать себя принадлежащим к их числу, то, значит, нам должны противостоять силы зла.

— Я читала, кажется, это манихейство? Борьба черного и белого, бога и дьявола?

— Начитанный ребенок — улыбнулись тонкие губы Теодора. — Принцип борьбы добра со злом, минуса с плюсом, черного и белого, жизни и смерти, огня и воды... Ты видишь, я сравниваю несравнимое. Ведь зло, даже абсолютное зло, является таковым только с моей точки зрения, и чем выше цель, тем труднее отыскать критерии. Ни один негодяй не считает себя негодяем в этом роковая ошибка начинающих писателей, которые заставляют своих мерзавцев бить себя в грудь с криком «Виноватые мы!».

— Значит, дьявол — не обязательно зло.

— Он — зло лишь с точки зрения доброго христианина или мусульманина. Любой сатанист будет уверять тебя в обратном. Его зло — попытка устроить добрый и справедливый мир по своим законам... А мы их признавать не желаем.

Лидочке не хотелось соглашаться с паном Теодором. Но она боялась, что у того есть веские доказательства своей правоты относительности добра и зла.

— Представьте себе, — сказала она, — что к власти в России пришел вождь погромщиков, какой-нибудь Пуришкевич или Шульгин. И он начал проводить в жизнь свою политическую программу — выселять, а то и истреблять евреев...

— Есть выражение, — перебил ее Теодор, — волки — это санитары леса. Волк благородно истребляет поганую часть фауны — больных и слабых, сохраняя чистоту вида. Вот вам и оправдание мя Пуришкевича-практика. Но я надеюсь, что двадцатый век ничего подобного не увидит.

— А что он увидит?

— Не знаю.

— Зачем тогда вы нужны?

— Чтобы людям не стало хуже. Чтобы они не погибли, и не прервалась цепь времен.

— А он... или они — противостоит вам?

— Очевидно, — согласился Теодор.

И разговор так и остался неоконченным.

По странной случайности за беседой Лидочка и Теодор не увидели, как из подъезда дома на Болотной вышел Миллер-Мельник, в плаще и шляпе, надвинутой на уши, хоть день был жарким. Следом за ним шагал незаметный человек. Незаметный настолько, что даже родная мать забывала ставить перед ним тарелку с супом. Они повернули за угол, где у начала Каменного моста их ждала обычная извозчичья пролетка.

## Глава 5

30 августа 1918 г.

Через какую-то из своих партийных приятельниц Фанни сняла в Подлипках, в двадцати верстах от Москвы, сарайчик с маленьким окошком под односкатной тесовой крышей. Пол в сарайчике был земляной. Одну стену занимали полки с пустыми пыльными бутылками и банками, а еще там умещались деревянные, к счастью широкие нары, покрытые ватным одеялом, стол о трех ножках и два стула.

Лето стояло жаркое, грозовое, порой налетал ливень, даже с градом. Тогда наступало временное облегчение от духоты.

Первые недели они жили мирно, дружно, хоть и в бедности.

На участке еще стоял большой бревенчатый седой дом, поделенный на комнатки фанерными перегородками и занавесками. Жильцы там были тоже временные, беженцы с юга или, напротив, беглецы на юг, которые ждали там оказии.

Когда первый страх Коли, который поверил Фанни, что чекисты наверняка захотят от него избавиться не только как от убийцы, но и как от ненужного и опасного свидетеля, прошел и Коля понял, что тут, в сарайчике, который прятался за кустами малины и крапивой в рост человека и был отделен от тихой улички заросшим сорняками участком, где кишели крикливые детишки, его никто не отыщет, он стал планировать бегство, Лучше всего, полагал он, будет убежать в Симферополь, где есть дом и живет сестра.

Он обсуждал бегство с Фанни, они оба понимали, что для этого нужны хоть какие-нибудь деньги, а достать их было неоткуда. К сожалению, единственного влиятельного и надежного друга — Мстиславского — большевики арестовали в Большом театре, и когда Фанни поехала в город, она обнаружила, что в квартире члена ЦК партии левых эсеров живут другие люди. К счастью, будучи опытной террористкой, Фанни в квартиру не пошла, а расспросила соседей. От бабушек на дворе она узнала, что в квартире поселили каких-то переодетых чекистов, и она должны вылавливать визитеров.

На обратном пути Фанни продала кожаную куртку, которую ей выдали еще в мае в распределителе для политкаторжан. Куртка была почти новая, хорошая, английская, на Сухаревке за нее дали двести рублей, хотя она стоила все шестьсот.

Фанни купила себе там же новый лифчик, потому что старый был застиран и расползался по швам, а на сто рублей набрала всяких продуктов, и вечером они впервые за две недели по-настоящему наелись.

Коля с каждым днем все яснее понимал, что в Симферополь с Фанни ехать — безумие.

Ничего себе — парочка. Эсерка, которую наверняка ищут, и убийца посла, которого хотят расстрелять. Один он смог бы отыскать себе тихое место на южном берегу, где его не знают, и затаиться, пока о нем не забудут. Да и власть, вернее всего, скоро изменится.

От этого подспудно и пока еще не сильно начало назревать в Коле раздражение.

Против жизни.

Завтра оно станет раздражением против Фанни.

Самым счастливым днем их любви был не первый день и даже не второй, Сперва должен был пропасть страх. Страх Коли перед арестом и страх Фанни потерять возлюбленного, потому что она не умеет делать того, что делают в постели настоящие любовницы.

Конечно, она так и не научилась особенностям любви, но она поняла, что Коле с ней хорошо, что он не притворяется, когда шепчет, что она — первая в его жизни женщина, которая дарит ему наслаждение.

На смену первым страхам у Фанни возникла боязнь, что Коля ее бросит, потому что она такая бедная, так плохо одевается. Нельзя же красивому мужчине любить женщину, у которой лишь две пары панталон и один лифчик, застиранные до потери цвета.

Она старалась оттянуть момент близости до темноты, но Коле, наоборот, хотелось обладать ею днем, при свете, заглядывать ей в глаза, чтобы читать в них страсть.

Им еще было интересно друг с другом. Для Коли в Фанни была тайна опасной жизни на краю обрыва, жизни, всегда сопровождаемой насилием и риском смерти. Фанни так хотелось теперь забыть о той жизни, и ею владело стремление к несбыточному счастью, ну почему ей нельзя жить с Колей в небольшом доме, чтобы он занимался наукой, а она родила бы ему двух, трех детей. Когда пойдут дети, он ее полюбит по-настоящему, не как любовницу, которую всегда можно бросить, а как спутницу жизни, жену хозяйку дома.

Мечтая об этом, вернее, позволяя себе приблизиться к этой мечте, Фанни отлично понимала, что ничего подобного она от жизни не получит. И Коля — лишь сон, счастливый сон, который завершится тоскливым пробуждением на нарах или в грязной избушке.

Коля же не спешил заглядывать в будущее, к тому же он никак не смог бы разделить мечту Фанни.

Фанни не кичилась своим жизненным опытом, приключениями профессиональной революционерки, террористки, Ей было куда интереснее рассказывать о забавных или любопытных событиях в ее жизни, которая для постороннего казалась бы авантюрной и насыщенной событиями, а ей самой казалась быстро промелькнувшей и даже не очень интересной повестью, схожей с биографией цирковой артистки — гостиницы, гостиницы, сцены, манежи, свист чаще, чем аплодисменты, редкие удачи и трагические срывы, когда твой партнер падает с трапеции и, матерясь от боли, умирает у тебя на руках.

Фанни понимала, что Коля рассказывает ей далеко не все. Иначе история с тем, что ему поручили убить германского посла, просто так, случайно ткнув пальцев в первого встречного, была бы мистической и фантастичной. И хоть революция знает немало нелогичных и странных взлетов и падений, Фанни было трудно поверить в то, что молодой помощник Островской, по ее протекции попавший на мелкую должность в Чрезвычайке, вдруг удостоится такого доверия самого Дзержинского. Сам Коля объяснял это, как ему казалось, правдиво. А именно случаем на пожаре, когда Коля показал свое умение метко стрелять. А также приятельством с Яшей Блюмкиным, действительным исполнителем акта.

Фанни было трудно уяснить истинные причины выбора убийц Дзержинским, потому что, несмотря на близость и даже союз эсеров и большевиков, основной принцип их отношения к человеку был диаметрально противоположен.

Левые эсеры были романтиками, пережитком карбонариев, крайними индивидуалистами.

Их жертвы были личными жертвами, а судьба попавшего в беду товарища затрагивала всю ячейку, если не партию. Это был трагический (а исторически порой и трагикомический) союз обреченных на смерть нигилистов. Перегоревшие, устремленные к нормальной политической деятельности товарищи перетекали к правым эсерам. Идеал левого эсера — отрицание! Уничтожение произвола, угнетения, рабства. Они и с большевиками не могли ужиться, ведь те вместо угнетения царского предлагали собственное угнетение.

Большевики не были нигилистами и хоть пели «разрушим до основанья», главное видели в том, чтобы «свой новый мир построить». Добиться власти и ни при каких обстоятельствах ее не выпустить, никому не отдать. В отличие от карбонариев, исторически обреченных уступить власть соперникам, их орден отрицал индивидуализм. Тогда, в начале своего пути к власти, они еще не сформулировали своего отношения к членам своей партии (существа за пределами ее не стоили индивидуального внимания и участия), но с самого начала действовали на основе термина, выработанного позже, Люди — это винтики в механизме государства. А винтиков много, они, самое главное, взаимозаменяемые. И через несколько лет Сталин выразит это в формуле «У нас незаменимых нет». Большевики стремились создать государство муравьев. Основная масса жителей муравейника были рабами (хотя именовались хозяевами муравейника), меньшая, привилегированная часть именовались солдатами, а наверху сидели матки, короли и королевы этой кучи. И на самом деле идеалом муравейника было накормить, обслужить, удовлетворить, охранять этих маток.

В таком муравейнике солдат или рабочий сам по себе ничего не значил, а значение имела лишь его функция. Пока он ее выполнял, он имел право на жизнь и относительное благополучие. Выполнив функцию или потерян нужность ля муравейника, он подлежал ликвидации или забвению. Поэтому для Дзержинского Коля (в меньшей степени Блюмкин, который занимал более высокое положение в муравьиной иерархии) был лишь исполнителем на раз. Солдат партии, который умел стрелять, не имел связей в Москве и потому, выполнив функцию, мог исчезнуть, не оставив следа.

Никто не хватится Николая Андреева, настоящее имя которого известно лишь нескольким лицам в Чрезвычайной Комиссии, а все детали события, все нити его находятся в руках самого Феликса Эдмундовича. Так что Коля был мавром, который сделал свое дело и может уходить. Более того, Блюмкин, как гениально предусмотрел Дзержинский, на самом деле рук своих кровью немецкого посла не обагрил, и навсегда останется тайной, как мог Блюмкин выпустить восемь патронов в немцев с двух Метров, и ни один из них не достиг цели, И был ли в его задании пункт — попасть в посла. Или с самого начала эта честь принадлежала безликому Николаю Андрееву, которого толком никто и не разглядел.

Так что желание Фанни Каплан было инстинктивно и рассудочно верным. Она ошибалась лишь в одном — она опасалась, что Колю арестуют, чтобы судить за убийство Мирбаха, а его намерены были поймать, чтобы незаметно уничтожить.

Фанни подозревала, но не знала наверняка, что Колю ищут агенты Чрезвычайки.

Его на самом деле искали — и в Москве, и даже в Крыму. Так что если бы любовники убежали в Крым, еще находившийся под властью Скоропадского и его немецких союзников, то агенты Дзержинского подстерегли бы там и убили Колю.

Но искали Колю только месяц.

Может быть, месяц с небольшим.

До тех пор, пока Дзержинскому не доложил агент ВЧК по Московской губернии, что есть основания полагать, что разыскиваемый по подозрению в убийстве немецкого посла Андреев Николай, бывший сотрудник ВЧК и наймит партии левых эсеров, прячется со своей любовницей, известной боевичкой той же партии, в поселке Подлипки. Дзержинский с интересом прочел донесение и готов был уже написать по диагонали в левом верхнем углу свою резолюцию: «Задержать» либо «Ликвидировать».

Но тут занесенная для удара рука с карандашом замерла.

Потому что за последний месяц ситуация в стране изменилась.

###### \* \* \*

— У нас деньги еще остались? — спросил поздно вечером двенадцатого августа Коля у Фанни.

— Двадцать рублей, — ответила Фанни.

— Как раз на молоко, — сказал Коля.

— Фунт черного хлеба, молоко.

— Пачку папирос, — сказал Коля.

Приходилось экономить на куреве. Курили они оба, но в последние дни Фанни старалась совсем не курить.

Она похудела, глаза стали еще больше, скулы обозначились резче, волосы отросли, и Коля, запуская в них пальцы — и возбуждаясь от их неподатливости, говорил:

— Ты черная львица!

— У львиц не бывает грив.

— Ты единственная гривастая львица.

— У меня опять гвоздь в ботинке вылез, — сказала Фанни.

— Я завтра забью.

Они лежали, обнявшись. Ночь выдалась холодная, дождливая, и агенту, сидевшему в кустах за сарайчиком и обязанному записывать или хотя бы запоминать, о чем говорят беглецы, было зябко даже под клеенчатым плащом.

Губы Фанни, полные, мягкие и нежные, ласкали щеки, лоб, веки Коли.

— Черная львица, — повторял он.

— Иди ко мне, мой любимый...

Потом он долго не спал. И пока не заснул, мучился мыслями о безысходности их счастья... Фанни тоже не спала, она боялась пошевелиться, потому что в его дыхании, движениях мышц, в нежелании коснуться ее она видела, чувствовала, как истончается и тает, не выдерживая времени, их неладная любовь.

А московский обыватель, агент национализированного пароходства «Самолет Никита Петрович Окунев, записывал ночью в дневнике, который хранил в примитивном тайнике за шкафом, следующее:

30 июля/12 августа. «В советских „Известиях“ напечатано:

«Казань занята незначительными отрядами чехословаков. Она окружена железным кольцом советских войск, и ее постигает участь Ярославля...» Как береза «стоит и шумит».

Вышел приказ всем бывшим офицерам до 60-летнего возраста явиться на сборный пункт. И вот все эти тысячи явились и попали как бы в ловушку. Прошло четыре дня, а выпущены еще немногие... Никому не известно, что это: регистраторство, заложничество, сыск или просто хамство рабочей диктатуры?

Надо бы разобраться вот в чем: что Ленин и Троцкий сделались так обаятельны для большинства российской бедноты и незажиточности благодаря своим исключительным дарованиям в виде красноречия, умения сочинять декреты, воззвания, приказы и страшной энергии или только потому, что проводят в жизнь те идеи, которые наиболее приятны для пролетариата?

В «Известиях» уж очень хлопочут о мировой революции, а посему крупными буквами печатают: «В Индии по всей стране восстания и массовые вооруженные выступления.

Но уж очень далеко от нас эта Индия-то. Ведь мы не знаем, что делается сейчас в Казани, а не только за тридевять земель.

На днях видел на Мясницкой Шаляпина. Похудел, но едет на извозчике. Да и с чего ему худеть и от чего не на автомобиле ездить? Он теперь получает колоссальнейший гонорар, которого и в царские дни не получал. За участие в последних 10 спектаклях в «Эрмитаже» ему уплатили 160.00 рублей.

Говорят, к Троцкому приехал с Украины, спасаясь от немцев, его отец Бронштейн, который арендовал десять тысяч десятин, обрабатывал землю трудом батраков и считался миллионером, а сына хотел видеть механиком. Жили бы счастливо. Мне видится в генерале Лейбе Троцком что-то от Хлестакова. Не думаю, что он долго продержится у власти, но дел натворить успеет.

Тяготы жизненные с каждым днем становятся все увесистей. Черный хлеб покупаем по 10 р. за фунт, яйцо 1.50 к. шт., молоко — кружка 2 р. 50 к., арбузов, конечно, совсем нет — отрезана «арбузная» страна от Москвы. Спирт продают по 160 руб. за бут. Папиросы самые дешевые 10 к. шт.

Луначарский то и дело устраивает религиозные диспуты.

###### \* \* \*

Давид Леонтьевич посетил Марию Дмитриевну. С сыном отношения начали портиться, революцию старик не одобрял, поссорился с зятем — партийная кличка мужа дочери Ольги, так похожей на Надю Крупскую, была Каменева.

Давид Леонтьевич устроился работать бухгалтером на мельницу.

Господин Окунев не знал, что имение Давида Леонтьевича разграбили красноармейцы еще в конце октября прошлого года, а старика выгнали из дома. Иначе бы в Москву он не поехал.

Он сказал Марии Дмитриевне:

— Отцы трудятся, зарабатывают на старость, а дети делают революцию и оставляют их ни с чем, Мария Дмитриевна беспокоилась о сыновьях, Они были на юге, и если там образуется сопротивление большевикам, то Врангели, конечно же, ринутся в бой.

И Давид, и Мария Дмитриевна полагали, что с детьми им повезло, дети умные, образованные, но в это смутное время они избрали для себя самые опасные дорожки.

Давид Леонтьевич приносил с мельницы хорошую муку, Мария Дмитриевна пекла пышки, пшеничные, на дрожжах. Чай дома не переводился. Миллер-Мельник притащил откуда-то пол-литровую банку сахарина в порошке. Так что недостатка жители квартиры на Болотной ни в чем не испытывали.

Когда живешь рядом с гнездом птицы Рокк, то его размеров толком не ощущаешь. Вот и жильцы квартиры, несмотря на предупреждения папа Теодора, серьезно к уменьшительным опытам Гриши не могли относиться. И его зверюшки становились мельче со дня на день, хотя Миллер-Мельник обещал вот-вот изобрести средство, чтобы остановить их рост и даже обратить его обратно, то есть в сторону постепенного увеличения.

Порой к Грише приходили люди, но никто не видел и не рассматривал их. Тем более что являлись они обычно, в темноте, а коридор квартиры освещался одной маленькой, в пятнадцать свечей, лампочкой.

В минуты откровенности, разомлев от чая или плюшек, Гриша начинал рассуждать, что главная его цель раздобыть для опытов человеков. Тогда он исполнит главную мечту человечества — всех жителей Земли он сможет накормить и разместить. Ведь если уменьшить человека до размеров муравья, тот будет довольствоваться пшеничным зернышком в неделю...

Разумеется, рассуждения Миллера-Мельника принимались соседями с должной долей веселья, И Лидочка даже предложила как-то себя как кандидатуру на уменьшение.

— Почему? — совершенно серьезно спросил Гриша, окинув взглядом ее тонкую фигуру.

— Тогда Андрюша будет носить меня на руках, — сказала она, чем развеселила Давида Леонтьевича.

— Нет, — сказал, поразмыслив, Гриша. — Надо будет подыскать кого-нибудь попроще.

###### \* \* \*

Красин предложил привлечь Бухарина, яркого левого коммуниста, способного журналиста и спорщика.

— Он растрезвонит о наших намерениях по всей Москве. Хуже Радека, — ответил Дзержинский.

— Я и не предлагал кандидатуру Радека, — возразил Красин.

На Пятакове сошлись сразу.

В заговор решено было посвятить лишь самую необходимую малость.

— Как говорят немцы, — напомнил Красин, — что знают двое — знает и свинья.

Дзержинский протянул Красину листок бумаги с текстом, напечатанном на машинке.

— Перехват письма из немецкого посольства, — сказал Дзержинский. — Пишет советник Рицлер. О нас.

За последние две недели положение резко обострилось. На нас надвигается голод, его пытаются задушить террором. Большевистский кулак громит всех подряд. Людей спокойно расстреливают сотнями... материальные ресурсы большевиков на пределе.

Запасы горючего для машин иссякают, даже на латышских солдат, сидящих на грузовиках, больше нельзя полагаться — не говоря уже о рабочих и крестьянах.

Большевики страшно нервничают, вероятно, чувствуя приближение конца, и поэтому крысы начинают заблаговременно покидать тонущий корабль... Карахан засунул оригинал Брестского договора в свой письменный стол. Он собирается захватить его с собой в Америку и там продать, заработав огромные деньги на подписи нашего императора...

— Дальше, — сказал Дзержинский, — тут приписка Траутмана:

Красин прочел:

В ближайшие месяцы должна вспыхнуть внутриполитическая борьба. Она может привести к падению большевиков. Один или два большевистских руководителя уже достигли определенной степени отчаяния относительно собственной судьбы.

— Ничего нового. — Красин усмехнулся и почесал указательным пальцем солидную буржуазную бородку, — Троцкий на последнем заседании ВЦИК, где вы, Феликс Эдмундович, не были, сказал, что мы уже фактически покойники, а дело теперь за гробовщиком.

— Мне доложили, — сказал Дзержинский. — Мы теряем время.

— Вы знаете, что сказал Ильич, когда Троцкий спросил его, что делать, если немцы будут наступать и дальше?

— Отступим дальше на восток, создадим Урало-Кузнецкую республику, вывезем туда революционную часть питерского и московского пролетариата. До Камчатки дойдем, но будем держаться.

— Ему важнее стать во главе Камчатской республики, чем упустить власть в центре, — сказал Красин.

— Он обратил против республики крестьянство, — заметил Дзержинский. — Германский посол отозван в Берлин?

— Москву покинули турки и болгары. Их дела никуда не годятся. Понимание без открытия истинных намерений было достаточным для опытных в сокрытиях коллег.

И ведя разговор между строк, Дзержинский и Красин должны были наметить конкретные действия.

— Троцкий с нами, — сказал Дзержинский.

— Но никогда не пойдет в открытый бой со стариком.

— Зато когда мы все сделаем, он будет лояльным. Его мечта — мировая революция.

Его лояльность старику подвергается страшному испытанию.

— Человек, который никогда и нигде не станет первым, — заметил Дзержинский.

— Тогда мы придумаем него троцкизм. И в нем он будет первым.

— Мы не переиграем в тактике, — сказал Красин. — Он тактический гений. Нужно действие, действие, а не голосование.

— Не гений тактики, а гений интриги, — поправил Красина Дзержинский.

— Он лишен чести.

— Им правит целесообразность.

— Что бы ни случилось, — предупредил Красин, — события не должны быть связаны с нами, с нашими именами.

— Есть враги и помимо нас.

— Мы не враги, — сказал Красин. — Но членство в партии в Московской организации за последние три месяца упало с пятидесяти до восемнадцати тысяч.

— Знаю.

Они оба были примерно одинаково информированы и в обмене сведениями не просвещали, а испытывали друг друга.

— Наша цель — спасти партию от безумной авантюристической политики некоторых ее лидеров, — сказал Красин.

— Это может быть несчастный случай.

— Ваше дело, Феликс Эдмундович, организовывать случаи. Но попрошу без жестокости, столь вам свойственной.

— Если вы решили заняться революцией, — заметил Дзержинский, — отложите в сторону гуманизм.

— Тогда в следующий раз мы займемся рассмотрением кандидатур на посты наркомов, — сказал Красин. — А вы расскажете нам, что придумали.

— Лучше будет, если я вам этого не расскажу. Тогда вас, в случае чего, не будет мучить совесть. Вы же говорили о гуманизме.

Красин чуть поморщился.

Но выхода не было — партия должна была избавиться от лидера, который вел ее к гибели и к гибели принципов идей социализма. Сделать это демократическим путем не представлялось возможным. Он их переиграет, как переигрывал уже не раз.

Именно об этой беседе Дзержинский думал в тот момент, когда стал перебирать бумаги из утренней папки и натолкнулся на донесение агента о Коле и Фанни.

— Голубки, — произнес Феликс Эдмундович вслух. — Голубки. И что он в ней нашел, наш вольный стрелок?

###### \* \* \*

Пятнадцатого августа по новому стилю Фанни снова уехала на поезде в Москву, без билета, потому что денег не было и на билет. Коля страдал без курева. Он стал раздражителен и второй день не желал разговаривать с Фанни из-за какого-то пустякового повода. Он был голоден — разве наешься половиной ситника? Но главное — мучился из-за отсутствия курева до безумия, до звона в ушах, до ненависти ко всему миру, начиная с Фанни, которая затащила его в эту дыру. Уж лучше бы он покаялся и сдался. Они бы его пощадили. Он же им еще нужен!

Когда Фанни ушла, поцеловав его на прощание, он отклонил голову, чтобы ее губы не коснулись его виска.

— Прости, милый, — сказала Фанни. Она понимала, что виновата, и в то же время в ней тоже гнездился гнев — ведь ты не мальчик, ты мужчина, ты мой мужчина. Но она сама испугалась, почувствовав в себе ростки гнева.

Она быстро ушла, и Коля, глядя ей вслед из-за приоткрытой двери, подумал, что балахон, который она нацепила, может погубить изящество любой женщины. Фанни изящной не назовешь.

И подумал: надо уходить. Пока ее нет. Оставить записку и уходить. Он наймется, найдет себе место, может быть, место грузчика на товарной станции, кочегара — он думал о том, что уйдет, и тогда наступит освобождение. Тогда появится надежда.

Хлопнула калитка.

Заплакал в доме ребенок.

Только бы она не вернулась со станции. Нет, она будет до вечера ходить по проваленным явочным квартирам в поисках своих партийных друзей, а потом вернется без шелкового платка — последней своей ценности, который вчера на всякий случай выстирала в холодной воде.

Коле нечего было собирать.

Он взял свою куртку. Конечно, ее можно было давно бы продать, как Фанни продала свою, но Коля берег ее. Ведь может случиться, что наступят холода, да и вообще человеку нельзя ходить по городу без пиджака или куртки. Ботинки у него были еще приличными. Плохо с сорочками. Правда, Фанни стирала их, занимая хозяйственное мыло у хозяйки дома, но хорошо пока стояла жара — иногда он ходил без рубашки целыми днями. Сейчас, когда чуть похолодало, рубашка нужна.

Когда Коля говорил себе, что намерен устроиться грузчиком и заработать на дорогу в Симферополь, на самом деле он знал — хоть и не думал об этом, — что вернее всего постарается встретиться с. Ниной Островской. По ее взгляду, по первым ее словам он поймет, может ли рассчитывать на прощение. А если она не простит, остается еще один вариант — Берестовы. Берестовы на Болотной площади. В конце концов, он ни в чем перед ними не провинился. И даже имя у него теперь старое — Николай. Беккер, партийный псевдоним — Андреев. И им незачем знать о его подвигах, благо в газетах картинок и портретов не печатают.

Через полчаса после ухода Фанни Коля последовал ее примеру. Он натянул куртку и вышел на тихую дачную улицу.

Он дошел до угла, у поворота на станцию его ждали два человека в куртках, схожих с его курткой. При виде их Колю охватил первобытный до рвоты ужас. Он замер, но не смог побежать назад, потому что знал, что агенты вооружены.

Он не мог и пойти вперед, ноги отказывались нести его навстречу смерти.

Но агенты пошли к нему сами — как будто пожалели немощного.

Он стоял, они приближались и увеличивались, как в синематографе.

Первый, усатый и неторопливый, спросил его, хотя спрашивать было не обязательно.

— Гражданин Андреев? Николай Андреев?

Коля кивнул.

— Следуйте за нами, — сказал второй.

— Разумеется, — согласился Коля. Только не надо их сердит!

И он пошел между ними.

Со стороны они, наверное, казались друзьями, что спешат на поезд.

На деле агенты повели Колю на дорогу, где ждал небольшой грузовичок, крытый фургон, какие использовали в ВЧК для перевозки арестованных.

###### \* \* \*

Дзержинский показал Коле на стул, а сам встал из-за своего стола и стал ходить по кабинету, негромко рассуждая:

— В принципе вы, Беккер, были правы, когда решили сбежать. Вы не возражаете, что я вас называю настоящей фамилией?

Коля кивнул.

Он все еще стоял на эшафоте и не знал, прикажут ли сунуть голову в петлю или отпустят в объятия ревущей толпы, И он знал, что ласковый, даже задушевный тон Председателя еще не значит, что ты спасен или прощен. Дзержинский предпочитал не выдавать своих намерений заранее.

— Впрочем, отказаться от псевдонима разумно. По крайней мере в недрах нашей организации вы не найдете упоминания о сотруднике Николае Андрееве, потому что мы держим у себя лишь проверенных, чистых духом и поступками людей, к каковым Николай Андреев, назовем его государственным преступником, не относится.

Дзержинский сделал паузу, чтобы смысл его слов проник в сознание Коли.

Возможно, Коле следовало бы промолчать, но вопрос вырвался неожиданно для него самого:

— А как же Блюмкин?

— Он — эсер, обманным путем проникший в наши органы, когда там левые эсеры играли важную роль. Ведь мы их по наивности полагали своими союзниками, Блюмкин выполнял приказ ЦК партии эсеров и по поддельным документам проник в немецкое посольство. Наверное, вы, Беккер, слышали?

Вот в этот момент Коля уверовал в то, что его не казнят. Что у Дзержинского есть на него виды. Ведь республике нужны преданные бойцы!

Дзержинский, словно угадав мысли Коли, продолжил:

— Я не могу отнести вас, Беккер, к числу преданных бойцов революции. Скорее всего вы попутчик с авантюрным уклоном. Вы меня боитесь, Вы боитесь за свою жизнь, за которую я бы сейчас и копейки не предложил...

Дзержинский позволил своим тонким губам улыбнуться.

— Наверное, вы боитесь также за жизнь свой любовницы Фанни Ройтман, она же Каплан? Хотя совершено не понимаю, чем она могла вас увлечь? Немолодая, не очень привлекательная профессиональная революционерка, которая даже не знает, что такое настоящее нижнее белье, правда?

Коля непроизвольно кивнул — и этим выдал себя, свои секретные мысли. Дзержинский же сделал вид, что не заметил этого кивка.

— К тому же вы сейчас попали в совершенно безвыходное положение. Будь вы один, попробовали бы убежать на юг, в родные места. А с таким балластом... нет, я вам не завидую. У вас, наверное, даже на папиросы денег нет.

Коля думал, что это — предположение Председателя. На деле же агент ВЧК подслушивал в течение двух дней дневные и даже ночные разговоры возлюбленных, В этом не было сложности — стены сарайчика были тонкими, Так что Дзержинский знал обо всем, что обсуждали Фанни с Колей и о чем спорили.

— Помочь вам могу только я, — сказал наконец Дзержинский. — И я готов помочь, потому что сам как бывший курильщик знаю, как мучительно остаться без табака...

Дзержинский вздохнул и замолчал.

Потом вернулся за свой стол, отпил чая из тонкого стакана в серебряном подстаканнике. Взял с тарелочки бутерброд с сыром и откусил от него под пристальным взглядом Коли, что было тоже оружием в психологической войне, которую Дзержинский не без удовольствия вел с Колей, как кот, который играет с придушенной мышкой.

— Готовы ли вы, Николай, искупить свою вину перед партией, Комиссией и мной лично?

— Как? — спросил Коля.

— Я понимаю, что вы еще не готовы ответить на прямо поставленный вопрос. Я дам вам подумать некоторое время, немного. И при следующей нашей встрече вы не будете задавать мне вопросов, которые таят в себе условия. Мне нужно ваше абсолютное послушание. Причем учтите, что каждый ваш шаг, каждое сказанное вами слово даже под одеялом, немедленно становится мне известно. И в первую очередь я должен быть уверен, что ни слова, ни дуновения ветра не донесется до вашей подруги. У меня есть все основания не доверять ей. А перед вами стоит жизненный выбор — или мы или Фанни. Рассудите, вы умный человек, что ждет вас, если вы изберете Каплан. Идите.

— Куда? — Коля поднялся и остановился в нерешительности.

— Кажется, ваше убежище называется — станция Подлипки, Станционный проезд, владение номер шесть. Сарай... — Потом он неожиданно добавил: — Ильич с Зиновьевым провели чуть ли не месяц в сарае, летом. Ровно год назад. Но они не были любовниками. Ну чего вы стоите?

— Извините, — сказал Коля.

Ему ничего не сказали, не простили и не казнили, а оставили подвешенным к завтрашнему дню. Надо было спросить: «И что потом?» А кот ничего мышке не ответит.

Коля повернулся от двери, сказал:

— До свидания.

Дзержинский кивнул. Он читал бумаги, разложенные на столе, и прихлебывал чай из стакана.

Коля вышел в приемную.

В приемной было пусто. Только средних лет секретарша сидела за ундервудом.

— Товарищ Беккер? — спросила она. — Андреев?

— Да, это я.

Сейчас она велит мне пройти в комендатуру...

— Возьмите конверт, — сказала она. — Товарищ Дзержинский просил меня передать его вам, если вы сюда придете.

Коля покорно взял конверт и не знал, можно ли заглянуть внутрь.

— До свидания, — сказала секретарша. — Чего же вы стоите?

Коля пошел к двери, держа конверт в руке.

И надо же! Через двадцать шагов он встретил в коридоре Яшку Блюмкина. Правда, в черных очках и без бороды.

Коля хотел поздороваться. Но Блюмкин картинно отвернулся.

И только тогда Коля сообразил, что Блюмкин не один. Рядом с ним шла молодая женщина с жестким, даже грубым лицом, блондинка, почти альбинос с белыми ресницами.

Коля прижался к стене, пропуская ее.

Женщина посмотрела на него в упор. У нее был спокойный змеиный взгляд. Коля понял сразу, в одно мгновение, что никогда не забудет этого взгляда.

Он вышел из здания ВЧК беспрепятственно.

Но в конверт заглянул не сразу.

Он спустился к Рождественскому бульвару и там, за монастырем, уселся на лавочку.

Конверт был заклеен.

В конверте лежало сто рублей. На папиросы.

###### \* \* \*

Феликс Эдмундович недолго оставался в своем кабинете.

Он приказал секретарше вызвать автомобиль.

Автомобиль отвез его к небольшому особняку на Пречистенском бульваре. Уже две недели как Миллера-Мельника перевезли в этот особняк и выставили у небольшой дверцы в каменном заборе охрану.

Недавно из особняка выгнали анархистов, которые, в свою очередь, освободили его от хозяев.

Охрану Дзержинский назначил особняку круглосуточную, из латышей.

Никаких пропусков, никаких исключений, доступ в особняк, кроме лаборанта, пленного венгра, который по-русски так и не выучился, но объяснялся с Миллером-Мельником по-немецки, и самого Дзержинского, был запрещен для всех.

Поэтому латыши там были те, кто знал Председателя в лицо.

Дзержинский был удивлен, когда, соскочив с автомобиля, подошел к калитке и тут охранник остановил его.

— Что это означает? спросил Феликс Эдмундович.

— Я вас уже пропускал, — ответил часовой.

Шофер Дзержинского, верный Марек, заглушил двигатель и подошел к ним.

Латыш не открывал калитку.

— Ты не узнаешь, что ли? — спросил он.

— Извините, я узнаю, но товарищ Дзержинский уже там.

— Но ты машину знаешь? спросил Марек. — Ты нашу машину, наше авто знаешь? Такого второго в Москве нет.

Машина была новая, малиновая, бенц», такого больше в кремлевской конюшне не водилось.

— Вот мой пропуск, — сказал Дзержинский.

— Тогда я не понимаю, — сказал латыш, но отступил назад и взял под козырек.

— А вот это мы сейчас выясним.

Дзержинский вошел в калитку, за ним последовал Марек, и Дзержинский, не любивший неоправданного риска, не стал его прогонять.

Между калиткой и особняком было метра три — короткая дорожка, выложенная плиткой, с кадками по сторонам, из которых торчали высохшие пальмы. Затем изысканно расписанная трубочным дымом в стиле модерн дверь.

Дзержинский толкнул ее и ступил в сторону.

Марек понял его и быстро шагнул внутрь.

За ним последовал Дзержинский.

Они миновали прихожую.

Затем через открытую дверь вошли в гостиную, частично переделанную в лабораторию.

Получился странный гибрид — мягких кресел, торшеров и лабораторного стола с пробирками и центрифугой.

Золтан — розовый, аккуратный, в изумительно белом халате — отмерял корм в клетку.

— Добрый день, — сказал Дзержинский. — Где Гриша?

— Оу! — ответил Золтан.

И разразился венгерским монологом, из которого Председатель ничего не понял, но ощутил изумление лаборанта.

Поэтому рукой указал Мареку на дверь в бывшую спальню.

— Ах! — произнес немногословный шофер.

Дзержинский не уловил в возгласе страха, а лишь удивление, и последовал за Мареком в следующую комнату.

И тоже удивился На отодвинутой к стене широкой кровати сидел он же, то есть другой Дзержинский, в такой же тщательно выглаженной гимнастерке, брюках со складкой и начищенных ботинках.

При виде гостей он поднялся, не спеша и без следов испуга.

— Простите, сказал он, — но я был вынужден пойти на небольшую проделку, чтобы проникнуть в это помещение.

— Зачем? — спросил Дзержинский, заложив руки за спину.

Марек держал пистолет, готовый выстрелить.

— Мне надо было поговорить с моим учеником и подопечным, которого вы знаете под именем Григория. Я не ошибаюсь — Григория?

— Марек, доставь гражданина Коромыслова в комиссию, — сказал Дзержинский. — Я его допрошу завтра.

— Ну и память! улыбнулся незнакомец Коромыслов улыбкой Дзержинского. — Мы с вами виделись лишь однажды, в девятьсот двенадцатом году, на явочной квартире в Минске. Я прав?

Лицо Коромыслова неуловимым образом изменилось, чуть-чуть, но он уже не был похож на Дзержинского, хотя формально все — и костлявый нос, и узкое лицо со впалыми щеками и даже маленькая бородка, эспаньолка, какими любил украшать себя Шаляпин, изображая Мефистофеля, — все осталось.

— Я полагаю, — сказал Коромыслов, отводя в сторону руку Марека с револьвером жестом ленивым и легким, как отводит руку назойливого поклонника знатная красавица на балу, — что нет смысла задерживать меня, раз я сам решил уйти. Рад был встретиться.

Он наклонил голову.

Дзержинский хотел было возразить, но передумал, промолчал, глядя, как Коромыслов прощается за руку с робеющим Миллером — Мельником.

— Поздравляю тебя с успехами, мой мальчик, — сказал Коромыслов. — Я не обманулся в своих ожиданиях. Но повторяю то, что сказал: может быть, тебе еще рано приниматься за человека. Это рискованно не только в научном аспекте, меня смущают моральные и этические последствия такого эксперимента.

— Но это было решение... — Гриша перевел взгляд на Дзержинского. — Для этого мне выделили средства и новую лабораторию. Вы же знаете...

— Я не останавливаю тебя, — произнес Коромыслов. Мое дело — предупредить вас с покровителем об опасности, которую вы, как свойственно людям, еще не осознаете.

Именно для этого я сюда пришел в таком несколько необычном виде. А знаете, Феликс, вас на улицах узнают и даже разбегаются по подъездам.

Коромыслов неприятно визгливо рассмеялся. Словно смеяться не умел.

Не прощаясь, Коромыслов быстро, походкой Дзержинского, нетерпеливой, спешащей, покинул комнату, простучал каблуками по паркету гостиной, и оставшиеся посмотрели скорее на место, в котором он только что находился, будто не верили собственной памяти.

— Кто он? — спросил наконец Дзержинский.

— Он... это мой старый... наверное, «покровитель» неточное слово, правда?

— Как его имя?

— Вы назвали его Коромысловым, — осторожно уклончиво ответил Гриша.

— Как! Его! Имя?

— Я называл его Учителем.

— Точнее!

— Феликс Эдмундович, я не ваш лакей, И я не намерен отвечать на глупые вопросы.

Гриша говорил медленно и тихо.

Подчиняясь незаметному движению пальцев Дзержинского, шофер Марек вышел из комнаты.

Дзержинский умел владеть собой. Человеку, мало знавшему его, могло показаться, что он смирился, отступил.

— Рассказывайте, Гриша, что у нас нового.

Дзержинский сделал упор на местоимение.

— Я докажу вам, — сказал Гриша. — Хотя Учитель возражает против опытов с людьми.

— Никто ни к чему вас не принуждает, — сказал Дзержинский. — Вы можете немедленно собрать свой скарб и убираться куда пожелаете.

— Это невозможно, — ответил Гриша. Он был серьезен. Он всегда был серьезен, и это опасно, если имеешь дело с гением узкой специализации.

— Почему же? — язвительно заметил Дзержинский.

— С новым оборудованием и расширением объема работ я не смогу вернуться на Болотную, и мне придется прекратить работу.

Он смотрел на Дзержинского, как на малого непонятливого ребенка.

— Коромыслов вас субсидировал? — спросил Дзержинский.

Он надеялся, что Марек смог послать за Коромысловым латыша или сам в крайнем случае пошел за ним. Надо было выяснить, где прячется этот оборотень. Нельзя было допустить, чтобы по Москве разгуливал человек, посмевший принять облик Дзержинского настолько убедительно, что часовой спутал его с оригиналом.

Опасность, исходившая от Коромыслова, усугублялась тем, что Дзержинский не мог отыскать ему полочку, место в системе мироздания. Будто он был человеком из небытия, А значит, врагом.

— Учитель всегда помогал мне, — ответил Гриша. — Вам показать образец один? —

— Да, — сказал Дзержинский. — А где Коромыслов проживает?

— Он говорил, что в Костроме, — сказал Гриша, — но по выговору он москвич.

Заходить в комнату вы не будете, — сказал Гриша. — Чтобы не травмировать образец.

В стене спальни, за шторой, было вырезано круглое окошко.

— С той стороны зеркало, — сообщил Гриша. — Он вас не увидит.

## Вдоль по «Реке Хронос»

За несколько месяцев до смерти Кира Булычева в конце мая или начале июня — состоялась запись телепередачи «Линия жизни» с его участием. Первый раз ее показали через месяц, а второй — изменив сетку канала «Культура» в день его ухода. Игорь Всеволодович в ней просто рассказывал о своей жизни, о чем-то шутил, о чем-то вместе с залом размышлял, но через несколько месяцев, увы, эта видеозапись прозвучала как своеобразное подведение итогов. Среди множества интересных вопросов, заданных писателю, был и такой: «Что из написанного вы сами считаете самым важным, что вам самому больше всего дорого?» Вопрос прозвучал буднично, и Игорь Всеволодович так же буднично, почти не задумываясь, ответил, что есть у него дело если не всей жизни, то по крайней мере последнего десятилетия, но он его, по всей вероятности, не закончит. Он говорил о большом книжном проекте «Река Хронос».

К огромному сожалению читателей, Кир Булычев оказался прав — цикл остался незаконченным, Хотя новые книги, входящие в него, продолжают выходить и после смерти писателя. Игорь Всеволодович не успел увидеть книжного издания романа «дом в Лондоне», вышедшего в издательстве «Омега». Это самый последний по хронологии роман цикла. В архивах Кира Булычева была найдена почти законченная рукопись «Покушения — четвертой части, действие которой происходит в 1918 году...

«Река Хронос — это уникальный литературный проект, в котором нашли воплощение обе творческие стороны Игоря Всеволодовича, обе его главные ипостаси: история и литература. В нем органично соединились самые разные литературные направления: и семейная сага, и классическая фантастика, и альтернативная история, и детектив, и роман о любви, и сатира, и глубокая трагедия. Его главные герои — супруги Андрей и Лидия Берестовы.

Первая книга цикла вышла в 1992 году в издательстве «Московский рабочий». Она сразу же привлекла к себе внимание как нечто неординарное. Неожиданным был сам формат книги — она была огромной, словно старинный фотоальбом. Эту иллюзию укрепляли иллюстрации, сделанные супругой писателя Кирой Алексеевной Сошинской, — они были стилизованы под старинные фотографии и открытки. Притом, что этот фолиант было довольно неудобно читать, он настраивал на очень правильный лад — казалось, что вместе с каждой страницей романа ты переворачиваешь страницу российской истории ХХ века, Под массивной обложкой с золотым тиснением «Река Хронос» вышли первые три книги цикла — «Наследник», «Штурм Ай-Тодора» и «Возвращение из Трапезунда». Действие первой книги происходит в 1913—1914 годах, во второй и третьей — в 1917-м. Юные герои романа — Андрей и Лидочка — встречаются, влюбляются и женятся. При этом они оказываются в самой гуще событий сначала времен реакции и Первой мировой войны, а потом Февральской и Октябрьской революций. Дело в том, что Андрей получает в наследство необычный прибор — он позволяет переноситься вперед по времени, он помогает нырнуть в одном месте реки Хронос, а вынырнуть гораздо ниже по течению. Иногда, выныривая, герои попадают в альтернативные, но при этом нестойкие «ответвления» времени. Так, например, они оказываются в ситуации, когда Россия победила в Первой мировой, взяв штурмом Стамбул-Константинополь, где и был повенчан на царствование малолетний наследник, сын Николая... Однако этот мир распался, едва герои успели его покинуть.

Первые три тома потом с дополнениями были переизданы в «АСТ».

«Сейчас в „АСТ“ вышли первые три книги „Реки Хронос». Это «Наследник», «Штурм Дюльбера» и «Возвращение из Трапезунда», — писал Кир Булычев весной 2000 года. — Эти книги несколько отличаются от первого издания «Хроноса» в «Московском рабочем». Во-первых, вторая книга иначе называется. Раньше она именовалась «Штурм Ай-Тодора». Виновен в этом только я, потому что с опозданием узнал, что во время описываемых событий часть царской семьи находилась именно в Дюльбере. К тому же мне показалось полезным дописать для второго тома большую главу об убийстве Распутина, так как это событие определяло цепочку сцен, описанных в томе.

Поэтому в этом издании второй том листа[[1]](#footnote-1), на два больше, чем в первом. Кроме того, по тексту всех трех томов прошли изменения и поправки. Иногда существенные».

Примечательно, что, выпустив ту или иную книгу цикла, писатель не мог забыть ее, как это бывает часто со многими беллетристами, — он снова и снова возвращался к ней, переделывал, дописывал, В результате в мае 2003 года Игорь Всеволодович передал в издательство совершенно новую, заметно отличающуюся от всех прежних версию первых трех романов. Они вышли также в составе одной книги в конце 2004 года. В последний год жизни Кир Булычев активно работал над романом «Покушение», сюжет которого непосредственно продолжает действие этих трех книг.

Неизвестно, собирался ли Кир Булычев писать про 1920-е годы, но действие следующего романа — «Заповедник для академиков» — происходит уже в 1932 году.

Здесь также, кроме реального исторического процесса, описывается еще и альтернативный — она так и разделена на две части: «КАК ЭТО БЫЛО» и «КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ» Книга вышла в 1994 году как приложение к газете «Криминал», а потом в издательстве «Текст». Нетрудно понять, почему автора привлек именно этот период российской истории. В начале 1990-х он только открывался мя большинства россиян. Уже вышло немало художественных произведений, описывающих, КАК ЭТО БЫЛО, но пока еще никто не посмел задуматься, КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ. Для этого нужно быть историком и писателем-фантастом одновременно. У писателя, которого многие по инерции мышления считали детским, получилась необычайно пронзительная и страшная книга. Редко когда фантастика оказывалась настолько исторически и психологически достоверной. Один из посетителей сайта Кира Булычева даже упрекнул его в том, что он вставил в книгу реальную трагическую историю. Писателю осталось только развести руками — все персонажи книги были вымышленными, они не имели прямых прототипов, все их истории также были придуманы, а не взяты из жизни, Однако книга оказалась настолько правдива, что не обошлось без совпадений. Кир Булычев писал о том, что МОГЛО БЫТЬ, но получилось так, словно это БЫЛО... К теме страшных 1930-х Кир Булычев вернулся позже в своем романе «Операция „Гадюка“, вышедшем в 2000 году. Книга эта является заключительной частью трилогии „Театр теней», хотя некоторыми по ошибке также относится к циклу «Река Хронос» (так написано на обложке книги, вышедшей в серии «Миры Кира Булычева»). Новый трехтомник должен исправить эту досадную неточность.

О том, насколько дорог был писателю цикл «Река Хронос», многое говорит история создания романа «Младенец Фрей». Небольшая повесть о том, как Ленин, почувствовав опасность, начал стремительно молодеть, пока совсем не превратился в младенца, была написана довольно давно — по всей вероятности, еще в середине 1980-х. Однако по тем временам она была абсолютно «непроходной», поэтому не один год пролежала в столе без движения. В начале 1990-х писатель вернулся к ней и первым делом заменил главную героиню... Сейчас это трудно представить, но первоначально героиней этого произведения была Калерия Петровна, научный сотрудник Института экспертизы; повесть прилегала к рассказам «Письма разных лет», «Добряк», «Кому это нужно?» и др. Сохранилась рукопись с обильной правкой — по всему тексту вместо Калерии появилась Лидочка! В 1993 году эта повесть была напечатана в минском журнале «Фамтакрим-МЕГА», но спустя несколько лет писатель снова вернулся к тексту — к 2000-му он разросся до размеров романа и вышел в серии «Миры Кира Булычева» издательства «АСТ».

Лидия Берестова вновь появляется на страницах трех детективных романов: «Усни, красавица!» (первое издание — 1994 год), «Таких не убивают» (1998) и «Дом в Лондоне» (2003). На первый взгляд, эти произведения по отношению ко всему творчеству Кира Булычева стоят особняком. В издательстве «Омега» они даже вышли потом под лозунгом «Знакомый незнакомец». Издатели практически не лукавили. Да, в этих книгах был представлен новый и неизвестный пока Кир Булычев. Да, в них были собраны четыре детектива, написанные популярным мастером совсем другого жанра — фантастики. Однако эти книги были сделаны очень тонко: те читатели, которые, кроме них, у Кира Булычева не читали ничего, ни на единой странице не почувствуют себя в чем-то ущемленными и прочтут добротный криминальный триллер, те же кто читал другие произведения из цикла «Река Хронос», обязательно заметят их тесную связь. Эти детективы продолжают темы и сюжеты, начатые в фантастических произведениях Булычева. Но любителям современной криминальной литературы совсем не обязательно было знать, что «дама бальзаковского возраста», смело вступающая в противоборство с бандитами и «новыми русскими», родилась в конце XIX века...

Прием с необычным прибором для прыжков во времени позволил Киру Булычеву описать историю нашей страны как историю семьи. Причем, проходя по шкале времени, герои почти не стареют — Первую мировую они встретили, когда им было по 17—18, а во времена постперестроечного беспредела им немногим за тридцать. Таким образом, герои догнали своего автора — дальше прыгать во времени было некуда. Вот тогда-то и появились эти три романа и одна повесть. Андрей Берестов в них уходит на второй план — он то уезжает в экспедицию, то еще куда-то, — а на первом плане оказывается Лидочка. Неугомонная молодая женщина «ненашего воспитания» не может пройти мимо, бросив кого-то в экстремальной ситуации. Поэтому и попадает в довольно опасные перипетии. Действие романа «Усни, красавица!» происходит в Москве. В нем фигурирует шкатулка, в которую когда-то, в прошлых книгах, Андрей и Лидочка спрятали важные документы. Трагедия, описанная в романе «Таких не убивают», разворачивается в подмосковном дачном поселке, а третья книга, «Дом в Лондоне», заносит Лидочку в современный Лондон, в семью неожиданно разбогатевшего «советского ихтиолога. Кстати, она едет туда по поручению пана Теодора, фигурировавшего еще в книге „Наследник“ — члена сообщества бессмертных и Управления судьбами Земли, научившего молодых людей перемещаться вперед по времени. Кир Булычев хотел вернуться к этому роману и „насытить» его фантастикой — он собирался подробнее прописать «миссию» Лидочки и ее связь с сообществом бессмертных. Увы, это все осталось в области МОГЛО БЫТЬ...

Повесть «Купидон» — это даже не детектив, а скорее психологическая зарисовка, потому что в конце выясняется, что никакого преступления не было совершено. Она возвращает читателей в середину 1980-х годов. Повесть дважды печаталась в таком виде, однако потом писатель решил «вывести» ее из цикла «Река Хронос» — он переписал ее, «отдав» своей новой героине — Зое Платоновне. Киром Булычевым было написано несколько повестей, собирающихся в общий цикл «Мисс Марпл от Кира Булычева»; найденные в архивах писателя рукописи небольших повестей вместе с уже публиковавшимся «Купидоном» составят хороший сборник, но эта книга еще ждет своего издателя, Детективы Кира Булычева отличаются от других произведений этого жанра необычной плавностью и неспешностью. Автор точно замечает типажи и подробно прописывает персонажей, он затягивает читателя в повествование, а потом ошарашивает неожиданным финалом. Булычев всегда был непримирим к пошлости, стяжательству и всем формам непорядочности. Он очень тонко чувствовал фальшь и то, что называется «некрасивый поступок». Никогда такого не прощал. Все это нашло воплощение в его детективных историях, в которых страшные убийства совершают не профессиональные бандиты или патологические маньяки, а заурядные обыватели, ослепленные жадностью и эгоизмом...

В архиве Игоря Всеволодовича Можейко сохранился листок с планом последнего романа из цикла «Река Хронос». Снова фантастического. В нем герои расстаются, Андрей переносится в будущее, а Лидочка отстает, Потом они встречаются снова — у Андрея новая семья. Герои понимают, что не могут жить врозь — Лидочка переносится в будущее, а Андрей ее «догоняет». Теперь они снова ровесники, но уже довольно пожилые люди. Они вновь куда-то переносятся, где их ждет пан Теодор, но попадают в неустойчивое «ответвление» и гибнут вместе с этим миром. А Теодор ждет их в параллельном мире, чтобы сделать молодыми...

С одной стороны, жаль, что этот роман не был написан, а с другой — даже хорошо.

Пусть герои останутся живыми. Так же, как живым в нашей памяти навсегда останется сам Кир Булычев.

*М. Манаков,*

*А. Щербак-Жуков*

1. Имеется в виду авторский лист. — *Примеч. ред.* [↑](#footnote-ref-1)